

Октябрь

Вацлав Михальский

ДЛЯ РАДОСТИ
НУЖНЫ ДВОЕ

Николай Климонтович

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ

Людмила Петрушевская

НАХОДКА

Ольга Сульчинская

ДВА РАССКАЗА

Борис Хазанов

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11 2004

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. Для радости нужны двое. Роман	3
Мария ВАТУТИНА. Лебеда да ковыль. Стихи	51
Николай КЛИМОНТОВИЧ. Против часовой. Святочный роман	55
Валерий КРАСНОПОЛЬСКИЙ. Зов. Стихи	110
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Два рассказа	113
Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. Три стихотворения	128
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Находка. Из книги воспоминаний	132
Макс ГИНДЕНБУРГ. Рассказы	149

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Борис ХАЗАНОВ. Литературный музей. Из дневника писателя	161
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Михаил ЛЕВИТИН. Чудо любит пятки греть. К 100-летию Александра Введенского	172
---	-----

Марина ЗАГИДУЛЛИНА. Морок и явь. О прозе Владимира Кантора	175
В стиле реплики	
Александр МЕЛИХОВ. Стрижка овец	183
Литерный ряд	
Григорий ЗАСЛАВСКИЙ. На поминках вишневого сада	186
Русское поле	
Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ	189

Главный редактор
Ирина БАРМЕТОВА

Редколлегия:

Алексей АНДРЕЕВ	<i>зам. гл. редактора</i>
Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Павел БЕЛИЦКИЙ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Инга КУЗНЕЦОВА	<i>отдел прозы</i>
Юлия КАЧАЛКИНА	<i>отдел публицистики</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский,
Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин,
Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов,
Людмила Петрушевская, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
500 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, 214-69-37,
отдел поэзии – 214-62-05, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-79-49,
приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь», 2004. Электронная версия журнала: <http://magazines.russ.ru>.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Компьютерная верстка – Лидия Синицына.

Подписано к печати 20.10.04. Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6.
Тираж 4000 экз. Заказ № 2879. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»,
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Для радости нужны двое

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Зачем тебя я, милый мой, узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь?»

Русская народная песня

I

Африка пришлось по душе Ульяне Жуковой, и это очень порадовало Марию, вселило в нее новые надежды.

Возвращаясь из Марселя, яхта «Николь» достигла берегов Тунисии ранним утром. Однако Уля так боялась «проспать Африку», что дежурила на палубе еще с рассвета. Несший у руля вахту механик Иван Павлович Груненков приглашал ее к себе в рубку, но она отказалась.

– Лучше здесь постою...

– Вольному воля! – добродушно улыбнулся Иван Павлович. – Но сейчас мы запустим дизеля – ветер упал, а земля вот-вот проклянется.

Гул дизельных моторов, легкое подрагивание корпуса яхты и иногда долетавшая вонь выхлопных газов, особенно остро ощущаемых на морском просторе, конечно же, мешали Уле наслаждаться и свежестью легкого бриза, и видом поднимающегося над чертой горизонта ярко-розового солнца, и даже самим морем – безмятежно тихим, ровным и необъятно большим.

Проснувшись на рассвете, Мария не обнаружила в каюте Улю и, накинув халат, чуть поднялась по ступенькам – выглянула на палубу, а увидев сестренку у поручней на носу яхты, зевнула и пошла досыпать. Нельзя было мешать Ульяне в ее первой встрече с terra incognita**. Мария по себе знала, что новые впечатления лучше не разделять ни с кем, а встречать их один на один, так сказать, лицом к лицу.

Вот и «проклянулась» Африка.

Когда Иван Павлович сказал о земле «проклянется», Улю как-то покорило это слово, показалось неуместным, а когда она увидела всё воочию, то поняла, как он был точен. Земля действительно проклянулась на самой кромке иссиня-пепельного небосвода, там, где соединялись море и небо. Сначала показалась, а точнее, проклянулась, темная, неясная точка, медленно-медленно превращающаяся в серую полоску. И эта полоска все росла и ширилась на глазах, быстро становясь полосой, над которой вдруг возникли очертания гор Берегового Атласа, а там и белые кубики города

Продолжение. Начало см. «Октябрь», 2004, №1.

*Земля неизвестная (лат.)

на побережье, языки песчаных пляжей, синяя гавань с темными силуэтами кораблей и пальмы на приморском бульваре Бизерты – черные на фоне светлеющего неба, как будто игрушечные.

«Африка! Африка! Африка!» – восхищенно думала Уля, если, конечно, это восклицание можно назвать мыслью. Хотя, наверное, можно, потому что в одном-единственном слове было для Ули так много надежды, радости и невостремленной любви, что слово «Африка» стало для нее большим, чем изреченная мысль, гораздо большим...

Губернаторша Николь упросила Марию и Улю провести первые три дня в ее дворце. Разумеется, просила она Марию, а Уля помалкивала, во всем полагаясь на свою старшую сестру.

Конечно, и роскошь в убранстве помещений, и обилие слуг, и кухня с ее бессменным поваром Александром, и конюшня, и завтраки–обеда–ужины произвели на Улю сильное впечатление, но она не выказывала телачьего восторга, хотя и не скрывала своего удовольствия от всего увиденного, услышанного, съеденного, выпитого – будь то бедуинский кофе на углях или французские вина высшего качества.

– Неужели она впервые в таком дворце? Или вы где-то бывали с ней раньше? – заинтересованно спросила Николь об Уле, улучив минутку наедине с Марией.

– Впервые. Я сама удивляюсь ее такту, ее сдержанности.

– Вот это да! – воскликнула восхищенная Николь. – Если бы я сама не была в той комнатке, из которой мы с тобой ее забрали, то никогда бы не поверила. Ай да молодчина! Вот что значит мы настоящие дворянки! Быть ей царицей! – И веселый огонь прозрения осветил враз помолодевшее лицо Николь.

Из всего увиденного в поместье губернаторши особенно понравилась Уляне конюшня с ее лоснящимися от ухоженности конями, с полусветом из высоких, узких окон, с запахами соломы и конского навоза, вдруг остро напомнившими ей никогда не вспоминаемое прежде детство, в котором она не понаслышке знала о лошадях, коровах, курах; восхитило ее и то, как смело и нежно обращалась Николь с могучими животными, как косили они бездонными, мягко светящимися в полутьме глазами, когда Николь гладила лошадиные крупы или трепала своих питомцев за холку.

Губернаторша повела Уляну на конюшню в первый же день их приезда, и тогда же выяснилось, что у *petite soeur cadette*^{*}, увы, нет костюма для верховой езды. А ни один из костюмов хозяйки не может ей подойти, потому как Уляна на голову выше и Николь, и Марии. В ней оказалось росту сто семьдесят девять сантиметров, да и формы будь здоров, хотя и очень пропорциональные.

Николь немедленно послала в город за своим портным, его скоренько привезли. Снимая мерки, маленький, тощий француз с куриной грудью не скрывал своего восхищения: он не высказывался, но по его изможденному лицу разлилась в те минуты такая нега, что и без всяких слов было понятно, как ему нравятся большие женщины, тем более ладно скроенные и крепко сшитые.

– Зачем было тратиться? – смущенно сказала Уля, когда портной ушел. – Мы бы и сами сшили.

– Сами? Ты шутишь?! – удивилась Николь.

– Нет, такое ей по плечу, – подтвердила Мария, – не зря ведь мы с ней работали в лучших русских домах моды в Париже. Руки у Ули золотые, да и головой Бог не обидел.

– Ой, девочки, тогда давайте шить себе наряды! – всплеснула ладошкой Николь. – И меня научите, вот повеселимся!

– Вполне, – согласилась Мария.

^{*} Младшей сестренки (франц.)

– Можно, – кивнула Ульяна.

Николь была так воодушевлена вдруг открывшимися перед ней новыми горизонтами, что весь третий день они ездили по мануфактурным лавкам города и выбирали отрезы для будущих платьев. При виде губернаторши лавочники таяли от счастья.

На четвертый день, сразу после легкого завтрака, Николь предложила Ульяне начать обучаться верховой езде.

– Нет, Николь, мы должны ехать. У меня горы дел, – возразила Мария.

– Ну ты и поезжай! А Уля пусть останется? – Она вопросительно взглянула на *petite souer cadette*.

Та молча потупилась.

– Мари, зачем она тебе в твоих делах? В твоих финансовых бумажках? – не желая выпускать из рук новую игрушку, капризно спросила Николь.

– Как зачем? Она будет моей помощницей, я введу ее в курс дела.

– В финансы?

– Конечно, в мои дела. Уля схватывает все на лету. Ее еще можно подготовить хоть в ваши бессмертные*.

– Ну не знаю, – недоверчиво пробормотала Николь. – Это правда? – вдруг обратилась она к самой Ульяне.

– Наверное, – был ответ, – жизнь покажет.

– Вы, русские, удивительный народ! – восхитилась Николь. – Я ведь так могу и поверить тебе, Мари!

– Не сомневайся, сестренка. – Мария чмокнула Николь в щеку. – Все будет именно так, как я сказала.

– А когда же шить?! – испуганно округлила глаза Николь.

– И шить будем, и пороть будем, – задорно отвечала Мария. – Как говорят у нас, в России: делу – время, потехе – час.

– По-французски тоже есть что-то похожее, – смиряясь со своей участью, потухшим голосом проговорила Николь.

– Езда на лошадях – дело серьезное. Сейчас Уля не совсем здорова. Скоро она будет в порядке, и я предоставлю ее тебе хоть на целую неделю, – пообещала Мария ободряющим, ласковым тоном.

– А-а, понятно! – пробурчала Николь. – Просто надо называть вещи своими именами. Мы ведь сестры.

– Она пока к этому не привыкла, – мягко улыбнулась Мария, – не обижайся...

Вскоре гости Николь двинулись в путь, на виллу господина Хаджибека.

Водитель губернаторши, уверенный в себе седоусый бербер с еще молоджавым темным лицом, был горд тем, что везет Марию, – слава о ней бушевала в те дни в Тунизии, у всех на памяти еще был случай с туарегами, их чудесное спасение от казни.

– Госпожа, – сияя влажными черными глазами, сказал водитель, когда проезжали мимо осыпей, возле которых приключилось нападение туарегов на Марию, – госпожа, они признали вас святой.

– Кто – они?

– Как кто? Племя туарегов.

Банкир Хаджибек, его жены Хадиджа и Фатима, ее малолетние сыновья Сулейман и Муса встретили Марию не просто с радушием, а с горячей радостью. Особенно дети, те минут пять визжали от восторга и делали круги возле Марии, то прижимаясь к ее коленям, то игриво отбегая в сторону.

В той половине, где жила Мария, старшая жена господина Хаджибека выделила для Ули комнату.

* Так называют членов Французской Академии.

– Нравится? – спросила стройная, сухощавая и вместе с тем пышногрудая Хадижа, вводя названных сестер в просторную, чистую комнату с небольшим окном, – окна во всем доме были довольно маленькие, потому что так легче спастись от зноя летом и от леденящих ветров зимой.

– Нравится, – ответила за Улю Мария, – но вообще-то нам надо купить или построить свой дом. Чем раньше, тем лучше. Я займусь этим.

– Как?! – потрясенно вскрикнула Хадижа, и ее насурмленные брови взлетели вверх. – Ты уедешь от нас?! Нет, это невозможно! – Она круто повернулась и поспешила на свою половину особняка.

– А они тебя любят! – восторженно сказала Уля. – Тебя все любят!

– Ладно, устраивайся и не забудь сказать: «На новом месте приснись, жених, невесте», – засмеялась Мария и вышла в коридор, думая о том, что действительно это не дело – жить в приживалках, да еще вдвоем.

Пока Уля осматривалась на новом месте, старшая жена Хадижа так накрутила своего мужа, что уже совсем скоро раздалось его нарочитое покашливание и робкий оклик:

– Мадемуазель Мари!

– Да, господин Хаджибек, я вас слушаю, – двинулась из тупика коридора навстречу ему Мария.

– Здесь темновато, может, мы пойдем на веранду? – попросил хозяин дома.

– Хорошо, – согласилась Мария. – Уля, осваивайся, я скоро вернусь.

На веранде, защищенной от ветра сплошной каменной балюстрадой, они сели в легкие плетеные кресла, и красный от волнения господин Хаджибек произнес:

– Мадемуазель Мари, вы хотите съехать от нас?! Но это невозможно! И Хадижа, и Фатима, и дети... Нет, это невозможно!

– Но я ведь не порываю с вами в делах, я только...

– Нет, это невозможно! – как заклинание повторил господин Хаджибек слова Хадижи.

В голове его в эти минуты крутились многие pro et contra. Во-первых, жить одному в доме, конечно, лучше – с поселением Мари он невольно перестал чувствовать себя тем полновластным хозяином, каким ему всегда хотелось быть. Но, во-вторых, сейчас Мари у него под контролем и он точно знает (или, во всяком случае, почти точно), с кем она встречается и т. д. В-третьих, Мари так усилилась (благодаря ее отношениям в губернаторской семье и в связи с тем, как она почитаема теперь во всей Тунисии), что он, Хаджибек, вроде бы при Мари, а не она при нем, как было раньше. А вдруг она действительно уйдет?! Тогда все его планы могут просто рухнуть...

– Нет, это невозможно! – опять сказал господин Хаджибек. – Могу предложить вам свой вариант, если...

– Предлагайте. Я не хочу уезжать от вас любой ценой. Просто неловко стеснять вашу семью.

– Ради Аллаха! – поднял короткопалые руки господин Хаджибек. – Вы не стесняете нас, а украшаете нашу жизнь! Но... если хотите, я могу построить вам дом рядом. Очень быстро.

– Быстро? – с сомнением сказала Мария.

– Да, за два месяца. Строят – деньгами.

– Это правда. Строят деньгами. Вы сказали афоризм, поздравляю!

– Пожалуйста, – расплылся в улыбке польщенный господин Хаджибек. – Сегодня мы выберем место и сразу начнем!

– Ну куда так спешить? Надо еще придумать дом. У нас в России говорят: семь раз отмерь – один раз отрежь!

– Я счастлив, что вы согласны, сейчас обрадую своих! – И, не дожидаясь, что скажет Мария, господин Хаджибек засеменил в дом.

II

На следующее утро Мария проснулась с чувством той детской сладостной радости, с которым она не просыпалась уже давным-давно. Спросонья она не сразу поняла, откуда оно, это веселящее душу чувство. А потом сообразила, с наслаждением потянулась всем телом: ведь в соседней комнате спит Уля, ее названная, созданная ею духовно сестренка. И теперь она, Мария, снова не одна на чужбине. Они вдвоем – и это огромная сила! Правда, еще просится в сестры Николь... Ну что ж, хотя она и другая, пусть будет.

Раньше Мария думала, что лучшие люди на свете русские, а теперь, поживя на чужой стороне, поняла, что и французы лучшие, и арабы лучшие, и евреи лучшие, и китайцы лучшие, и сербы лучшие, и чехи лучшие, и немцы лучшие, и прочие народы – каждый для себя лучший; все хороши, только они – *другие*. Физически все сравнительно одинаковые, но душа у каждого народа своя, может, и не вся душа, потому что есть общечеловеческое, а только часть души*.

«А что? Пусть Хаджибек покажет себя, пусть построит для нас дом, – подумала Мария, вставая с постели. – Сразу после завтрака выберем с Улей место. Дом по соседству – это выгодно и надежно как в смысле коммуникаций, так и для obsługi, и для охраны».

Место под будущий дом сестры выбрали сразу – очень годилась для этой цели высокая каменная площадка с северной стороны виллы господина Хаджибека. Площадка поднималась над землей метров на семь и выглядела почти как утес, с которого открывался отличный обзор окрестностей.

– Еще мы поднимем дом метров на восемь-девять. Представляешь, какая будет красота? – сказала Мария.

– А зачем так высоко? – удивилась Ульяна. – Он что, будет трехэтажный?

– Почему трех-? Двухэтажный, от пола до потолка должно быть хотя бы метра четыре высоты.

– Ого-го! – засмеялась Уля.

– А ты как думала! – весело сказала Мария. – Гулять так гулять! Строить так строить! Нам нужен скромный роскошный дом!

Идея построить дом так захватила Марию, что она даже забыла о Михаиле, конечно, не совсем забыла, но стала вспоминать о нем гораздо реже и приглушеннее.

Господин Хаджибек предложил построить точно такую же виллу, как у него, но Мария отказалась.

– У вас замечательный дом, господин Хаджибек, однако нам хочется сделать по-своему.

– Но у меня сохранился проект, все будет гораздо дешевле...

– Ничего, – лукаво улыбнулась ему Мария, – я за ценой не постою.

– Я не в том смысле, – смутился господин Хаджибек, – я не жадничаю, просто... Тогда давайте пригласим архитектора, у меня есть хороший.

– Что касается денег, то я хочу построить свой дом на свои деньги. Вы не обижаетесь?

– Да нет, если вы так хотите...

– Без профессионала тут не обойтись. Приглашайте архитектора, – сказала Мария.

* Для этой части души в конце XX века придумали понятие «менталитет», что значит: совокупность мировоззренческих представлений, умственных навыков, духовных установок, пристрастий в пище, одежде, уложений в быту, характерных как для отдельных личностей или сословий, так и для народа в целом. В русском языке слово заимствовано из французского *mentalite*, а во французском – из позднелатинского *mentalis* – умственный, духовный.

Когда Николь узнала о строительстве дома, ее охватил такой неистовый восторг, что и шитье нарядов, и обучение Ули верховой езде сразу пошли побоку.

– Я тоже хочу участвовать! Я тоже! – Щеки ее разгорелись, темно-карие глаза наполнились светом. – Я тоже хочу, но я же круглая дура в этом деле!

– Ничего подобного! – отчеканила Мария. – Многое подлинное в этом мире держится на четырех краеугольных камнях: желании, энергии, вкусе, удаче. А тебе и того, и другого, и третьего, и четвертого не занимать. Ты будешь Главный Строитель Дома. У нас в Николаеве самые большие корабельные верфи в Европе, и я точно помню, что была такая должность – главный строитель корабля, ее на Руси еще царь Петр Первый ввел, то ли в конце семнадцатого, то ли в начале восемнадцатого века, точно не припомню.

– Как я могу быть главной? – смущенно спросила Николь, которую явно устраивала столь высокая должность. Что ни говори, а она давно привыкла главенствовать во всем. – Я не смогу...

– Прекрасно сможешь! – горячо уверила ее Мария, подметив в старшей сестренке явную заинтересованность. – Знаешь, что входило в обязанности главного? Не знаешь. И Уля не знает. А я вам скажу. В обязанности главного строителя корабля входило подмечать все недочеты, все промахи, недоделки, все промедления. Контроль, контроль и еще раз контроль!

– Контролировать я смогу, – с облегчением вздохнула Николь. – Ну что? Поехали смотреть место?

– Нет, – остановила ее Мария, – пока нечего контролировать. Давай попьем кофе.

И они отправились в столовую. Кофе был вкусен до головокружения.

– Александр, научите меня варить такой кофе. Вы просто волшебник! – попросила Мария уже старенького повара с его вертящимся, вынюхивающим перед собой воздух длинным носом в склеротических прожилках.

Мария умела польстить, притом от всей души. И, видя ее искреннее внимание и участие, все платили ей обожанием.

– Спасибо, мадемуазель, спасибо! – пятясь задом, бормотал старый повар и радовался, что сам решил подать дамам кофе, а не поручил это слуге.

Николь все-таки настояла на том, чтобы сразу после обеда они поехали на место будущего строительства дома. По их прибытии жены господина Хаджибека и вся его челядь буквально онемели. Самого господина Хаджибека, к счастью, не было дома, а то трудно сказать, что бы с ним произошло при виде столь высокой гостьи.

III

Когда господин Хаджибек узнал, что главным строителем дома объявлена губернаторша мадам Николь, он сначала похолодел от испуга, потом по всему его телу прокатилась волна жара, и банкир побагровел от ощущения того, что, кажется, он оседлал удачу... Кажется, козырный туз и все другие тузы сами пришли к нему в руки. Господин Хаджибек был человек азартный и баловался картишками, так что он понимал толк в таинственном мире игры.

– Мадемуазель Мари, надо начинать, а то скоро пойдут дожди, – сказал господин Хаджибек Марии уже на следующий день. – Может быть, я привезу архитектора?

– Ладно, – согласилась Мария, которая видела по господину Хаджибеку, что теперь он расшибется в лепешку, а дом построит – и скоро, и добротно, и недорого.

Архитектор был очень доволен заказом. Как выяснилось в дальнейшем, он происходил из берберов острова Джерба, получил образование в Париже и любил свое дело. Он был сухощав, строен, с такими же, как у его соплеменницы Хадижи, выразительными серыми глазами, приятен в общении. Он не мог скрыть своего удовольствия при виде дородной Ульяны.

– А ты пользуешься бешеным успехом, – со смешком проговорила Мария, когда архитектор уехал, – арабы просто млеют при виде тебя.

– Да будет тебе! – смутилась Ульяна. – Дылда и есть дылда. Чего им млеть?

– Не скажи! Кому что нравится. И совсем ты у меня не дылда, а прекрасно сложенная, статная русская женщина. Здесь у тебя будет туча поклонников. Маленьких женщин у них своих хватает. Так что держись!

– Хорошо, – буркнула Ульяна. Лицо ее пошло пятнами, и по тому, как она отвела косящие черные глаза, было понятно, что разговор о мужчинах волнует ее, еще как волнует! Ни до, ни после бравого казачьего есаула у нее никого не было, а жизнь неукротимо шла вперед, и желание неожиданно проснулось в ней еще во время болезни в доме Николь, когда она была на грани между жизнью и смертью. Это острое чувство вдруг возникло у нее однажды ночью, в полубреду и с тех пор иногда напоминало о себе, как что-то опасное и очень привлекательное, как манящая бездна, в которую так хотелось сорваться....

Мсье Пиккар также не замедлил явиться на строительную площадку и дать несколько ценных советов. Ему тоже понравилась Ульяна.

– О, мадемуазель Мари, у вас такая рубенсовская кузина! Поздравляю!

– Может, рубенсовская, а может, и кустодиевская, – отвечала Мария. – У нас был такой замечательный художник Борис Кустодиев.

– Я его не знаю, – сказал мсье Пиккар.

– Конечно, что вы о нас, о русских, знаете! – саркастически улыбнулась Мария.

Возникла неловкая пауза.

– Ой, смотрите, журавли летят! – восторженно воскликнула Уля по-русски.

Высоко в светлом небе возник журавлиный клин.

– Наши, родные! – сказала Мария тоже по-русски.

Мсье Пиккар поднял голову к невысокому, но чистому осеннему небу, на котором все отчетливее вырисовывалась перелетная стая.

– Летят с севера, может быть, из вашей России, – сказал мсье Пиккар по-французски.

– Вы угадали, мсье, – ответила Мария, – из России, у меня такое чувство, что я даже узнаю жоака.

Пока Ульяна и Мария провожали долгим взглядом привет из России, мсье Пиккар осматривался на площадке. Наконец журавли скрылись из виду, и только тогда мсье Пиккар счел возможным нарушить паузу.

– По-моему, площадка под дом выбрана удачно, но... – И тут мсье дал тот десяток полезных советов, которые, как правило, давали все.

– Мадемуазель Мари, скальный грунт надо сбить хотя бы на полметра, очистить его от тех, кто сейчас поселился в расселинах, порах и прочая.

– Спасибо! – горячо поблагодарила Мария. – А мы как-то не подумали об этом. – Всем, кто давал советы, она обычно говорила, что они «как-то не подумали об этом», и всех благодарила.

– Зачем ты валяешь дурака? – удивленно спросила Уля, когда ушел мсье Пиккар. – Ты ведь еще вчера распорядилась, чтобы скололи камень на семьдесят сантиметров.

– Как тебе сказать... – Мария замялась. – Я человек суеверный, Улька, и не хочу никого раздражать. Наш с тобой дом должен начинаться в благодати, во всеобщем благорасположении, а ничто не смягчает человека так, как воспринятый от души его совет.

– Может быть, – сказала Уля, – тебе видней. Ух, и хитрюга ты! – Она обняла Марию за плечи и прижала к себе.

– Да, я по рождению графиня, а ты крестьянка, но здесь, на чужой стороне, мы обе никому не нужны, как говорит о себе Николь: «Мы дворняжки».

– Она же губернаторша!

– Это сейчас. А родилась и выросла в бедности.

– Да ты что? – удивилась Уля. – Вот это да!

– Точно так же она отозвалась и о тебе: «Вот это да!» Только по-французски.

– Чудно как-то, – сказала Уля, потирая высокий чистый лоб, – чудно... Какая жизнь крученая!

– Это уж точно: что крученая, то крученая, только и гляди, поворачивайся! – весело начала Мария. – Крутись, сестренка, не робей! – И вдруг закончила очень грустно, почти печально: – Знал бы, где упадешь, соломки подстелит...

IV

Когда-то, как казалось теперь, давным-давно, в какой-то другой жизни, адмирал дядя Паша любил повторять китайскую поговорку: «Если до цели десять шагов, а сделано девять, считай, ты на полпути».

Жизненный опыт неоднократно подтверждал Марии, что не следует праздновать победу раньше времени. Не зря ее учила любимая мамочка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

Мария не раз задумывалась над тем, как много общего в поговорках, поговорках, присказках разных народов, а значит, и много у всех общечеловеческого, независимо от рас, вероисповеданий, укладов жизни; вместе с тем сколь много перегородок возвели между собою сами люди. И нужны ли эти перегородки? Вопрос, хотя и праздный, но очень непростой. Вживаясь в тунизийскую действительность, Мария не могла не чувствовать, что при всей теплоте ее отношений и с французскими, и с арабскими друзьями она все равно для них «чужая» и преодолеть этот барьер, наверное, нельзя...

Мария думала, что нельзя, а Ульяна, кажется, преодолела... но, впрочем, об этом позже... А пока Николь все-таки заполучила Улю к себе на целый месяц.

Раз в неделю Мария приезжала во дворец, чтобы навестить своих названных сестер и переговорить с генералом Шарлем о его частных коммерческих делах. В один из таких приездов Мария неожиданно посоветовала губернатору размещать его средства не во Франции, а в Америке или Швейцарии.

– Почему вы так считаете? – озадаченно спросил Шарль. – Швейцария – еще ладно, но Америка так далеко.

– Дальше положишь – ближе возьмешь, – буднично отвечала Мария. – Я перевожу свои активы в Штаты. Я веду ваши дела, а значит, обязана думать о вашей безопасности.

– Но почему такое беспокойство? – Губернатор взглянул на Марию с недоверием и недоумением.

– Потому что война на носу! – грубовато отвечала Мария, которую неприятно уколол взгляд стоячих волчьих губернаторских глаз.

– Вы что, провидица? – В глуховатом голосе губернатора прозвучала явная насмешка.

– Бог с вами, Шарль, я обыкновенная карточная гадалка, – мгновенно парировала Мария. Она не простила подколку вышестоящим и немедленно ухитрилась поставить себя на одну доску с ними.

Мария впервые назвала его по имени. Губернатор вздрогнул от неожиданности, а потом его обветренное скуластое лицо осветила радостная,

почти детская улыбка – настоящая, без подделки, даже холодные волчьи глаза на какой-то миг потеплели.

– Мне очень приятно, что вы обратились ко мне по имени... Давайте всегда так: я – Шарль, вы – Мари. Никто, кроме Николь, уже давно не вызывал у меня такого доверия...

Губернатор смутился, ему вдруг показалось, что Мария может истолковать его слова превратно...

Мария опустила глаза и в свою очередь тоже подумала, что, кажется, губернатор Шарль понял ее неправильно, а она ведь не вкладывала ни в свои слова, ни в интонации никаких амурных ноток, просто ее задела его насмешка и все получилось само собой.

– Так что делать с деньгами? – подчеркнуто холодно спросила Мария.

– Поступайте так, как считаете нужным, я все подпишу. – У губернатора отлегло от сердца. – Я все подпишу. И когда же война? – закончил он вполне миролюбиво.

– Наверное, не позже сорокового года.

– А карты не врут? – дружески улыбнулся губернатор.

– И карты не врут, и общее положение в мире подтверждает. Вы ведь знаете, что теперь я пользуюсь всей вашей прессой, а вам ее шлют отовсюду.

– В газетах одна чепуха, Мари, разве по ним можно делать выводы! – Шарль оживился, и по всему было видно, что он говорит с Марией на равных.

– Пишут и чепуху – это правда, но если читать между строк и сравнивать...

– Вы аналитик?

– Я математик, Шарль, меня учили анализировать... Девять десятых информации – в открытых источниках, только надо уметь ее увидеть...

– И, как всегда, вы опять подозреваете немцев? Но они не готовы – это очевидно!

– Ничего, подготовятся. Немцы – народ работающий, они обожают орду. И главное – у них есть чувство единой нации, они способны к стремительному сплочению.

– А французы, по-вашему, уже не способны? – с горькой усмешкой спросил Шарль, и его седеющие короткие усики pokrивились.

– Все народы в какой-то мере способны. Но сегодня Франция... Что я вам рассказываю, вы знаете все лучше меня!

– К сожалению, – печально подытожил генерал Шарль, – к сожалению...

Генерал Шарль был человек незаурядный и по характеру, и по уму, и по судьбе. Он родился в семье младшего офицера французской армии в Алжире. Девяти лет отроду отец отдал его в кадетское училище в городе Тлемсене, что на границе Западного Алжира и Марокко. Первые годы Шарль учился очень плохо, его часто наказывали, вплоть до карцера, в своем классе он твердо занимал последнее место и по успеваемости, и по поведению. Дважды его хотели исключить из училища, и дважды отец испрашивал для него снисхождения; к счастью, начальник училища был не только ровесником отца, но и его сослуживцем по армии в дни их юности. Шарль был своевольный, упрямый, отчаянно смелый и, как казалось воспитателям, тупой, безнадежно неспособный к обучению. Воспитатели ошиблись. В старших классах Шарль неожиданно для всех начал медленно, но верно превращаться из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Из плохого ученика он стал посредственным, затем хорошим, а потом и очень хорошим, а под занавес и лучшим в своем выпуске. Как сказал по этому поводу его папа: «Давно тебе, дураку, надо было закусить удила! А то сколько лет меня позорил! Наша порода – узнаю!»

И успехи в учебе, и тот факт, что отец Шарля был колониальным офицером (ничего, что младшим), и то, что Шарль родился в Алжире, – все

это, вместе взятое, позволило ему поступить в престижнейшую военную школу Эколь Милитер в Париже. Какой бы ни была самая престижная школа в любой стране мира, в ней всегда предусматривается незначительное количество мест для выходцев из небогатых семей, для тех, кто сам пробивает себе дорогу лбом, – такие нужны везде, без них, как без дрожжей, не взойти тесту, не испечь хороших хлебов, и любая власть понимает это инстинктивно.

Шарль окончил Эколь Милитер с отличием, получил младший офицерский чин, до которого его отец дослуживался из солдат двадцать лет, и был направлен на сборный пункт в Марсель, где формировался новый полк для североафриканских колоний. В Марселе он познакомился с Николь, быстротечно женился и убыл к месту службы в Марокко уже не свободным юнцом, а зрелым гражданином, связанным узами официального брака. Первое время супруги просто нравились друг другу, а потом вдруг поняли, что, кажется, они полюбили... В какой-то степени каждый из них сначала заключил брак по расчету: Николь ничего не светило в кордебалете марсельской оперетты, а Шарлю нужно было срочно жениться, чтобы стать в глазах начальства полноценным офицером. Так случилось, что в марокканской глуши они с каждым днем, сами того не ведая, все сильнее и сильнее проникались теплом взаимных чувств и забот. Николь расцвела за мужем, как за каменной стеной, впервые в жизни она почувствовала себя защищенной, и это придало ей столько уверенности в себе, вдохнуло в нее такие силы, что не полюбить ее было просто нельзя. И Шарль полюбил. К счастью для него, с полной взаимностью. Шарль понял, что у него за спиной прочный тыл, и стал энергично делать военную карьеру. Он вызывался участвовать в самых рискованных операциях и всегда выходил сухим из воды.

Накануне первой мировой войны Шарль был уже полковником, но чувствовал, что дальше ему не дадут хода и он так и зависнет на всю оставшуюся жизнь, так и не дотянется до генеральского звания. Да и, правду сказать, из ста полковников в лучшем случае один становится генералом – это повсеместная норма, а тут выше головы не прыгнешь

Война вселила в рвущегося вперед Шарля не просто надежды, война давала ему реальный шанс, на то он и был человек военный. И он этот шанс не упустил. Он подавал рапорт за рапортом с просьбой отправить его в действующую армию, пока наконец не добился своего. На театре военных действий он сразу же попал под начало генерала Анри Петена, и это решило многое в его дальнейшей судьбе. В самом начале обороны Вердена он получил первый генеральский чин, был ранен в ногу, к счастью, навывлет, и кости остались целы, уже через месяц молодой генерал был снова в строю, и, когда после многих дней кровопролитнейших боев немцы все-таки не прошли и Франция была спасена, Шарль получил следующий по старшинству генеральский чин. По окончании войны рекомендованный генералом Петеном Шарль убыл управлять Тунисией, а когда в 1920 году Анри Петену было присвоено звание маршала, Шарль стал полным генералом.

– Да, да-да-да, – барабания по столу сухими, крепкими пальцами, пробормотал генерал Шарль, – и что же будет с Тунисией? Что вы думаете по этому поводу, Мари?

– Я думаю, что Северная Африка станет важным театром военных действий.

– А немцы сюда на велосипедах приедут? – с незлобивой усмешкой спросил генерал Шарль.

– Думаю, что приплывут на пароходах. До Сицилии сто пятьдесят километров от Бизерты. Итальянцы уже сейчас готовы вкладывать деньги в реконструкцию тунизийских портов.

– Хм, – генерал посмотрел на Марию, как на неизвестное явление природы, – хм, первый раз в жизни я вижу женщину с такими масштабными

взглядами. И что надо делать? Брать деньги у итальянцев или дать им по рукам?

– Конечно, брать.

– Почему?

– Потому что они все равно проиграют, особенно если тронут Россию.

– Зачем итальянцам Россия?

– Я говорю в первую очередь о немцах.

– Хм... как вы все быстро сцепляете!

– Как могу.

– Да, да-да-да... – Губернатор снова забарабанил пальцами по столу. – Если я изложу ход ваших размышлений маршалу Петену, он подумает, что я спятил!

– Жаль, – сухо сказала Мария, – я знаю его нелюбовь к англичанам, но в данном случае они нам не противники, а союзники.

– Мари, это уж слишком! – Губернатор улыбнулся своей обычной дежурной приклеенной улыбкой и поднялся из-за стола, давая понять, что разговор окончен.

Мария видела, что она не убедила Шарля, однако почувствовала, что посеяла в его душе большие сомнения.

Хотя Ульяне и шел двадцать восьмой год, но выглядела она гораздо моложе своих лет. Как Мария и Николь, Уля была из тех женщин, что особенно расцветают от хорошей жизни, а если к этому еще и прибавляется любовь, то они выглядят свежо необыкновенно долго. Любовь пока не прибавилась, но, видно, была не за горами. Во всяком случае, Уля так похорошела, черные глаза ее так сияли, а щеки горели таким нежным румянцем, что не было ни одного мужчины, который бы не обратил на нее внимания. Зуавы, охранявшие дворец, так те просто пожирали ее глазами, и даже доктор Франсуа как-то заметил Николь: «А у вас замечательная младшая сестренка. Когда я читал в русских сказках о русских красавицах, то представлял их именно такими!» Высказывание было столь обширным для доктора Франсуа и столь неожиданным, что даже Клодин пугливо навострила уши.

Возведение дома шло полным ходом.

Мария энергично налаживала фирму по строительству дорог в Тунисии. Самое главное – она получила большой государственный заказ на реконструкцию стокилометровой дороги между Тунисом и Бизертой. Заказ был оформлен ею со всей тщательностью, со всеми юридическими тонкостями, и она надеялась исполнить его наилучшим образом.

Конечно, Марии не хватало Ули, но она нарочно не привлекала ее к своей работе, во-первых, потому, что видела, как интересно ей с Николь, а во-вторых, потому, что видела, как Николь интересно с Ульяной.

«Пусть подружатся как следует, – думала Мария, – это никому не мешает. Пусть Уля войдет в дом губернатора, узнает челядь, поймет порядки и прочая».

Так оно и шло, а тем временем Мария вспомнила о туарегском царьке Исе, который окончил Эколь-Пон-э-Шоссе (Институт путей сообщения) в Париже.

Мария приняла туарега в банке господина Хаджибека, где занимала просторный кабинет с видом на море – на север.

Иса явился в том же общеарабском одеянии, в каком когда-то был на губернаторском балу, на нем была надета джаллалабия (рубаша до пят из легкой ткани, с разрезами по бокам и вырезами для рук и головы, обшитыми тонким серым шнуром), на голове была маленькая такия (белая матерчатая шапочка), обут царек был в светлые бабуши, очень похожие на наши закрытые шлепанцы.

Мария была подчеркнута любезна с туарегским царьком, но строга, ведь теперь в иерархии туарегского племени, как возведенная в ранг свя-

той, Мария была никак не ниже здравствующего царька, и, поведи она себя по-другому, Иса просто бы ее не понял.

– Мой народ чтит вас как святую! – сказал Иса, едва войдя в кабинет и приложив левую руку к сердцу.

– Это для меня честь, – отвечала Мария, – я постараюсь оправдать доверие вашего народа. Садитесь вот здесь, за столик, а я сяду напротив. Хотите кофе?

– О нет, моя госпожа! – высокопарно отвечал Иса. – Я весь внимание.

– Это хорошо, – обронила Мария, – внимание вам понадобится. Я пригласила вас как специалиста по строительству дорог.

По самодовольному, ухоженному лицу туарега скользнуло недоумение, видимо, он ожидал чего угодно, только не этого.

– Расскажите мне о своих профессиональных возможностях и пристрастиях.

Царек Иса почувствовал себя на экзамене, подтянулся и стал рассказывать.

– Что ж, – подытожила Мария, когда он закончил, – я вижу, вы учились прилежно, мне нравится ваш взгляд на тунизийские проблемы, есть у вас и первичные представления о том, как их надо решать.

– Спасибо! – Иса опять прижал руку к сердцу, что означало высшее уважение.

– Помнится, вы хотели строить дороги. Желание не пропало?

– Конечно, нет. Я собираюсь создать фирму.

– Собственное дело – это всегда интересно. Но, может быть, пока начнете работать со мной и с господином Хаджибеком? Мы уже получили заказ, весьма объемный.

– А что я должен делать?

– То, чему вас учили. Мы приглашаем вас на правах главного специалиста.

– Наемного? Но у меня есть средства, я мог бы...

– И у нас есть, и мы уже можем. Подумайте. Я понимаю, что вы царь в своем племени... Знаете, а у нас был царь Петр Великий, так он начинал свою карьеру с ученика плотника, уже будучи царем всей России. Мы же предлагаем вам сразу что-то вроде главного инженера. Подумайте.

Иса вспотел, на его широком и низком лбу выступили капли пота.

– Я не царь. Царь – мой отец, но он давно болен и нигде не бывает, поэтому многие думают, что я... А я младший сын, поэтому учился в Париже. Я не должен был быть вождем племени, но мой старший брат погиб, когда я только окончил курс в Эколь-Пон-э-Шоссе, и теперь я...

– Понятно. Вы были принц. А теперь наследный принц.

– Да.

– Я буду ждать вашего решения. – Мария ослепительно улыбнулась туарегу и встала с кресла.

V

Каждый четверг Николь приезжала инспектировать работы по строительству дома для своих названных сестер. Что-то, а подмечать недостатки она умела, глаз у нее был безошибочный от природы да к тому же еще наметанный в дворцовом хозяйстве.

– Ну у тебя и глаз-алмаз! – как-то похвалила ее Мария.

– У всех два глаза, два уха, один нос, один рот. И никто ничего не возьмет с собою туда! – Николь ткнула пальцем в небо так значительно и ее большие, яркие темно-карие глаза с тяжелым металлическим блеском осветила на миг такая кроткая печаль, что Мария и Уля невольно подняли головы вслед ее жесту.

Два перистых облачка летели по высокому пустынному небу куда-то на юг – в Сахару, а может, и еще дальше, к озеру Чад, а потом к океану,

чтобы пополнить его своими жизнями. Примерно так подумала об облаках Уля и простодушно спросила:

– Маша, а как далеко могут улететь облака? Короткая или длинная у них судьба?

– Разная. Вот до этих облаков верхнего яруса от нас километров восемь. Видишь, они как перламутровые? Такие облака так и называются *перистые перламутровые*, а еще бывают *перистые серебристые* – в зависимости от того, какое облако как отражает свет, мы в Морском корпусе учили.

– А в облаках вода?

– В этих? Нет, в этих крохотные льдинки. Там, в вышине, очень холодно. Если по Цельсию, то минус пятьдесят и ниже.

– Господи! – воскликнула Уля. – Так что, в раю ходят в шубах, валенках и треухах?!

– Ой, смешная ты, Улька! Какие у тебя повороты!

– О чем вы разговариваете? – ревниво спросила Николь, которая очень не любила, когда ее сестрички, забываясь, переходили на русский.

– Прости, пожалуйста, – смутилась Мария. – Об облаках. Уля спрашивает, долетят ли они до океана.

– Нет, ты говоришь не все. Куда они долетят – это не смешно, а вы смеялись, – с нотками обиды в голосе сказала Николь.

Мадам Николь вошла в ту полосу жизни, которая тяжело дается многим женщинам. Хотя при макияже она и выглядела замечательно, но все-таки ей было за пятьдесят.

В последнее время Николь не испытывала раздражения только в обществе Шарля, Марии и Ули – всех вместе и каждого в отдельности. Наверное, оттого, что Николь инстинктивно знала край, чувствовала ту точку возврата, которую нельзя проходить ни самолетам, ни людям в отношениях друг с другом, а тем более с равными себе, с теми, для кого она не мадам губернаторша, а просто Николь. В эту нелегкую для нее пору появление Ули и строительство дома стали той отдушиной, что помогала ей жить.

Николь полюбила Улю даже больше, чем когда-то Мари. Она приняла ее как свой последний оплот. Николь была подлинной женщиной, и ей всю жизнь хотелось вложиться в кого-нибудь без остатка. Да, она вкладывалась в Шарля, но его одного ей было мало, душа ее томилась всю жизнь по ребенку. Когда-то она пыталась удочерить Мари... Нет, она не держала зла на Марию, просто помнила, что нельзя решать судьбу другого человека, не заручившись его согласием, нельзя даже и в мыслях посягать на такое. Если, конечно, не хочешь «получить в лоб», как говаривали когда-то в марсельской оперетте.

Николь с упоением обучала Улю верховой езде, стрельбе из пистолета, плаванию. Мария даже стала слегка ревновать Улю к Николь, хотя и понимала побудительные мотивы последней. Уля училась всему с жадностью. По десять раз на дню она благодарила Николь, и та всякий раз расцветала от простодушных и искренних Улиных слов. Что-что, а фальшь Николь чувствовала мгновенно, а тут не было даже малейшего намека на фальшь. Люди всегда привязываются к тем, в кого вкладываются, и мужчины, и женщины, но женщины особенно сильно, бескорыстно, самозабвенно.

Строительство дома продвигалось довольно быстро. Господин Хаджибек был прав – строят деньгами. Дом возвели из камня, ширина стен внушала уважение: несущие стены были толщиной в один метр двадцать сантиметров, а перегородки между помещениями в полметра.

– Да это ж будет не дом, а крепость! – сказала Уля.

– А как же, – отвечала Николь, – так и должно быть! Когда Шарль будет уезжать в Париж или с инспекциями по округу, я буду жить у вас. Ах, как весело будет нам втроем!

– Весело – это очень важно, – вступила в разговор Мария. – Как сказал ваш французский композитор Сен-Санс: « Не пришлось бы вам впоследствии горько сожалеть о времени, безвозвратно утраченном для веселья!»

– Ай, молодец! – хлопнула в ладоши Николь. – Вот и повеселимся, да, девочки?

– Да! – почти в унисон ответили ей названные сестры, и лица их сияли при этом с такой надеждой, что любой бы поверил – именно так и будет.

– А все-таки какой благородный материал – камень, – задумчиво оглаживая шершавую наружную стену дома, сложенную из светло-серого песчаника, тихо промолвила Мария и вдруг подумала, что этот камень привезли именно из той каменоломни, на фоне отвесной стены которой чуть не расстреляли туарегов. Как все сплетено в жизни: далекое вдруг становится близким, а то, о чем хотелось бы забыть, дает о себе знать самым причудливым образом, становится осязаемым, как эти камни... В глубине души Марии словно шевельнулось что-то темное, постыдное. Как черные дула, возникли перед глазами черные пятки туарегов, сидящих на корточках в зале суда... И потом этот розыгрыш с губернатором, а дальше и того хуже – они признали ее святой, целое племя, а может быть, даже и народ... Святой. А ведь это фальшивка, разыгранная как по нотам. Боже мой, как все непросто и как обыденно тупо...Изо всех сил Мария постаралась переключить свое сознание и воскликнула неестественно бодро:

– А что, девочки, давно мы не катались на яхте! Давай, Николь!

– Да ради Бога, – отвечала Николь, отметив про себя бодряческий тон Марии и подумав, что, наверное, невесело сестренке, потому она и бодрится. – Ради Бога, хоть завтра – я всегда готова.

Так и решили – утром идти на яхте вдоль берега.

– Надо позвать вашего русского механика, – сказала Николь, – с ним надежнее. Сейчас приеду домой и распоряжусь, чтобы его нашли.

Мария промолчала, что можно было истолковать как знак согласия, хотя слова Николь о русском механике Иване Павловиче Груменкове смутили ее не меньше, чем мысли о туарегах. Она растерянно подумала, что совсем не вспоминает о сыне механика Михаиле. «С глаз долой – из сердца вон», – народ ничего зря не скажет. А вот она зря не видит его так долго, зря...

«Боже мой, неужели я такая старуха, что, кроме будничной суеты, мне ничего не нужно? Нет, надо обязательно его увидеть...». Сердце Марии дрогнуло в надежде на возможное счастье, и она подумала о ребенке, о своем ребенке, возможном или невозможном... Мария вспомнила Марсель, где она так надеялась встретить Михаила, вспомнила то горькое чувство разочарования, которое испытала при известии, что он ушел в поход на подводной лодке. Вспомнила и слова мамы, сказанные ей в детстве и навсегда врезавшиеся в память: «Главное, Маруся, – любить, а остальное – трын-трава!». Да, именно так. Но почему же у нее, Марии, нет возлюбленного всем сердцем? Был свет ее очей дядя Паша, была жгучая девичья влюбленность, но его ведь давным-давно нет в ее жизни.

Стоя в сторонке от разговаривающих о море и яхте «сестренки», Мария вспомнила, как загадала она в пустыне, что если среди идущих навстречу путников не окажется ни одной женщины, то рано или поздно она обязательно встретится с дядей Пашей, куда бы он ни уехал, – хоть за океан, а хоть и за два. Женщин среди встреченных путников не оказалось. Это были три пешие негра, ведшие в поводу трех навьюченных осликов. «Главное – любить...». Легко сказать. Был дядя Паша, потом была тоска, долгая и тягостная, как засуха, а потом была Прага... первые радости университетской жизни, первые поклонники-однолетки, немеющие в ее присутствии, а потом... Прагу любят все. Злату Прагу принято любить, но когда об этом городе вспоминает Мария, то тяжелая, мутная волна поднимается в ее груди. Она до сих пор физически ощущает душу...

VI

Весна явно запаздывала в тихую Чехию. Первые дни марта стояли промозглые, с пронизывающим ветром, хотя и не сильным, но достаточно противным. Влтава разлилась и едва-едва держалась в берегах. Река пронеслась под шестнадцатью арками Карлова моста с таким напором, что вода не успевала плавно обтекать сложенные из песчаниковых квадратов еще в XIV веке массивные опорные быки и закипала по их краям пенным кружевом.

Смеркалось. После целого дня университетских занятий Мария спешила на репетиторство в богатую еврейскую семью из России, к гимназистке шестого класса – волоокой Идочке Напельбаум (однофамилице знаменитого в России фотографа), которую она вела сразу по трем предметам: истории, латыни, французскому языку. Марию радовало, что сегодня родители девочки должны были заплатить ей сразу за месяц занятий, и она обдумывала будущие траты. Пальтецо у нее было потертое, легонькое, как сказала бы мама, ветром подбитое, юбка, хотя и плотная, но тоже крепко поношенная, блузка китайского шелка, еще из Бизерты, выношенная до такой степени, что того и гляди вот-вот разлезется, в ней только и было ценного, что большие перламутровые пуговицы. Чтобы не замерзнуть, Мария очень быстро шагала по мощеной улочке в сторону знаменитого Карлова моста. «Покупать пальто уже не имеет смысла – скоро лето. Главное – купить туфли, мой давно каша просят, но выбрасывать их не стоит, а когда куплю новые, эти отдам в починку, и будет у меня аж две пары! Туфли надо купить бежевые под цвет моей беретки и желательно легонькие-легонькие, скоро жара. Надо бы купить и блузку, и юбку, но пока это мне не по карману. Хорошенькая Идочка, конечно, не дура, но однако лентяйка, что с ней еще заниматься и заниматься, до самого отъезда. И это хорошо – будут денежки на дорожку...» К осени Мария должна была закончить университет и собиралась в Париж. О Париж! Все русские там, все наши!

Занятия в университете совсем не тяготили Марию. Во-первых, она была капитально к ним подготовлена в Морском корпусе в Бизерте, а во-вторых, в Пражском университете того времени среди прочих работали выдающиеся и даже великие преподаватели. Один только философ Николай Онуфриевич Лосский чего стоил! Как это он сказал сегодня на лекции: «Интуиция есть созерцание предмета в его неприкосновенной подлинности».

Как круглая отличница Мария получала стипендию одного из русских эмигрантских фондов, еще довольно активно действовавших в те времена. К тому же она с первого курса начала подрабатывать посудомойкой в университетской столовой, а к третьему курсу нашла еще и репетиторство, нашла очаровательную лентяйку Идочку, перед которой ее родители с утра до вечера танцевали «семь сорок», так что жаловаться Марии было грех и она не гневала Бога.

В пропахшей прогорклым жиром, закисшими мокрыми тряпками и еще десятками других не лучших запахов посудомойке Марии при ее исключительно остром обонянии было тяжело, но она крепилась. В пропаренной вони и особенной, присущей только посудомойкам мокрой затхлости, моя и ополаскивая бесчисленные тарелки, вилки, ложки, стаканы, Мария обычно напевала себе под нос что-нибудь русское, вроде «степь да степь кругом, путь далек лежит», напевала и думала о своей будущей жизни, о том, что когда она станет богатой, то тоже учредит стипендии для русских, но, конечно, не такие маленькие, которых едва хватает на хлеб и на воду, а хотя бы в три раза побольше. Обязательно учредит стипендии, притом анонимно, так, чтобы «левая рука не знала, что делает правая».

Из-за поворота улочки открылись взору скульптурные группы на Карловом мосту. В наплывающих сумерках они показались Марии живыми людьми. Она присмотрелась: увы, изваяния не шелохнулись, а на всем по-

лукилометровом протяжении моста не было видно ни одной подвижной человеческой фигуры. Вдруг у нее похолодело под ложечкой и как будто темная рябая полоса мелькнула перед глазами. Мария приостановилась, ей стало не по себе, и она пожалела, что прогнала с полдороги Иржика. Ее однокурсник чех Иржи был высок ростом, хорошо сложен, привлекателен, умен и выказывал незаурядные способности в математике. Он почти нравился Марии, но именно почти. Иржи казался ей слишком пресным, да к тому же еще он был единственным наследником в богатой торговой семье, что особенно останавливало Марию. Когда на третьем курсе Иржи предложил ей руку и сердце, она так и сказала ему:

– Ты хочешь, чтобы я из грязи в князи? Не получится.

– Почему ты? Ты ведь графиня, это я из грязи...

– Откуда ты знаешь, что я графиня? – цепко взглянув на него, спросила Мария. – Я об этом никому не докладывала. И давно знаешь?

– Я знал всегда. – Иржи покраснел так, как будто его поймали за руку в чужом кармане. – Извини...

– А чего тут извинять? – смягчилась Мария. – Да, я графиня, но к сегодняшней моей жизни это не имеет никакого отношения.

В общем, она отказала ему и в руке и в сердце. Сделать это ей было довольно легко, ведь однажды она уже отвергла чужие миллионы.

Это случилось год назад, но Иржи так и не смирился с отказом, а продолжал упорно ходить за нею едва ли не по пятам, и Мария стала иногда прогонять его с полдороги. Были и еще претенденты, ведь на математическом факультете учились в основном юноши, да и во всем университете Мария была заметной фигурой. Были и претенденты, были и домогатели – и из студентов, и из молодых ассистентов, и из преподавателей постарше, но всем Мария давала от ворот поворот. «Береги честь смолоду», – говорила ее любимая мамочка. И она берегла и честь, и невинность. Она брезгливо презирала разговоры о том, что «пробное» сожителство до брака – дело хорошее и что сойтись юноше и девушке – все равно что выпить стакан воды. Эта теория так и называлась: «теория стакана воды» – и гуляла по всей Европе, как зараза. Марии шел двадцать второй год, но она не боялась остаться старой девой, как это иногда случается со слишком переборчивыми невестами. Как говорила мама: «Наша Маруся если не выскочит замуж малолеткой, то будет долго ждать своего принца на белом коне». Так и получилось: Мария ждала своего принца...

Очень часто, пока Мария занималась с Идочкой, высокий, или, как звали его Мария, «длиннобудый» (такое слово гуляло у них на Николаевщине), Иржи торчал под окнами особняка. В неполные четырнадцать лет хорошенькая, миниатюрная Идочка уже округлилась и была прелестна. В своей первоначальной женственности она чем-то напоминала весеннюю ветку, покрытую нежнейшим пухом первой зелени с едва наклеивающимися листочками. Идочка преклонялась перед Марией, не оставила она без внимания и рослого белокурого чеха, что часами топтался на тротуаре.

– Мадемуазель Мария, он ведь хороший, – однажды жалостно сказала Идочка, подглядывая из-за портьеры за Иржиком.

– Хороший! – засмеялась Мария. – О, да у тебя глазки горят! Хочешь, бери его себе, когда подрастешь.

– Хочу, – неожиданно очень серьезно сказала Идочка. – Я хочу выйти за него замуж.

– Вот подрастешь, окончишь университет...

– Нет! – На глаза Идочки навернулись горячие слезы. – Нет, он никогда не захочет на мне жениться.

– А ты постарайся! – подзадорила ее Мария. – Ладно, пошли дальше. «Когда Гадсдрубал покинул Карфаген...»

Пропуская мимо ушей все, что твердила ей Мария дальше: и про Гадсдрубала, и про Карфаген, и про римских легионеров, – Идочка вдруг сказала тихо, но очень уверенно:

– Я буду стараться, я обязательно постараюсь!..

«Нет, туфли мои вот-вот развалятся. Прежде всего надо покупать туфли, – неловко запнувшись отваливающейся подметкой о выступающий из мостовой булыжник, вернулась Мария к размышлениям о скорых деньгах и о будущих тратах. – Сколько не чисть эти туфли гуталином, а подметки вот-вот отвалятся, особенно на левой». – Мария сосредоточенно поглядела себе под ноги, на носки стареньких туфель, и не заметила, как по отсыпанному к реке откосу поднялись на дорогу два рослых оборванца.

Вскоре они поровнялись с ней. Один прошел мимо, а второй широко расставил руки и стал молча на нее надвигаться. Его черные глаза лихорадочно и масляно блестели, расставленные по сторонам кисти рук непроизвольно вздрагивали. Мария зорко взглянула в его белое длинное лицо, обратила внимание на натертую до красноты пипку носа: «Типичный кокаинист, здоровый верзила, но еще сосунок, усы едва пробиваются, и борода жидкая, редкая. Типичный кокаинист – такой на все способен».

Мария изготовилась к встрече с фронта, прицелилась наверняка, как учили ее в Морском корпусе на занятиях по рукопашному бою, учили не для спорта, а для войны... Прицелилась – и в то же мгновение получила удар из-за спины от того, второго, что вроде бы прошел мимо. Он ударил ее по голове кастетом. К счастью, волосы были собраны в пучок под бежевую беретку, и только потому нанюхавшийся кокаина босяк не проломил ей череп. Череп не проломил, но сознание она потеряла минут на десять, не меньше.

Они тут же оттащили ее вниз, к реке, подальше от дороги, в прибрежные заросли, сорвали с нее пальто, отняли сумочку с несколькими кронами, содрали юбку, предварительно полоснув толстую ткань ножом. И тут она очнулась...

В неверном сумеречном свете она увидела над собой негодя, стоявшего на четвереньках и стягивающего с нее расплосованную ножом юбку. Она удивилась, как легко стащил он с нее юбку, но дальше было уже не до юбки... Она мигом подняла ноги к подбородку и, распрямившись, как стальная пружина, ударила обеими ногами в грудь и лицо насильника. Дикий вой огласил тишайший берег Влтавы. Она попыталась вскочить на ноги, но стукнулась головой о ветви прибрежных зарослей. Второй из мерзавцев вlepил ей кулаком в лицо, раз, еще раз... Однако она не потеряла сознание и все-таки выскочила из зарослей на чистый берег. Тут-то кто-то из них и пырнул ее ножом. Она упала прямо к урезу воды, и сию же секунду ослепительный свет прожектора высветил все происходящее на берегу. Это был свет с полицейского катера, на Мариино счастье патрулировавшего мирную Влтаву. Полицейские услышали вопль бандита и повернули к берегу. Мария запомнила на всю жизнь, как, ломая кусты, убежали вверх в город те мерзавцы, как свистели вслед полицейские с катера. Она хотела вскрикнуть, но голоса не было. Вдруг прожектор погас, и она очутилась в сгущающейся тьме. Только сейчас Мария почувствовала, как горячо намокла блузка на животе, ощупала себя: сомнений не было – это кровь, много крови... Ноги Марии лежали в воде, и она ощущала, как вода подмывает спину, еще чуть-чуть, и река навсегда заберет ее к себе, словно какую-то прибрежную корягу. В голове шумело, и перед глазами летали огненные мушки, но Мария нашла в себе силы встать на колени.

Катер был где-то близко. Полицейские ругались между собой из-за того, что из строя вышел прожектор.

– У тебя, Ян, все держится на соплях! Как мы теперь найдем?

– Да, может, он убежал вместе с ними!

– Это не он, а она, я видел распущенные волосы. Заглуши мотор!

На катере заглушили мотор. Из выхлопной трубы стрельнуло запахом отработанных газов. Когда-то Мария уже ощущала что-то похожее... На окраинах сознания пронеслась бухта Бизерты и выхлопывающие вонючий дым французские военные катера, конвоировавшие русскую эскадру. Мария кое-как выползла из воды на относительно сухое место и из последних

сил постаралась позвать на помощь, но только надсадный стон вырвался из груди.

– Вон она, слышишь? Причаливай!

– Здесь нельзя, мы посадим катер на мель. Возьми лодку.

На этих словах Мария снова потеряла сознание. И не слышала, не видела и не чувствовала, как поднял ее отважный чешский полицейский. Патрульные отвезли Марию на ближайшую пристань, там ей была оказана первая экстренная помощь, и оттуда она была доставлена в муниципальную больницу для бедных. К счастью, рана оказалась не проникающая, а поверхностная.

Когда в больнице ее отмывали от речного песка и растирали спиртом, она пришла в себя на две-три минуты и тут же надолго вновь потеряла сознание, но за эти считанные минуты возившийся с ней фельдшер успел влить в нее соlidную дозу брома.

К полудню следующего дня Мария очнулась. Первое, что она ощутила, – это едкий запах карболки и тяжелый дух закрытого помещения, заполненного тяжелобольными. В большой палате с потеками на грязно-белых стенах помимо нее, Марии, лежали еще десять женщин. Состояние трех из них оценивалось как тяжелое, пятерых – средней тяжести, и две были выздоравливающие.

– Ты будешь у нас третья выздоравливающая, – сказал ей старенький врач в больших роговых очках на крупном пористом носу, из ноздрей которого рвались на свободу седые волосы. – Пройдем ко мне в кабинет.

– А я смогу?

– Сможешь, ты сильная девочка, потеря крови была небольшая, рану вчера зашили, тебя перевязали как следует. – Он помог ей накинуть светло-кремовый байковый халат на сатиновую рубашку с чужого плеча. – Держись! – Врач подставил Марии согнутую в локте сухую, но, как оказалось, вполне еще крепкую руку. И от нательной рубашки, и от халата удушающе пахло хлоркой, и, очевидно, от той же хлорки полы халата белели пятнами.

В узком маленьком кабинете врача оказалось не так затхло, как в палате и коридоре; единственное окно было наполовину открыто; слева у двери висело тусклое зеркало с облупившейся амальгамой. Мария невольно взглянула в него, но увидела что-то бесформенное, опухшее, черно-фиолетовое, с крохотными щелочками вместо глаз. Она отшатнулась.

– Не пугайся! Все у тебя будет в порядке: череп цел, нос не сломан, на теле и на лице много ушибов, ссадин, кровоподтеков, на животе касательное ножевое ранение. Ты его чувствуешь?

– Нет, – сказала Мария, с трудом разлепляя толстые губы. Она отметила, что врач так же, как и она, говорит по-чешски с акцентом, только не с русским, а с каким-то другим.

– Не чувствуешь ранку? Еще почувствуешь. Я вижу, ты не чешка? – Его увеличенные стеклами очков карие глазки навькате остро блеснули неподдельным любопытством.

– Да, но и вы... – Мария еле ворочала языком.

– Я поляк, деточка, пан Юзеф Домбровский, – неожиданно горделиво присанившись, представился врач. – Главное при сильном переохлаждении тела, чтобы все обошлось с легкими, остальное не так опасно. Разденься, дай я тебя осмотрю и послушаю. – Пан Юзеф закрыл окно, чтобы Марию не продуло, потом быстро осмотрел ее и долго выслушивал и выстукивал. – Одевайся, все будет хорошо. Тебя тошнит?

– Нет.

– Голова кружится?

– Да. Откройте окно. – Марии показалось, что она сейчас задохнется без свежего воздуха.

Пан Юзеф Домбровский исполнил просьбу пациентки.

– А где болит? Где ты особенно остро чувствуешь боль?

– Везде.

– Если устала, я отведу тебя в палату, а если есть силенки, ответь мне на несколько вопросов. Я заполню на тебя карточку, у нас без бумажки – ни шагу. Садись. – Он придвинул ей белый крашенный табурет. – Фамилия, имя?.. – Врач замаялся. – Если не хочешь называть настоящее, можешь лубое... Все-таки разбойное нападение...

И, едва он произнес эти слова, ее как будто кипятком обдало, и каждой косточкой своего тела она ощутила боль и ужас надругательства...

– То так, – перехватив мелькнувшие в щелочках ее глаз гнев и ужас, печально подтвердил доктор. – То так. Тебя спасла пуговица на блузке – острое ножа попало в пуговицу, и нож соскользнул по касательной, а били насмерть. Фамилия?

Она назвала почему-то фамилию папиного денщика – Галушко. Именно эта фамилия вдруг всплыла в памяти, и она назвалась Марией Галушко.

Пан Юзеф взял из деревянного ящичка на своем столе чистую карточку из тонкого серого картона, разграфленную типографским способом.

Мария впиалась взглядом в этот серый кусочек картона, где должна была запечатлеться сейчас хотя и маленькая, но исключительно важная часть ее жизни. Пан Юзеф корявым старческим почерком разнес все по графам: фамилию, имя, год рождения, род занятий (Мария попросила его указать, что она безработная, а в Праге проездом), диагноз, предпринятые меры лечения. Мария буквально ела серую картонку глазами, и ничто не ускользнуло от ее внимания: ни малоразборчивый почерк врача, ни его фамилия и имя, отпечатанные бледно-лиловым штампиком в левом верхнем уголке карточки: «Доктор Юзеф Домбровский», ни то, как подрагивали узловатые старые пальцы, так много выстукавшие на своем веку грудных клеток и заполнившие горы таких карточек и историй болезней.

– А почему я так долго была без сознания, если вы пишете: «Сотрясение мозга не имело места»?

– О, то, деточка, психогенный шок. То так. И потом наш фельдшер дал тебе лошадиную дозу брома, но главное – психогенный шок. То так...

Дня через три лицо ее позеленело, пожелтело, чуть спала опухоль, и глаза стали побольше. Мария не прислушивалась к тому, где ей особенно больно, она была единственная ходячая в палате и с утра до ночи обихаживала своих соседок. Она помогала им, а они помогали ей заглушать чувство смертной тоски и отчаяния. Женщин, за которыми она ухаживала, никто нигде не ждал. Душная, пропахшая лекарствами палата с потеками на давным-давно не беленных стенах, железная койка со слежавшимся ватным матрацем, на котором умерли многие, своя боль и стоны соседок – вот все, что осталось им в этом последнем приюте. Появление в палате Марии стало для них глотком свежего воздуха – настоящего, а не воображаемого: Мария укутывала соседок одеялами и открывала большую форточку, которая была заколочена еще с осени. Открывала форточку, а потом закрывала ее и раскутывала страждущих женщин. Каждый день она мыла в палате полы с давно облупившейся краской, притом мыла без хлорки, как обычно это делали нянечки, да и то сказать, не мыли, а так, ширкали шваброй под кроватями.

На шестой день лицо Марии хотя все еще и оставалось в желтых и темно-серых полосах, но отеки настолько спали, что оно приняло почти правильную форму. В этот день и явились к ней гости. Слава Богу, пан Юзеф не пустил их в палату, а велел подождать на крыльце с черного хода. В больнице доживали свой век бездомные или те, от которых все отказались, так что посетители были здесь в диковинку. В последние дни наступила наконец долгожданная весна и так сильно потеплело, что пан Юзеф не боялся простудить свою больную.

– К тебе пришли, – сказал он, заглянув в палату.

Мария не поняла, что он обращается к ней.

– Мария, к тебе пришли, – повторил пан Юзеф.

Раньше Мария слышала, как люди говорили о себе: «я окаменел» или «я окаменела». Слышать-то слышала, но была уверена, что это просто фи-

гура речи. Оказывается, никакая ни фигура, а голая правда. Мария окаменела. «Какой кошмар, наверно, Иржик! Сейчас он меня увидит! Нет, это невозможно!» А тем временем пан Домбровский уже вел ее по коридору. Перед выходом она уперлась:

– Не пойду! У меня никого нет! Мне никто не нужен!

– Они говорят, что ты их кузина. Очень приятные юноша и девочка, по всему видно, из хороших семей.

Боже, какая еще девочка?!

– Я не пойду!

– Хорошо, я скажу, что ты не хочешь их видеть, я тебя понимаю... –

Старик ободряюще взглянул на нее и сочувственно улыбнулся.

– Остановитесь. Я скажу все сама!

Не помня себя, Мария вышла на ступени больничного крыльца.

Иржи и Идочка стояли рядышком и обалдело улыбались.

– Мы нашли тебя! – подпрыгнула Идочка. Рядом с Иржи она вся светилась от счастья, и это не ускользнуло от внимания Марии и определило ее, Идочкину, дальнейшую судьбу.

Иржи молчал. К тому времени он уже обошел все морги, все больницы Праги, и сказать ему больше было нечего, во всяком случае, в эту минуту.

Иржи и Идочка думали, что они желанные гости, что они в радость, а Мария видела только то, как светится от счастья Идочка, а к Иржи она не испытала никакого другого чувства, кроме тяжелой неловкости, что он видит ее такой жалкой. Все это вместе взятое вдруг вызвало в ней странное решение: обидеть их так, чтобы у них никогда больше не возникало желания видеть ее.

– Я ненавижу вас! Вон из моего... из моей больницы! Вон! – некрасиво скривив и без того перекошенное лицо, прокричала Мария. – Вон! И не приближайтесь ко мне никогда! Никогда! – закончила Мария на хрипе.

Лицо Иржика напрялось, рот приоткрылся, он понял только одно: Мария не шутит, и это не истерика, а ее воля.

– Ма... Ма, – со слезами на глазах пыталась сказать «Мария» Идочка и даже двинулась к своей учительнице, но тут Иржи перехватил ее руку и быстро повел за собой с больничного двора.

Боже мой, если бы она могла плакать, как бы она сейчас зарыдала! А слез не было, и в горле стоял горячий, сухой, удушающий ком. Но она знала главное: теперь Идочка точно выйдет замуж за Иржика, и пусть они будут счастливы!

Пан Юзеф дал ей брому. Много. Предельно много. Она добралась до палаты, упала на койку и уснула...

На десятый день пребывания в больнице пан Юзеф снял швы с неглубокой, но длинной ранки на животе и сказал, что пора на выписку.

На прощание он подарил ей надколотую перламутровую пуговицу с ее разодранной в клочья блузки. Мария троекратно по-русски расцеловала пана Домбровского и вылетела из больницы, словно на крыльях. Ей было плевать на синяки, на убогое ситцевое платьице из больничной каптерки, на тянущую боль в ранке на животе и на шум в голове. Ей было на все плевать, даже на то, как жестоко обидела она Иржика и Идочку, которые стремились к ней всей душой.

Она была счастлива!

– Эй, ты где, сестренка, ты не с нами? – вывела ее из полузабытья нахлынувших воспоминаний Николь. – Так что, решено? Завтра на яхте?

– Решено! – подтвердила Мария. А на губах ее все еще блуждала полуулыбка, совсем не относящаяся ни к будущей поездке на яхте, ни к каменным стенам ее нового дома, ни к синеве застывшего в безветрии Тунисского залива, ни к полуобвалившимся красноватым термам римского императора Антонина Пия, где мелькали знакомые фигурки мсье Пиккара и его подручных мальчишек Али и Махмуда.

VII

Когда принц Иса через неделю пришел в банк господина Хаджибека, в приемной перед кабинетом Марии работала Уля. Она сидела за высокой машинкой Remington и неумело перестукивала двумя пальцами письмо в Лионский кредит, которое велела перепечатать Мария. Машинка была новенькая, с тугой клавиатурой, и Уля осваивала ее, не видя и не слыша ничего вокруг. Вдруг она почувствовала, что на нее смотрят. Уля подняла голову. На пороге стояло что-то диковинное – высокое, прямоугольное, разноцветное. Она даже и не сразу сообразила, что перед ней человек, пока не встретилась с ним глазами. Двухметровый верзил почти доставал притолоку двери. Голова его была обмотана легкой фиолетовой тканью, а на теле странные прямоугольные рубахи, одетые одна на другую: внизу ниспадающая на широкие голубые шаровары белая рубаха, сверху чуть покороче синяя, а на ней еще и третья из полосок фиолетовой ткани, с большой желтой вышивкой на груди, составленной из наложенных друг на друга треугольников, квадратов, кругов, ромбов, трапеций и даже маленького шестиугольника. Бедра явившегося чуда-юда обхватывали полоски ткани, белые, красные, синие, сплетавшиеся в широкий пояс с зелеными кистями. Картина была и яркая, и устрашающая одновременно.

– Мадемуазель, мы договаривались с госпожой Мари об аудиенции, – с парижским выговором произнесло чудо-юдо приятным баритоном.

– Как вас представить? – поднимаясь навстречу гостю и разворачиваясь во всей красе и стати, спросила Уля по-французски, точно с таким же выговором, как и гость. Не зря учила ее Мария.

– Иса.

Уля кивнула и поплыла к двери кабинета, боковым зрением улавливая пожирающий ее взгляд.

– Там какое-то чудо в перьях! – весело доложила она Марии по-русски. – Зовут Иса.

– Никакое это не чудо в перьях, а натуральный принц! – засмеялась Мария.

– Ого-го! Принцев я еще не видала!

– Проси!

Выходя из кабинета Марии, Уля прямо и с некоторой издевкой взглянула в черные, без зрачков глаза принца. Именно этот ее взгляд и воспламенил туарега больше всего: он знал, что так, как посмотрела на него секретарь Марии, смотрят на мужчин только туарегские женщины, известные красотой и дерзкой независимостью на всю Сахару.

– Вас ждут.

Принц хотел что-то сказать, но только боднул головой в фиолетовом покрывале и вошел в кабинет.

Мария не выказала удивления при виде Исы.

– Рада вас видеть. – И она сделала жест в сторону двух бордовых кожаных кресел. Точно такие кресла стояли когда-то в приемной перед ее кабинетом в банкирском доме Жака, в таком кресле сидел однажды перед ее дверями господин Хаджибек. Он не успокоился, пока не купил для своего банка такие же. – Так что вы решили? – ласково взглянув на Ису, спросила Мария, внимательно всматриваясь в вышивку на его верхней рубахе и особенно в звезду Давида, присутствие которой среди других геометрических фигур показалось ей странным. Мария чуть было не спросила Ису об этом, но сдержалась. Что-что, а не показывать удивления в любой ситуации она умела, она знала, как это важно. Лучше поговорить о звезде Давида с доктором Франсуа, он наверняка знает, в чем дело.

– Так что вы решили? Какие планы?

– Мать не разрешает, – сказал Иса.

Мария выдержала паузу.

– Почему? – наконец спросила она, справившись с удивлением. Она ведь ожидала безусловного согласия принца, а тут отказ, да еще потому, что мама не разрешает.

Принц промолчал.

– А как здоровье отца?

– Отец с ней согласен, – пропуская мимо ушей ее вопрос, чинно сказал туарег.

Принц Иса не рассчитывал на такой прием; он был уверен, что поразит воображение Марии своим нарядом, и она станет расспрашивать, а он отвечать. Принц даже приготовил длинную речь об обычаях и нравах своих соплеменников, об их среде обитания, одежде... Он хотел сказать Марии, что пришел не в общеарабском одеянии, а именно в старинном национальном туарегском костюме, чтобы подчеркнуть то уважение, которое питают к госпоже Мари его соотечественники. Принц промахнулся.

– Так что вы решили? – нарочито будничным тоном повторила Мария.

Из того, что Иса не ответил на вопрос о здоровье отца, она сделала вывод, что тот плох, и не стала развивать эту тему.

– Нет. Наверное, скоро я должен буду переехать из города к своим.

– В пустыню?

– Для кого пустыня, а для кого дом родной, – не без иронии сказал Иса.

– Понятно. Ничего страшного, – ослепительно улыбнулась туарегу Мария. – Вы ведь разрешите советоваться с вами?

Туарег исполнился горделивым достоинством. Это было заметно, даже несмотря на его закутанность с головы до ног в причудливые одежды.

– Привет вашему отцу и вашей матушке!

– О, мать будет очень рада! Теперь не только наши, но вообще все туарегии по всей Сахаре знают о вас.

И то, что он опять не вспомнил об отце, утвердило Марию в мысли, что тому не до приветов. Но Мария ошибалась. Как рассказал ей позже доктор Франсуа, у туарегов культ матери, а отец, пусть даже и царь, в мирной жизни властвует номинально. Его власть становится полной лишь в походе и на поле боя. А по поводу звезды Давида доктор сказал, что во многих туарегских племенах и сейчас лежат перед палатками коврики со звездой Давида. Дело в том, что сначала туарегов коснулся иудаизм, потом христианство и в последнюю очередь магометанство. Между тем туарегии до сих пор сохраняют свои древние языческие верования, хотя в них вплетены и иудаизм, и ислам. А что касается христианства, то оно было почти полностью вытеснено из жизни туарегов*.

VIII

До тридцати лет жизнь казалась Марии голубовато-зеленым полем нежной пшеницы восковой спелости, бескрайним полем с надеждой на замечательный урожай.

* Согласно трудам знаменитого французского этнографа и археолога Сахары Анри Лота, древние евреи рано обосновались в Северной Африке. Существовало даже государство в Туате. Когда сюда пришли арабы, они начали преследовать иудейское население. Закончилось все исламизацией многих племен и уходом других, непокоренных, в глубь Сахары. Как указывает Анри Лот: «Ныне невозможно определить, в какой степени эти ранее иудазированные племена участвовали в формировании народа туарегов. Многие не соблюдают предписаний корана. Некоторые вожди переложили на своих марабугов (духовников) «вознесение молитв вместо них», другие блюдут коран, но весьма формально. Бесспорен тот факт, что исламизации туарегов во многом способствовало проникновение европейцев в Африку. Под предлогом защиты веры марабутам удалось восстановить туарегов против французов. А сделали они это для упрочения своих личных позиций».

По тропке в необозримом море пшеницы с еще незрелыми зернами, сладковатыми на вкус, словно покрытыми тончайшим слоем воска, и шла однажды девятилетняя Маша со своей няней бабой Клавой, матерью папиного ординарца Сидора Галушко и их горничной, рыженькой певуньи Анечки.

В семье Галушко, которая проживала в небольшом домике на задах графской усадьбы, все любили и умели петь: и Сидор, и Анечка, и их отец, дед Остап, служивший конюхом, и сама Клава. Дочь, сын и отец пели украинские песни, которыми звенела вся Николаевщина, а баба Клава, вывезенная в юности из-под Курска, только свои, русские, или, как говорили в их семействе, кацапские.

Они свернули с дороги в поле нарочно, чтобы собрать побольше васильков, которые ярко голубели среди туго налитых, но еще зеленых колосьев. Был день рождения папá, и они еще со вчерашнего вечера сговорились с няней нарвать ему огромный букет васильков, чтобы Машенька преподнесла их во время торжественного семейного обеда. Она знала, что папá любит васильки, а значит, будет им рад, как хорошему подарку.

– Не топчи хлеб! – останавливала Машу баба Клава всякий раз, когда та норовила пробраться за цветком подалее от тропки. – Не топчи – грех.

Глухой и грубый голос няни был чем-то похож на ее раздавленные работой ладони. Баба Клава пожила на белом свете не мало и не много – лет шестьдесят. Машенька слышала, что шестьдесят, и в ее представлении это было так много, так много, что ни словом сказать, ни пером описать... Если девочка или мальчик были на год старше Машеньки, то и тогда ей казалось – намного, а если на три или на пять лет, то она воспринимала их чуть ли не как существ с другой планеты. А баба Клава и на вид была старенькая, некрепкая женщина, почти полностью изжившая свою жизнь, да еще с посошком, без которого она давно не ходила, потому что «мучилась поясницей».

Стоял славный июньский денек с легкими кучевыми облаками в высоком небе, с ласковым, теплым ветерком, что гнал по полю волну за волной, и зелено-голубое поле, особенно вдаль, напоминало море в легком волнении.

– Зачем тебя я, милый мой, узна-а-ла?
Зачем ты мне ответил на лю-бовь? –

вдруг запела вполголоса баба Клава, хотя и сипловато, но красиво, душевно. А Машеньке стало от этого так смешно, что она с хохотом и визгом убежала вперед по тропинке. Баба Клава не обиделась, а когда догнала поджидавшую ее Машеньку, сказала:

– Чем хихикать до поросычьего визга, лучше учись. Песня хорошая. Давай, на два голоса.

Зачем тебя я, милый мой, узна-а-ла?
Зачем ты мне ответил на лю-бовь?

Подхватывай!

И Машенька стала подпевать, на ходу выучивая слова, память у нее была отличная. Так они собирали васильки и пели:

– Ах, лучше бы я горяшка не зна-а-ла,
Не билось бы мое сердечко вновь...

Бабе Клаве была обязана Мария знанием многих как малоизвестных, так и популярных русских народных песен. С мамой они все больше пели романсы, с рыженькой Анечкой – украинские, а с бабой Клавой – русские песни.

На всю жизнь запомнила Мария ту песню в поле, те васильки, то, как было смешно ей слышать от сморщенной, скрюченной старушки о каком-то милом, о какой-то любви...

После тридцати все явственнее год от года стала Мария слышать шорох времени, безвозвратно осыпающегося за спиной. После тридцати начала она особенно часто задумываться о ребенке, которого пока так и не дал ей Бог.

IX

Дом подвели под крышу. Банкир Хаджибек обещал губернаторше Николь закончить внутреннюю отделку к Новому, 1939 году от Рождества Христова. На земле пока еще стоял хрупкий мир, и политики стран – участниц будущей бойни – с нарастающим остервенением клялись друг другу в вечной преданности, незыблемости границ и прочая.

Уля осваивалась в роли секретаря и помощницы Марии. Семь дней в неделю они ездили на свою фирму при банке господина Хаджибека и проводили там каждый раз не меньше двенадцати часов. Мария спешила наладить работу в портах и на дорогах до больших дождей.

Уле все было нипочем, а Мария так выматывалась, что у нее разладился сон. Это случилось вовсе не оттого, что у Марии было меньше энергии, чем у Ули, а потому, что работы у них были разные. Уля делала, что ей прикажут, а Мария сама «крутила Гаврилу». Почему-то на верфях в Николаеве так говорили подрядчики, и это застряло в памяти Марии. «Крутить Гаврилу» означало работать со всеми субподрядчиками (к сожалению, досконально вникая в их дела), со всеми кредиторами, с администрацией провинции и еще со многими и многими из тех, кто был прямо или косвенно заинтересован в строительстве. Притом принимать решения Марии приходилось исключительно на свой страх и риск, а рисковала она и своим именем, и своими средствами, и, можно сказать, вообще всей дальнейшей перспективой своей жизни.

Сон разладился, и по ночам, укутавшись в толстый шерстяной плед, она выходила на широкую каменную веранду виллы господина Хаджибека и бездумно смотрела на темнеющий остов своего будущего дома или в сторону моря. Скоро к ней стала приходиться Хадижа и прикатывать с собой жаровню на колесиках, полную мерцающих углей. Хадиже тоже не спалось одной в своей широкой постели. Они садились в шезлонги и грели руки над жаровней.

Иногда разговаривали, но больше молчали.

– Я сварю кофе? – предлагала Хадижа под утро, когда начинал зеленеть над морем восток.

– Свари.

В такие ночи Мария думала обо всем и ни о чем. Иногда в памяти смутно проносились события ее жизни, а иногда просто как будто туман стоял и в нем изредка возникали тени давно забытых ею знакомых и незнакомых людей, которые мелькнули перед ней только раз в жизни, например, таких, как тот босяк, что прошел мимо нее как ни в чем не бывало, а потом изо всей силы ударил ее по голове кастетом.

– Выходи за Пиккара, – сказала однажды Хадижа.

Мария пожала плечами.

– Почему? Он тебе пара.

– Не хочу.

– А-а, это другое дело.

На этом разговор иссяк, и Хадижа больше никогда не позволяла себе затрагивать большую тему.

«Не хочу» – это убедительно, тут ничего не скажешь.

За две недели до католического Рождества Николь объявила Марии, что они с мужем летят в Париж.

– Хочешь, возьмем тебя? Развеешься. Проведаешь своего морячка в Марселе, а? Давай!

– Давай! – неожиданно для себя согласилась Мария. – А то я здесь... – Она не договорила, но Николь и присутствовавшая при разговоре Ульяна и так все поняли. Разговор был в приемной Марии. – Остаешься за хозяйку, – обернулась она к Уле. – Ты меня поняла?

– Поняла, – встала из-за пишущей машинки Ульяна. – Чего ж тут не понять?

– Когда летим? – спросила Мария.

– Через три часа, – отвечала Николь.

– Вот это здорово! Я мигом покидаю в чемодан тряпье – и вперед! – Глаза Марии загорелись...

Через три часа двухмоторный губернаторский самолет оторвался от взлетной полосы и взял курс на Марсель.

– Увидишь своего мальчугана, смотри не сдрейфь! – горячо шепнула Марии на ухо губернаторша.

Лететь было комфортно, салон самолета был отделан с большим вкусом, приятно пахло дорогой кожей. Мария любила этот запах. У Сицилии они заметили в море перископ подводной лодки.

– Немцы шныряют, – сказал губернатор Шарль, – кажется, вы недалеко от истины, графиня. Кажется, война действительно надвигается.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Какие только странности и страсти
Не объявлялись на родной земле.

А. Т. Твардовский.

I

Благодаря маминей науке верить в Бога Сашеньке было гораздо легче на фронте, чем многим ее сверстникам, воспитанным в духе оголтелого атеизма. Фронтовой опыт показал, что там, где свистят пули, падают бомбы, рвутся снаряды, практически не остается неверующих, – молчком, но верят, втихую, но осеняют крестом брэнное тело почти все, а если не умеют креститься (таких много), то шепчут про себя самодельные молитвы.

За свою жизнь, изобилующую всякого рода превратностями, странностями, неожиданностями и случайностями, замыкающими иногда целые круги однообразных будней, Сашенька не раз и не два наталкивалась на мысль о том, что судьба всякого отдельного человека похожа на цветной клубок настоящего, прошлого и будущего, которое каждое следующее мгновение становится бывшим. И чем дольше живет человек, чем больше сплетается разноцветных нитей, тем сложнее увидеть свою жизнь как бы со стороны, предугадать или найти причинно-следственную связь развития событий: дескать, если бы я пошла туда, то было бы так, а если сюда, то этак...

«В совершающейся жизни нет прямой зависимости от наших поступков или от нашего выбора, она есть только в совершённой, законченной раз и навсегда, – думала Сашенька. – Нет этой прямой зависимости и в зигзагах судьбы. Не зря говорят: «Знал бы, где упадешь, – соломки подстелил». А тем более если и упадешь – это ведь может быть к лучшему? Так часто случается. Как ни крути, а все в руках Господних. Хотя: «На Бога надейся, а сам не плошай!» И это правда...»

Стоило Сашеньке только заикнуться перед знакомым медицинским начальством о своем желании поработать в госпитале, как ее быстро (в середине июня) перевели из штурмового батальона морской пехоты в большой госпиталь, который уже в начале июля был передан другому фронту (1-му Украинскому), а в августе она очутилась на Сандомирском плацдарме.

Казалось, никогда прежде не видела Александра таких красивых кучевых облаков, как в то августовское утро над Вислой. Причудливо клубя-

щиеся белые, серые, голубоватые облака, окаймленные по краям золотым свечением скрытого за ними солнца, плыли над широкой польской рекой так высоко, так медленно, величаво, что невольно приходило на ум: Наверное, там, за облаками, и есть рай небесный.

В вонючем бензиновом дыму автомобили госпиталя переезжали Вислу по гремящему, податливому понтонному мосту, наведенному саперами перед утром. Левый берег, куда перебирались машины, был покрыт по краям редкими купами малорослых плакучих ив и, насколько хватало глаз, зарослями выгоревших за лето серых камышей, за которыми угадывались болотца, но понтонеры умудрились вывести мост на пяточок сухого и чистого пригорка. Вывели и спали теперь, подстелив выдавшие виды шинельки, на бережку чужой реки. Впрочем, не совсем чужой – до войны 1914 года эта земля была частью России.

– Лежат, как камушки! – сказал о спящих при дороге саперах кто-то стоявший за спиной Александры в открытом кузове грузовика.

Это сейчас наши переезжали Вислу по мосту, а первоначально форсировали реку только на плотках и лодках. Река была широкая, течение быстрое, обстрелы немецкой артиллерии методичные, практически безостановочные, так что построить понтонный мост для тяжелой техники долгое время не представлялось возможным.

Бой шел далеко-далеко на Западе, урчание канонады едва доносилось из-за кромки безмятежно чистого горизонта. Наши войска отвоевали у немцев плацдарм шириной около шестидесяти и в глубину почти пятьдесят километров. Правда, кое-где упорно оборонявшиеся немецкие войска вдавались в нашу территорию длинными клиньями, похожими на острые зубы, и теперь, во второй половине августа 1944 года, мы ломали эти зубы, выравнивали линию фронта*.

Госпиталь перебрасывали из Крыма в Польшу то по железной дороге, то своим ходом и под таким покровом тайны, что люди до последнего не ведали, куда их везут. Даже начальник госпиталя, даже особист** – и те не знали конечного пункта назначения, а только каждый следующий отрезок пути, который приказывалось преодолеть «вплоть до особого распоряжения».

Душной августовской ночью на затемненной маленькой станции с выступающими из тьмы полубрушенными строениями вокзала начали выгружаться из эшелона.

– Загадывайте желание! – вдруг перекрыл шум общей сутолоки звонкий девичий голос. – Звездопад!

Все вмиг подняли головы к небу, и наступила полная тишина. Много золотых нитей летело по черному небосклону и гасло, не долетев до горизонта. Гасло, оставляя от промелькнувшей звездочки лишь крохотный белый след в конце пути, который тут же и пропадал во тьме раз и навсегда. Сашенька успела загадать на маму, на Адама, а для нее самой не хватило звезды. На маму загадала чисто. На Адама почти хорошо, только погасла звезда на полуслове: «Адась, ты жив! Я най...» Она хотела сказать «я найду тебя», да не успела. О себе Александра подумала в последнюю очередь, и ей не досталось звезды. Наверное, не ей одной, многие продолжали напряженно вглядываться в высокий черный небосвод, но ничего, кроме

* Львовско-Сандомирская наступательная операция была проведена с 13 июля по 29 августа 1944 года силами 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева, которому противостояли немецкие войска генерала-полковника Гарпе. С обеих сторон в этой кровопролитнейшей операции участвовало в общей сложности более двух миллионов человек, около 23 тысяч орудий и минометов, 3 тысячи танков, 4 тысячи самолетов. Превосходство русских в живой силе было незначительным, а в технике подавляющим. Для наглядности можно добавить, что площадь Сандомирского плацдарма равна примерно 1/20 площади нынешней Московской области.

** О с о б и с т – офицер особого отдела НКВД (Народного комиссариата внутренних дел), призванный следить за политической благонадежностью всех в подразделении, включая первое лицо, за настроениями, высказываниями и т. д. и т. п.

обычных вечных звезд и туманно-светлой полосы Млечного Пути, там не было видно. Хоть бы единая звездочка сорвалась! Нет, не дождались.

– По ма-ши-нам! – последовала негромкая команда и вернула всех от ребячливой веры и надежды к прифронтовой обыденности.

На рассвете пахнуло сыростью, подъехали к какой-то большой реке. Это была Висла. С высокого правого берега машины медленно съезжали к переправе. Оказалось, что мост еще не готов и надо ждать. После дальней дороги всем хотелось размяться, люди сошли на берег.

Александра присела на корточки у самой воды. Вдоль кромки берега течения почти не было, и вода стояла теплая, ласковая на ощупь. Александра с удовольствием умылась и подумала: «Если бы Адашь знал, что я на Висле! Господи, неужели я не найду его?.. – Она вспомнила звезду, погасшую на полуслове, и волна тяжелого, смертного страха охватила ее душу. – Нет, не может быть! Я обязательно найду его! Он жив, он точно жив! – Первый луч солнца блеснул на водной глади темно-серой реки, и на душе полегчало. – Найду!»

Хотя Александра и пробыла на новом месте службы почти полтора месяца, она до сих пор мало кого знала и ее знали немногие. Во-первых, она была командирована от Главного медицинского управления фронта в «резерв начальника госпиталя» и таким образом оказалась как бы не у дел, не была пока приписана ни к какой команде, а во-вторых, она не только не набивалась на знакомства, но избегала их, как могла. Если кто и пытался с нею заговорить, то тут же понимал, что дело это безнадежное, что перед ним человек нелюдимый, закрытый, а может, даже злой, и от такого лучше держаться подальше. А веселых бодрячков, которые, случалось, все-таки приставали к ней с ухаживаниями, она обдавала таким холодом, что те сразу теряли дар речи.

Госпиталь был большой, и младших и старших офицеров служило в нем предостаточно; главврач и два заместителя начальника госпиталя имели чин полковников, а начальник, так тот и вообще был генерал-майор, да еще и хирург, известный всей стране по довоенному времени. Так что Александра со своей маленькой звездочкой на погонах пребывала на новом месте в глубокой тени, тем более что никто пока не видел ее в настоящей работе, не видел и при орденах, которые дорогого стоили. В ее гардеробе, если так можно выразиться о вещмешке, было три гимнастерки – одна парадная, с привинченными орденами и две сменные, на каждый день. На новом месте службы она еще ни разу не надевала парадной гимнастерки, так что и в этом смысле была совершенно неприметной. А у нее к тому времени уже был орден Боевого Красного Знамени, который особенно высоко ценился в войсках, поскольку получали его, как правило, только те, кто совершил что-то значительное непосредственно на поле боя. Например, Александра получила свой еще задолго до штурма Севастополя за то, что вытащила на себе из-под огня раненого командира полка. А еще был у нее орден Красной Звезды, а еще с гражданки орден Трудового Красного Знамени, которым наградили ее в Москве. Так что парадная гимнастерка была и тяжеленькая и внушительная.

По странной случайности, каких в жизни немало, заместителем начальника госпиталя по тылу, проще говоря, снабженцем, оказался старый знакомый Сашеньки, тот самый Ираклий Соломонович, что когда-то, в 1941-м, обул и одел весь их московский госпиталь. Глядя на маленького, верткого Ираклия Соломоновича с его бегающими голубыми глазками и огромным лбом, с которого он то и дело вытирал скомканным платком капельки пота, она вспомнила даже запах того овчинного полушубка, в котором стояла под дверями загса, когда они «расписывали» Надю и Карена-маленького. Как потом слышала Сашенька, Ираклий Соломонович чем-то проштрафился в Москве, и его сослали на фронт, но и здесь он чувствовал себя как рыба в воде. Его стараниями госпиталь был экипирован лучшим образом и весь персонал хорошо одет, обут и накормлен.

Ираклий Соломонович не узнал Сашеньку, а она не напомнила о себе. Только пришло на память письмо Нади о том, что, как и обещал, Ираклий Соломонович «выцепил» для них, Нади, Карена и Артема, комнатку в коммуналке.

Точно так же, как и комнату для Надиной семьи, «выцепил» Ираклий Соломонович на Сандомирском плацдарме и немецкий госпиталь, забытый в целостности и сохранности в старинном фольварке*. Хотя сказать «забытый» будет неправильно. Госпиталь, помещавшийся в роскошном доме с колоннами, был напичкан немецкими минами-ловушками, а парк был чистый. Там немцы не успели заложить мины.

Ираклий Соломонович, прибывший на Сандомирский плацдарм на трое суток раньше своей части, как-то сразу узнал про заминированный немецкий госпиталь и добился его немедленного разминирования, хотя саперы шли нарасхват. У Ираклия Соломоновича была удивительная способность узнавать все раньше других, улавливать, сопоставлять, делать выводы и принимать решения. Можно сказать без преувеличения, что личный состав госпиталя жил, что называется, его попечением, но это вовсе не мешало всем хихикать над Ираклием Соломоновичем и не принимать его всерьез. Такая была у человека планида: он все тащил «в дом», все доставал, всех обеспечивал, и все считали это вполне естественным, само собой разумеющимся и только подсмеивались над ним вместо благодарности. Так было в Москве, так было и здесь, на фронте.

Ираклий Соломонович встретил свой госпиталь у каменных ворот фольварка, в руках его была фанерка с надписью мелом: «Мин нет!» Его смеющиеся голубые глазки перебежали с одного лица на другое, он встретился глазами и с Александрой, но опять не признал ее. Колонна втянулась по дороге к центральной усадьбе и остановилась.

Выяснилось, что немцы оставили госпиталь очень поспешно. Начальство пошло осматривать здание, а все остальные поспрыгивали на землю и стали ждать распоряжений. Начальник госпиталя приказал еще раз перепроверить «каждый сантиметр» трофейного госпиталя на предмет, как он выразился, «подарочков». Стало ясно, что ожидание затягивается на неопределенное время, и народ расслабился. Немцы бросили здание со всеми его палатами, операционными, со всем хозяйством, но успели эвакуировать своих – и живых, и мертвых. Широкие двухстворчатые, обитые оцинковкой двери полуподвального морга были распахнуты настежь, и теплый ветерок наносил оттуда устойчивый запах формалина и сладковатый дух вечности.

«Он жив! Он не мог умереть!» – обоняя запах тлена, думала Александра об Адаме, и он снова представился ей обнаженным, осыпанным пальмы листьями и, главное, живым! Она и раньше думала об Адаме как о живом, но почему-то именно с той минуты, когда на нее повеяло из немецкого морга, она уверилась в этом окончательно, раз и навсегда.

От морга она пошла не налево и не направо, а прямо, к начинающейся шагах в тридцати аллее вековых лип. И то, что она пошла именно туда, в ее благодатную тень, многое изменило в судьбе Сашеньки.

II

Имение было старинное и ухоженное, во всем чувствовался строгий немецкий глаз и умелые польские руки.

Жара и придорожная пыль, клубившаяся над госпитальной колонной, пока ехали от реки к новому месту дислокации, так доняли всех, что здесь,

* Ф о л ь в а р к (польское folwark, от немецкого vorwerk – хутор, отдельная усадьба) – в Польше, Литве, Белоруссии, на Украине комплекс строений с парком и приусадебными помещичьими землями.

в старой барской усадьбе, каждый почувствовал себя, словно в земном раю: прохлада, тишина, птички поют...

На аллее, по которой пошла Александра, липы стояли одна к одной, огромные – метров двадцать в высоту и такие, что не обхватишь. Легкий верховой ветерок ласково трепал кроны деревьев, сплетенные в вышине так густо, что вниз, на землю, прорывались лишь дрожащие пятна света, и от этого дорожку как бы рябило, словно это была не аллея, а река в каком-то сказочном царстве-государстве покоя, блаженства и тихой радости торжествующей жизни.

Опушенные с северной стороны коротким голубовато-зеленым мхом стволы деревьев надрезали такие глубокие продольные борозды, словно какой-то гигантский зверь точил о них острые когти. Невольно остановившись возле одной из лип, Александра сначала потрогала кору, а потом обняла могучий ствол, прижалась щекой к прохладной и шершавой его поверхности, от которой так нежно, так душисто пахло молодым лесом, свежестью, радостью летнего дня, что показалось – вот оно, вечное счастье, рядом, иди себе и иди по текучей от солнечных пятен рябой аллее, иди и придешь... А пахло, собственно, точно так, как и должна пахнуть липа, не зря ведь из нее вырезают ложки, делают люльки для младенцев, обшивают липовой доской стенки парных. В школе Сашенька увлекалась миром растений, и теперь она точно видела, что это не широколистные липы, распространенные на Западной Украине и в Европе, а русские, так называемые мелколистные, – значит, жил в этом имении кто-то, тесно связанный с Россией*.

С третьего класса горячо заинтересовалась Сашенька жизнью растений. Много раз пыталась выращивать цветы в своей «дворнической» с маленьким окном в потолке. Но, к ее глубокому сожалению, цветы часто болели, блекли и погибали. Сколько азалий, фуксий, цикламенов, комнатных фиалок оплакала Сашенька! Даже герань становилась белесой, скукоживалась и не росла. Как она ни уговаривала свои цветочки: «Растите, миленькие, растите, любименькие», – ничего не помогало! Однажды Сашенька притащила с помойки выброшенный кем-то фикус, листья на нем были толстые, темно-зеленые и как лакированные, фикус достался ей в отличном состоянии. А дома зачах, листья опадали день ото дня, сохли, скручивались. Мама всегда говорила, что слишком «темно у хаты», но Сашенька долго упорствовала и перестала пытаться разводить цветы только после поступления в медицинское училище. Хотя и тогда надеялась, что рано или поздно будет у нее свой домик с палисадничком и вот там-то она утешится.

Мягкий аромат липовой аллеи и тишина наводили на мысли о скором мире, о встрече с мамой, с Адамом, которого она непременно отыщет... В сознании Александры еще раз промелькнули обитые оцинковкой, распахнутые настежь двухстворчатые двери немецкого морга, припомнился густой, сладковатый запах тлена, и снова ее поразило острое чувство того, что Адам жив...

«Какие молодцы немцы, что забрали всех своих, – подумала Александра, вспоминая пустой морг, – даже мертвых, не то что живых – всех!»

Нет, оказывается, не всех...

Из глубины парка, совсем недалеко от аллеи, послышались, хотя и негромкие, но отчетливые голоса.

– Фриц поганый!

– Ja, ja, ich bin Fritz!

– Че мы его тащим? Давай лопатой по башке и чуть прикопаем!

* О липах она могла бы рассказать многое: что размножаются они семенами, реже – отводками, что в мире их двадцать пять видов, а в Северном полушарии десять, что листья у липы округло-сердцевидные, душистые, что растет липа повсюду, иногда достигает высоты 30 метров, что живет она до 300-400 лет.

- Не-е, надо сдать честь честью.
- Иди, если трухаешь, а я его сам. Отстегну лопатку – и амба!
- Не-е, товарищ ефрейтор, надо до начальства.
- Я сам себе начальник!

Пока Александра слышала лишь голоса. Голос того, кто хотел прибить немца, был басовитый, истеричный, а того, кто пытался образумить, – тонкий, почти писклявый. Создавалось впечатление, что спорят подросток и взрослый верзила.

– Иди! Я их, гадов фрицев, терпеть ненавижу. Война кончается, а еще ни одного не пришел. Сейчас...

– Ja, ja, ich bin Fritz! Woher wissen sie das? (Да, да, я Фритц! Откуда вы знаете?)

– Бросай его, гада! Бросай, кому сказал!

Стремительно выходя из аллеи, Александра услышала, как упало тело, и тут же ей открылась вся картина.

Замотанный в грязные бинты немец лежал недвижно, как кукла, а рядом стояли два госпитальных санитаров – один громадный, толстый, а второй щуплый, маленький. Большой, с одутловатым, хотя еще и совсем молодым лицом, в пилотке, съехавшей с русых вихров на ухо, обалдело открыл рот, смотрел на Александру как на явление природы. Маленький был значительно старше, и явившаяся вдруг Александра, казалось, совсем не произвела на него никакого впечатления и не изменила его намерений: он продолжил деловито отстегивать от ремня острую саперную лопатку, хотя пальцы его и дрожали.

– Отставить! – звонко крикнула Александра, одним движением вынимая из мягкой кобуры гришукровский вальтер и автоматически снимая его с предохранителя.

– Тю, ты бачь, яка цаца! – вдруг переходя на украинский, басом произнес маленький чернявый санитар, и его возбужденно блестящие глаза смерили Александру с головы до ног презрительным взглядом. Он все-таки занес саперную лопатку над немцем.

В ту же секунду Александра выстрелила над головами санитаров и, сбивая пулей, ветка упала с куста орешника на землю, рядом с недвижимым телом.

Большой глупо улыбнулся, а маленький так и замер с лопаткой над головой.

– Следующую пулю я пушу тебе в лоб! – дружелюбно проговорила Александра, подходя к месту действия.

Тут оба санитаров разглядели, что перед ними офицер, и это окончательно их смутило. Маленький пристегнул пляшущими пальцами лопатку к своему ремню, а большой присел на корточки перед телом и стал его поднимать.

– Немчик, товарищ лейтенант, – пискляво сказал большой, – ранетый весь.

Да, это был вовсе и не немец, а немчик лет семнадцати, весь в сбившихся грязных бинтах – на голове, на руках, на ногах.

– Положи его, дай я осмотрю, – вполголоса велела Александра большому санитару. Но и маленький тут же подсуетился, умело помог бережно уложить раненого на землю.

Раненый был в сознании, его голубые, почти побелевшие от ужаса глаза смотрели на Александру не мигая, он хотел что-то вымолвить и не мог из-за спазмов в горле.

– Множественные осколочные ранения, – сказала Александра, – поверхностные...

– Да, это так, – неожиданно произнес за ее спиной скрипучий мужской голос.

Александра поднялась с корточек, обернулась.

Прямо перед ней стоял главный хирург госпиталя Александр Суменович Папиков.

– За носилками! – приказал Папиков санитарам, и те, не помня себя от счастья, кинулись исполнять приказание. – Вы стреляли?

– Пришлось. – Александра потупилась.

Немецкий юноша смотрел на них молча, но в глазах его затеплилась надежда.

– Я вас что-то не знаю, – сказал Папиков.

– Военфельдшер Александра Домбровская!

– С гражданки фельдшер?

– Так точно. Старшая операционная сестра Н-ского госпиталя.

– О-о! – Папиков взглянул на нее внимательно, изучающе. Громкое имя московского госпиталя, который назвала Александра, возымело свое действие.

– А я из Питера, – сказал Папиков.

– Кто же вас не знает!

– Так, – сказал Папиков, – и лучше его не в процедурную, а сразу в операционную – здесь есть, что чистить. Начинайте его распеленывать, а я пока переговорю с кем надо. Немецкий солдат в нашем госпитале – это тебе не шутка.

Скоро прибежали санитары с носилками, положили на них раненого, понесли.

– Прямо в операционную! – приказала Александра. – Не летите! – И пошла впереди санитаров. Она понимала, что должна идти впереди. Немецкий солдат в русском госпитале – это действительно не шутка. Как военнопленного, его полагалось тут же сдать «компетентным органам», но без немедленной медицинской помощи он, конечно, не выживет.

Немецкая операционная сияла чистотой, и все в ней было на месте, каждая мелочь под рукой. Для Александры оборудование операционной не было в новинку – точь-в-точь такое привезли из Германии в 1939 году в их московскую больницу, и Александра успела с ним поработать. До войны у нас с Германией были наилучшие отношения. Немцы поставляли нам точное оборудование, а мы им взамен зерно, руду, древесину... Тогда в России работало много немецких специалистов. Некоторые даже изучали наше военное дело, например, Гудериан на секретном Казанском танковом полигоне*. Стажировались немецкие врачи и в больнице Александры. В школе и в училище Сашенька учила немецкий, с тренером по акробатике, урожденной немкой Матильдой Ивановной, они иногда даже разговаривали по-немецки. Перед войной немецкий язык был у нас в большой моде. Английский тогда считался бесполезным – вся техническая документация шла на немецком языке**.

Размачивая перекисью водорода присохшие к ранам бинты, глядя, как шипит перекись и как бы приподнимает белыми пузырьками марлю над ранами, Александра попыталась заговорить с пациентом по-немецки, но тот ничего не мог ей ответить. Хотел, а из горла вырывался только клекот.

– Ладно, терпи, – привычными резкими движениями отдирая размоченные бинты, сказала ему Александра по-русски, – терпи, казак, атаманом будешь!

В операционную вошел Папиков.

– Договорился. Пока побудет. Что тут у него? Да, надо чистить. – Он прошел к раковине и стал мыть руки. – Удивительно, даже водопровод у них в порядке!

* Засылка в СССР военных из Германии носила в конце 1920-х и начале 1930-х годов довольно массовый характер. Многие немецкие летчики учились в Липецке и т. п.

** Языковая экспансия наших англо-американских союзников явилась одним из их важнейших свершений после войны – с годами немецкий язык был совсем оттеснен в международной практике английским.

– Орднунг! – сказала Александра, осваиваясь с новым знакомым.
Вот так первым пациентом русского госпиталя на Сандомирском плацдарме стал вражеский солдат.

III

Маленькая комната в доме Глафиры Петровны была узкая – два с половиной метра в ширину и четыре в длину, с небольшим, заплаканным от осенних дождей одинарным окошком и крохотной форточкой, открывающейся при помощи прибитой в край скользкой кожаной тесемки. До того как привезли в дом Адама, комнатку безраздельно занимала сама хозяйка, а теперь она переселилась к дочке и внуку – в большую, квадратную, четыре на четыре метра.

Кровать с голубыми железными спинками, на которой разместили Адама, стояла в углу, у дальней от окошка стены, так, чтобы, когда распахивали форточку, на него не дуло. На стене у кровати висел обычный в этих местах коврик, написанный маслом на обратной стороне клеенки. Рисовали на таких ковриках всякое, но обычно что-то торжественное или умирительное. На коврике над кроватью Адама был изображен лебедь с непропорционально длинной, причудливо изогнутой шеей, плывущий то ли по какому-то экзотическому пруду, то ли по луже, окруженной красными, желтыми, лиловыми цветками, явно неместной красоты.

Домик у Глафиры Петровны был саманный, очень теплый зимой и прохладный летом. Она, ее муж и Катерина месили глину на саманы голыми ногами и сами формовали их в дощатых формочках. Месила ту глину Глафира Петровна для мирной жизни, месила с удовольствием – она до сих пор иногда вспоминала, как продавливалась между пальцами ее ног жирная глина с соломой. Эх, как это было славно! Месила ту глину она двумя ногами, сильными, ладными, высоко подоткнув легкую холстинковую юбку, так, что белые заголенные ноги ее сияли на солнце и никакой загар не приставал к их молочной белизне, только капельки глины, разлетавшейся из-под пританцовывающих ступней.

Перед самой войной ее муж даже постелил в доме деревянные полы – в простых домах полы были земляные. Домик удался такой теплый, что на топку шло мало кизяку*, фактически до самой зимы хватало того тепла, что давала печка в большой комнате, когда на ней готовили или кипятили чай, грели воду, чтобы обиходить Адама.

Вокруг раны на голове у постояльца, которую они обнаружили в первый же день, Глафира Петровна аккуратно выстригла слипшиеся от крови волосы. Потом обработали рану самогоном и не стали перевязывать голову.

«Нехай так подсыхает, ранка хоть и большая, но неглубокая», – решила Глафира Петровна. Рана действительно была обширная, но непроникающая, голова была не пробита, а как бы стесана тупым предметом.

Десять суток пролежал Адам, не приходя в сознание. Глафира Петровна, ее дочь Катерина и соседская девочка Ксения Половинкина все эти дни и ночи ухаживали за ним неусыпно, по очереди сменяя друг друга.

Сыну Катерины, альбиносу Ваньку, дежурства не доверяли. Ванек был мальчишка бесхитростный и не скрывал своей неприязни к найденному им же самим постояльцу. По молчаливому сговору между Глафирой Петровной, Катериной и Ксенией они и впредь ни на минуту не оставляли Ваньку один на один с больным. И во все дни беспомощности Адама этот сговор ни разу не был нарушен.

Глафира Петровна протирала Адама мокрой чистой тряпицей, оторванной уголком от ее ветхой простыни, напитывала тело больного вла-

* К и з я к – сухие лепешки из коровьего навоза с соломой.

гой. Катерине подобная процедура вообще не доверялась, а Ксения протира- рала только лицо Адама, шею и предплечья.

– И што ты яго трешь-трешь? Дырка будить! Он и так чистый – дохляк ваш! – как-то в запальчивости выкрикнул Ксении Ванек, и в его блекло- голубых глазах сверкнул нехороший огонек, в котором было все сразу: и беспомощность, и ненависть, и зависть...

– Иди, Ванечка, отсюда быстренько, – тихим, бесстрастным голосом проговорила Ксения, продолжая протирать влажной тряпицей высокий, чистый лоб Адама. – Иди, Ванечка, – повторила она чуть настойчивее, но так, как будто была лет на пятнадцать старше него. – Иди-иди...

И Ванек убрался из дома.

Иногда Глафира Петровна смачивала водой ватку и смазывала пере- сохшие губы Адама. А то выжимала из ватки мелкие капельки на его зубы – она знала, как важно подавать воду по чуть-чуть, чтобы, не дай Бог, не по- пала в дыхательное горло.

На третий день после того как они привезли Адама из заросшего бурь- яном оврага в дом, пожаловал председатель колхоза – одноногий Иван Ефремович Воробей, тот самый, что давал телегу.

Считалось, что Иван Ефремович потерял ногу в гражданскую войну, когда доблестно воевал за красных. Хотя, что было с его ногой на самом деле и за кого он воевал и воевал ли вообще, никто в поселке не знал и знать не мог. Иван Ефремович появился здесь уже на одной ноге и обра- щался с костылями так ловко, как будто вырос на них.

Он прибыл в поселок в первый год нэпа и все время торговой вольни- цы работал фотографом на базаре – с утра до вечера, обещал своим клиен- там «птичку», которая вот-вот вылетит из его фотоаппарата. А когда нэп как корова языком слизнула, Иван Ефремович быстренько свернул свое частное дело и устроился фотографом при паспортном столе поселковой милиции, а там и до загса было рукой подать...

Поглядел Иван Ефремович на беспамятного Адама и сказал Глафире Петровне:

– Парень из наших бойцов, а скорее из офицеров – глянь, руки без мозолей, без единого даже мозолика. А раздели его догола мои архаров- цы, да разве они сознаются!.. Тебе же, Глаша, совет: определись с ним, нельзя быть человеку никем и звать никак.

– Приходил он ко мне в загс с молодойкой, а вспомнить ни имя, ни фамилию, хоть убей, не могу. Расписывала я его, Ваня, с законным бра- ком... а все сгорело!

– Можешь не можешь, а определиться надо! – строго сказал Иван Еф- ремович и добавил шепотом, по-свойски: – Сама знаешь, сколько у нас... – Он не стал договаривать. Глафира Петровна поняла его без слов и вдруг хлопнула себя по лбу и выкрикнула:

– Да то братка мой, Леха!

– Ладно, артистка! – засмеялся Иван Ефремович, и его карие близко посаженные глаза, про которые острая на язык Глафира говорила, что у него «глаза кучкой», лукаво блеснули. – Братка так братка. Пойду, а то твой внучонок Ванек не удержит под уздцы мою горячую кобыленку и ускачет она вместе с таратайкой.

На одиннадцатый день Адам приоткрыл глаза и долго смотрел в одну точку – на розовый клюв лебедя на прикроватном коврикe. Посмотрел, посмотрел и опять смежил веки еще на сутки. Зато у него восстановился глотательный рефлекс, и его стали подкармливать бульоном. Для бульона Катерина зарубила одну из трех куриц, которыми была богата их семья.

– Ничего, – вздохнула по этому поводу Глафира Петровна, – куры у нас будут, главное – парня выходить.

Еще месяц Адам пребывал в пограничном сумеречном состоянии, ког- да стали пробиваться в его сознание какие-то отрывочные ощущения. То это было тепло рук, которые к нему прикасались, то, как сквозь шум моря

и гул какой-то неясной, обрывочной, но мелодичной музыки стал он слышать даже отдельные слова, и не просто слышать, но и понимать их значение: «Поверни!», «Пролежни!», «Катька, не пьйся!», «Ксюша, голову!». А потом опять наплывали гул, шум листья под ветром, звуки далекой музыки, такой знакомой и такой недосыгаемой, как белый лебедь, который время от времени проплывал над ним...

Глафира Петровна не стала играть в прятки ни со своей дочерью Катериной, ни с соседской девочкой Ксюшей. Ни даже с Ваньком. В тот же вечер, как уехал от них на подрессоренной двуколке председатель колхоза Иван Ефремович Воробей, она собрала всех в большой комнате и сказала:

– Зарубите себе на носу: сегодня я узнала по родинке, что наш постоялец – младший мой братик Леха. Я считала, что он умер в тридцать третьем у нас на Украине с голоду, а он живой...

– А где та родинка? – заинтересованно спросила Катерина.

– Где надо, там и есть. На левой ляжке, изнутри.

– Коло причинного места?! – фыркнула смешливая Катерина.

– А то не твоего ума дело! Тебе на нее пялиться ни к чему! – резко обрвала дочь Глафиры Петровна.

– Эка невидаль! – хихикнула Катерина. – У меня так...

– Помолчи! – гаркнула Глафира Петровна.

Ванек тупо смотрел перед собой, и по его лицу никак нельзя было угадать, понял ли он что-нибудь. Заподозрил бабку во лжи или нет? В определенном смысле веснушчатое маленькое блеклоглазое лицо Ванька с белыми бровями, белыми ресницами и белыми волосами на голове представлялось совершенно замечательным: прочесть на нем можно было столько же, сколько на чистом листе бумаги.

– Ну ты у меня смотри, язык оторву! – тем не менее, грозно взглянув на Ваньку, сказала Глафира Петровна. – Так кто мне постоялец? Кто? Говори! – нависла она над внучонком.

– Та братка твой, братка, – поспешно отвечал Ванек, потому что знал, какая тяжелая рука у бабки.

– Мне брат, а тебе дед двоюродный, понял?

– Понял. Дед двоюродный, – как эхо, отвечал Ванек и на всякий случай зашмыгал носом, как будто приготавливаясь заплакать.

С Ксенией было проще всего. Она выросла в семье, хорошо подготовленной к превратностям жизни: ее отца арестовали, потом выпустили перед самой войной. А два родных дяди сгинули неизвестно где «без права переписки». Хотя Ксенина мама и бабушка старательно молчали о семейных несчастьях, девочка уже давно кое-что поняла и сделала свои выводы, смысл которых заключался в том, что в мире много враждебного и надо держать язык за зубами, а душу на замке. Слушая Глафиру Петровну, Ксения еще раз убедилась в правильности своих житейских навыков и только кивала на ее слова в знак полного и безоговорочного согласия. Щеки ее разругались, серые глаза заблестели и даже пробор светло-русых волос на голове стал темным. Если бы кто-то взглянул на этот ее пробор, то увидел бы воочию, что значит «покраснеть до корней волос».

Райцентр, в который занесла судьба Адама Домбровского, был ни селом, ни городом, а так – населенным пунктом на девять тысяч человек, согласно переписи населения 1940 года.

До войны здесь работали комбикормовый завод и маслобойня. Воздух в поселке был пропитан запахом подсолнечного жмыха, который прессовали в квадратные серые, маслянисто-блестящие пластины – сантиметра три толщиной со сторонами квадрата примерно по пятьдесят сантиметров. А под огромными навесами маслобойни до зимы лежали темно-серые горы семечек – их привозили сюда со всей округи и даже из соседних районов.

Еще были в поселке кирпичный завод, две МТС*, два колхоза**. В первые два года войны все это скукожилось и почти сошло на нет. Но, к счастью, немец так и не занял райцентр, и постепенно все в нем стало восстанавливаться, возвращаться в строй. Жили и работали в поселке, в основном, старики и старухи, дети, а главное, женщины, незамужние, вдовые или те, что еще ждали весточек с фронта, твердо надеясь на победу.

Поскольку домик загса со всеми его бумажками сгорел дотла, Глафире Петровне выделили комнатку в паспортном столе райотдела милиции. На обзаведение дали письменный стол, стул и темно-зеленый стальной сейф с двумя литыми ключами. Большой сейф, очень тяжелый, как было сказано о нем в накладной: «несгораемый шкаф насыпной, вес 302 кг».

Загс существовал в поселке потому, что здесь был райцентр со всеми необходимыми району службами. Тем более что почти половина жителей имела паспорта, как и полагалось тогда служащим и рабочим. Паспортов не было в те годы только у военнослужащих, заключенных и колхозников***.

Когда Глафира Петровна получила из областного центра под расписку чистые бланки документов и заперла их в свой зеленый сейф, душа ее стала томиться какой-то неясной отгадой. Раз, другой, третий она вынимала из сейфа чистый бланк метрики, и ее так и подмывало взять и заполнить своим круглым, красивым почерком тот зеленоватый бланк на толстой бумаге, ту метрику, и приклепнуть сверху штампик «дубликат», а внизу поставить свою подпись и скрепить печатью. Печать, слава Богу, осталась целая – не зря она хранила ее дома в красной коробочке. То, что сохранилась печать, играло очень большую роль. Печать в данном случае была, как знамя, вынесенное с поля боя.

Когда она в четвертый раз вынула из сейфа чистый бланк метрики, то все свершилось само собой, как бы помимо ее воли. Метрику она заполнила на имя Серебряного Алексея Петровича, и штампик поставила и печать, и расписалась честь честью. Будь что будет!

Под горячую руку договорилась Глафира Петровна и с начальником паспортного стола, чтобы выдали найденному «братке» паспорт. Потом вдруг до нее дошло: какой же паспорт без фотографии? Тут снова пригодился Иван Ефремович Воробей. Как только Адам стал почаще открывать глаза, они его щелкнули. Получилось нормально, только глаза у «братки» вышли какие-то неживые. Но для дела это не имело значения.

– Нормально! Все вылупляются, как с перепугу, – сказал Иван Ефремович, отдавая ей фотографии. – Сойдет!

И сошло... Таким образом, еще находящийся в полубеспамятстве «найденный брат» во второй раз стал гражданином СССР. К счастью, никто не совал нос в дела Глафиры Петровны, никто не мог знать ее родословной, потому что она была не местная, а пришлая.

Сюда, в южно-русскую степь, она добралась с пятнадцатилетней дочкой Катериной из Харьковской области, с Украины, где все мёрли с голоду****.

* М Т С – машинно-тракторная станция. Такие станции существовали отдельно от колхозов, чтобы у тех не было собственных средств производства.

** К о л х о з ы – коллективные хозяйства крестьян, организованные на добровольно-принудительной основе.

*** Колхозник мог получить справку о своем существовании де-юре только у председателя колхоза. С этой справкой уходили в армию, вербовались на великие стройки социализма, уезжали на учебу. Одним словом, сбегали в город, где и оседали уже как полноправные граждане СССР.

**** По данным постсоветских историков голод 1933 года на Украине, на Дону и Кубани был спровоцирован верховной советской властью сознательно. Это было сделано для того, чтобы окончательно сломить сопротивление крестьян принудительной коллективизации. В 1933 году в стране умерли с голоду миллионы людей. Все зерно, вплоть до семенного, было насильственно изъято у хлеборобов и продано за границу.

Родилась и выросла Глафира Петровна в Харькове, а точнее, на той огромной узловой железнодорожной станции, что славилась на всю Российскую империю, через которую шли поезда и в Крым, и на Кавказ, и на Москву и Санкт-Петербург. Как и многие харьковчане, Глафира с детства свободно говорила по-русски и по-украински. Отец ее был русский, мать украинка. В нее она и удалась красотой и благонаравием. Отец Глафиры, Петр Серебряный, работал помощником машиниста пассажирских поездов, как тогда говорили, «на линии», или «на плече», Харьков – Санкт-Петербург. По тем временам это была должность довольно высокой квалификации, так что семья не бедствовала. Но, как только началась война 1914 года, жизнь пошла наперекосяк: отца перевели на военное положение, и он теперь приходил домой лишь раз в неделю; мама стала прибаливать, а тут еще и старшего брата Глафиры Николая призвали служить матросом на Черноморский флот, а младший брат Алексей сломал руку, и она плохо срослась. В 1916 году против воли родителей Глафира выскочила замуж, а через год, как раз после Февральской революции, когда все ходили такие счастливые, с красными бантами на верхней одежде, у нее родилась Катерина. За годы гражданской войны родители умерли, от старшего брата Николая Серебряного не было ни слуху, ни духу, и муж Глафиры тоже пропал без вести. Так что осталась она с дочерью Катериной и младшим братом Алешей Серебряным, а теперь и его нет давным-давно... Зато явился вместо него найденный брат.

Когда осенью 1933 года на товарных поездах, а последние километры пешком они с Катериной добрались до поселка, Глафира Петровна была едва жива. Ноги ее так сильно распухли, что, если надавить пальцем, вмятина оставалась надолго. Она понимала, что это значит... Вот тут-то и набрели на поселок, и она упала у первого же кособокого домика, на трухлявом крыльце которого стояла худая скрюченная старуха с черным лицом, – во всяком случае, так показалось Глафире Петровне. Так падали последние отблески погожего дня на длинное лицо старухи.

– Бабушка, помогите! – упала перед ней на колени Катерина. – Помогите, родненькая!

– Носят вас черти! – громко и зло сказала старуха, повернулась, чтобы идти в дом, но вдруг сменила гнев на милость. – Мать она тебе? – кивнула на пытавшуюся подняться на четвереньки Глафиру Петровну.

– Мамка! Мамка! А то кто ж? Родная!

– Надоели, – сказала старуха и боком спустилась с крыльца. – Таскай ее под мышки! Счас подмогу! – Старуха доковыляла до Глафиры и с удивительными для ее возраста силою и проворством подняла незваную гостью на ноги, ловко подлезла под нее и потащила в дом.

У бабы Мани, а так звали старуху, была удивительная черта характера – на любую просьбу она с ходу отвечала «нет», а потом тут же говорила «да». Всегда получалось так в жизни Глафиры Петровны, что в самые тяжкие минуты ее выручали незнакомые люди. Вот и сейчас, на самом краю бездны, вдруг возникла эта скрюченная темноликая старушонка и выцепила ее своими железными пальцами прямо с того света.

Баба Маня была одинокая. На участке при домике она содержала огород, в подполе у нее хранились и картошка, и овощи, было в доме немножко муки и немножко подсолнечного масла. Не дала баба Маня умереть им с голоду. А молодая Катерина так быстро набралась силенок, что уже через неделю побежала знакомиться с поселком и, конечно же, не обошла своим вниманием ни маслобойню, ни комбикормовый завод – везде постояла у заборов, в первый же вечер принесла домой кусок подсолнечного жмыха и с тех пор стала таскать его каждый день. На этом сладком жмыхе они и отъелись по-настоящему. А пятнадцатилетняя Катерина еще и умудрилась забеременеть. Точно она и сама не знала от кого – могла от любого, кому удалось вынести за проходную кусок жмыха и поделиться им с бойкой податливой хохлушечкой.

Как человек грамотный, в 1934 году Глафира Петровна уже работала одним из сотрудников загса. Понесли они с Катериной записывать новорожденного Ванька, а ей тут же предложили работу, правильнее будет сказать, просыпали на нее манну небесную. Начальником загса был тогда Иван Ефремович Воробей. Понравилась ему Глафира, слов нет, а вышло так, что уже через три месяца женился на ней его младший брат, воюющий ныне на Волховском фронте.

В 1938 году Ивана Ефремовича избрали председателем одного из двух поселковых колхозов. В те времена в их маленьком районе, как и по всей стране, командный состав убывал очень скоро, и места освобождались одно за другим. На свое бывшее место Воробей рекомендовал Глафиру Петровну – так она и возглавила районный загс. Возглавила – это, конечно, громко сказано. Кроме начальницы, в загсе работали две учетчицы и уборщица.

Хотя Глафира Петровна и шпыняла всю жизнь свою незадачливую дочь Катерину за ее неумную блудливость, но всегда помнила, что откормила ее жмыхом Катерина, что именно благодаря ее «в подоле принесенному» Ваньку попала она на работу в загс, вышла в люди.

Как и многие красивые женщины, с юных лет не обделенные вниманием мужчин, Глафира Петровна отличалась устойчивой добродетельностью. Ей не нужно было завлекать мужчин. Лет с четырнадцати она думала только о том, как отбиться от назойливых ухажеров. А против наглых, сразу распускающих руки у нее выработалось что-то похожее на рефлекс – на дух она их не переносила. Так что чем-чем, а хамоватым натиском покорить ее никому не удавалось. Иван же Ефремович Воробей был как раз из таких удалцов. Он стал приставать к Глафире Петровне с первого дня, и тут нашла коса на камень. Конечно, она очень боялась потерять работу, но и терпеть всякие двусмысленности от нахрапистого колченогого мужичонки ей было тяжело и с каждым днем все противнее. Неожиданно он сам выручил Глафиру. В тот день, когда она решила подать заявление об уходе, Иван Ефремович познакомил ее со своим неженатым младшим братом – таким же вертким, худеньким, но на двух ногах и очень застенчивым. Все решилось само собой в пользу младшенького, лишь бы ускользнуть от старшего.

Потом началась война. Мужа мобилизовали на третий день. Баба Маня, вынянчившая Ванька с младенчества, в июле 1941 года умерла, и осталась Глафира Петровна с Катериной и белоголовым внучком.

Опять возобновились приставания Ивана Ефремовича. Пришлось ей приложить руку – с тех пор он успокоился. И мстить не мстил, а зауважал Глафиру Петровну как явление природы, хотя и не очень ему понятное, но значительное, важное.

Потом была она на окопах, где и оторвало ей ногу. Семь месяцев лечилась, пошла на работу и работала одна на весь загс. И вроде снова появилась в ее жизни какая-то равномерность, плохая ли хорошая, но колея, а тут бац тебе – братка Лёха... Сама привезла, сама нарекла, сама снабдила документами по всей форме... Хорошо, пока он лежит без ясной памяти, а придет в себя?! И вспомнит, кто он такой? А она ему что? «Здравствуй, братка Лёха Серебряный»?

А назад ходу нет. Бумажки прицепились к бумажкам, и копии отправились в архив, в область...

Назад ходу нет. Мало того что сама вляпалась, так еще и Ивана Ефремовича Воробья фактически сделала соучастником преступления.

IV

Как и подобает светилу, Папиков делал только самые сложные операции. Порой ему ассистировали наиболее подготовленные хирурги госпиталя, что навсегда становилось для каждого из них ярким штрихом в био-

графии, чем-то вроде пожизненного знака отличия. Тот, кто получал право сказать: «Я ассистировал Папикову», – мог рассчитывать не просто на уважение, а на почитание в медицинском мире всей страны.

Конечно, и ассистенты помогали немало, но главной опорой Папикова были Александр и вторая операционная сестра, сероглазая красавица Наташа, которая считалась в госпитале старухой, хотя ей еще не было и сорока лет.

Во время многочасовых операций Папиков страдал от жажды, пил много воды, потел, и приходилось часто вытирать ему лицо и протирать очки. А если операция затягивалась, то и подставлять Папикову утку, расстегивать ширинку и направлять струю. Обычно этим занималась «старая» Наташа. Операции случались такие сложные, и напряжение бывало так велико, а Папиков творил такие чудеса, что все другое просто не принималось в расчет – не виделось, не слышалось, не обонялось. В том числе и сплевывание в утку бурой табачной жвачки, которую Папиков жевал в эти часы постоянно. В отличие от других хирургов Папиков не «заправлялся спиртом», но жевал шарики из табачной пыли, так называемый нас*.

– Я не на спирте, я на никотине работаю, – говорил он по этому поводу.

Все знали, что до войны Папиков и начальник госпиталя были яркими соперниками, хотя один из них жил и оперировал в Москве, а второй в Питере. Соперничали они некоторое время и в войну, но потом жизнь распорядилась по-своему – еще в сорок первом году нынешнему начальнику госпиталя оторвало кисть правой руки, и он перестал быть действующим хирургом. Перестал быть хирургом, однако пожелал остаться в боевых порядках. И ему пошли навстречу, дали крупный фронтальной госпиталь, который, правда, перебрасывали время от времени с одного фронта на другой. Хотя начальник госпиталя и не мог теперь оперировать сам, но очень любил наблюдать, как это делают другие, особенно главный хирург госпиталя Александр Суменович Папиков.

Папиков был невысокий, плотный мужчина лет пятидесяти. Когда-то он был жгучим брюнетом, но теперь виски его сильно поседел, хотя волос на голове оставалось еще много и лысины пока не проглядывало. Очки в металлической оправе он надевал только во время операций: в обычной жизни, как уже дальнозоркому, они были ему не нужны. Очки Папиков носил на тесемочке, так что если они вдруг упадут с носа, то никуда не денутся. Однажды был случай (еще перед войной), когда Папиков обронил очки во время операции, они разбились, и пришлось доделывать операцию другому хирургу. С тех пор у Папикова было три пары очков – на всякий случай.

Главный хирург отличался манерами совершенно удивительными для фронта: он не ругался матом, никогда не повышал голос, даже младшим говорил «вы», был предупредителен со всеми без исключения и удивительно покладист в быту. Никогда прежде не встречала Александра такого неагрессивного человека, в этом он мог сравниться только с ее мамой Анной Карповной. Зато в операционной это был лютый зверь. Да, он молчал и никогда не говорил обидных слов ни во время операции, ни после, но его черные глаза иногда так неистово взблескивали из-под очков, что это было что-то вроде расстрела на месте.

После операции он всем говорил «спасибо». Очень тяжело переживал смерти оперируемых на столе. Вроде бы за столько лет работы должен был привыкнуть к летальным исходам, но он не привык.

И Александра не привыкла, последнее роднило их с главным хирургом.

Папиков оценил Сашеньку с первого раза, еще когда они «чистили» Фритца Брауна. После летальных исходов он обычно сидел в углу больничного коридора на длинной скамейке, что стояла у высокого венеци-

* Н а с – несущеный тертый табак с добавлением особенным способом гашеной извести. Распространен в Средней Азии.

анского окна под рослым фикусом, и жевал табак. Однажды он сказал Александре:

– Посидите со мной.

С тех пор в подобных случаях они стали сидеть под фикусом вдвоем. Папиков жевал свою никотиновую жвачку, а она, слава Богу, пока строго соблюдала наставление матери: «Смотри, не научись курить! Не будь лухдрой!» Курить Александра не пробовала, хотя вокруг нее курили все, в том числе приличные и даже замечательные женщины.

Они всегда сидели молча. И Папиков, кажется, был благодарен Александре за то, что она не занимает его беседой. Папиков «прокручивал» в сознании всю операцию, искал свой промах. Он никогда ничего ни на кого не сваливал и если и не находил своей ошибки, то все равно все брал на себя. Такой уж у него был характер. И в случае с немецким солдатиком Фритцем Брауном он даже не упомянул об Александре ни в разговоре с начальником госпиталя, ни в разговоре с особистом. Не упомянул потому, что не хотел «впутывать» ее в это дело. Очень не простое дело, за которое вполне можно было бы уцепиться, чтобы отправить человека туда, откуда не все возвращаются. Папиков не понаслышке знал, что это такое. Как и многих, перед войной его арестовали, а в июле 1941 года не только выпустили на свободу, но и назначили главным хирургом того самого госпиталя, где и обретался он до сих пор. Так что Папиков сберег Александру сознательно.

Фикус, под которым они сидели, был высокий, с толстыми и словно лакированными темно-зелеными листьями, – немцы ухаживали за фикусом так хорошо, что даже за время бесхозности ничего с ним не случилось.

Папиков думал о своем, Александра о своем, а рядом с ними реяла только что отлетевшая жизнь человека, который еще совсем недавно был сильным, здоровым и молодым и которого ждали дома...

После войны Александра вспоминала эти сидения под немецким фикусом как важную часть своей духовной жизни. Они сидели молча, а сказано было так много...

Наверное, Папиков был гений, во всяком случае, за всю свою долгую жизнь в медицине она не встречала второго такого мастера. Может быть, он был и не Пирогов, но уж очень близок к Пирогову*. Многие из оперативных решений, которые принимал Папиков, когда счет шел на секунды, в первый момент казались дикими, а выходило так, что они были единственными из всех возможных, не лучшими, не худшими, а единственно верными.

Если бы не Папиков, Сашенька так бы и умерла там, на Сандомирском плацдарме, только благодаря ему выкарабкалась...

Александра Александровна не смогла сдержать слез, когда через много лет после войны услышала песню:

В полях за Вислой сонной
 Лежат в земле сырой
 Сережка с Малой Бронной
 И Витька с Моховой...**

Да, многие там полегли, и она могла бы лежать где-то в бурьяне на радость коршунам, и эта песня могла бы быть про нее...

* П и р о г о в Николай Иванович (1810–1881) – великий русский хирург, впервые в мировой практике разработавший систему организации хирургической помощи в военно-полевых условиях. Его труд «Начала общей военно-полевой хирургии» увидел свет в 1864 году на немецком языке, а в 1865-м на русском. Пирогов впервые применил в полевых условиях эфир для наркоза, ввел неподвижную гипсовую повязку, привлек для участия в операциях медицинских сестер и т. д.

** Стихи Евгения Винокурова.

V

Фритц фон Браун родился в рубашке не только в переносном, но и в прямом смысле этого выражения*. Мальчик вырос в богатой аристократической семье в кругу тех избранных, что были отгорожены от мира обыкновенных людей такой высокой и прочной стеною, что, казалось, никакие превратности жизни им не помеха. И в XVIII и в XIX веках семья была не из бедных, а в XX-м сумела многократно преумножить свои накопления. С начала XX века семья Фритца прочно заняла видное место на рынке поставок в германскую армию обмундирования, амуниции, а позднее и противопехотных мин, что особенно грело руки. Семья поставляла и нажимные и натяжные противопехотные мины в огромных количествах. Отец Фритца держал у себя в сейфе рабочего кабинета обе такие игрушки, правда, без смертоносной начинки. Иногда он открывал сейф и любовался своим товаром. Странно, что при этом рифленные по краям кругляшки железа (рифленные для того, чтобы осколкам было веселее разлетаться) никак не ассоциировались в его сознании с гибелью или увечьем многих тысяч людей, а только с финансовой прибылью. И, если бы кто-нибудь сказал, что он пособник убийц, отец Фритца подал бы в суд и скорее всего выиграл дело: денег бы у него хватило.

Ужесточения нового германского строя практически не задели корневых устоев фамилии, давно уже привыкшей хранить свои капиталы в Швейцарии. К новому порядку старшие в семье относились с брезгливой опаской, хотя это и не мешало им ковать денежки, а юного Фритца они, можно сказать, прозевали, прошляпили.

Фритц был пай-мальчик, учился в закрытом колледже в горной Швейцарии, играл на скрипке. Отец исподволь готовил его в наследники.

Семья Фритца жила в просторном и удобном загородном доме, рядом с родовым замком. Замок построили в конце семнадцатого века, а дом в начале двадцатого.

Замок был красив только внешне, а внутри он состоял из комнаток с каменными стенами и каменными сводчатыми потолками, узкие окна-бойницы почти не давали света, в тесных переходах давило удушливой сыростью. Был, правда, в замке и зал с большим камином, но и там царил все тот же вековой тяжелый, холодный дух. Фритц не любил бывать в замке, зато с удовольствием стоял на широкой крепостной стене и любовался излучиной Рейна, что протекал близко, метрах в двухстах под горой, на которой располагался их замок. Эта картина Рейна, текущего совсем рядом, такого широкого, могучего, сталисто вспыхивающего под солнцем, навсегда стала для Фритца образом родины. Он вспоминал ее и до госпиталя, и в госпитале, и потом долгие шесть лет в русском плену.

Казалось, семья Фритца жила за семью печатями от всех невзгод и печалей военного времени. Но однажды высоко в небе пролетела над замком первая туча английских бомбардировщиков с запада, дня через два – три проплыла другая смертоносная туча – американских самолетов с юга, со стороны Италии, а вскоре Фритц услышал за обедом, как папа сказал дедушке, что русские бомбили Берлин. При этом папа, мама и дедушка тревожно взглянули на Фритца и повторили, как эхо:

- В колледж! В Швейцарию!
- В Швейцарию!
- В колледж!

* Как известно, в утробе матери плод находится в оболочке, наполненной околоплодными водами. При рождении ребенка оболочка лопается и «воды отходят». Как правило, оболочка соскальзывает с тельца ребенка, и только в очень редких случаях она прилипает и остается на нем. Тогда и говорят: «В рубашке родился», – это считается признаком исключительной удачливости новорожденного человека в его будущей жизни.

Весной 1944 года почти всем в Германии уже было понятно, что речь может идти теперь только о защите своей земли, а не о захвате чужой. Юноши и даже мальчишки тысячами уходили в армию, чтобы защитить фатерланд. Юный Фритц тоже мечтал «с оружием в руках»... Его отправили в пансионат, а он сошел на первой же остановке своего поезда и пересел в другой, что шел в восточные земли... Там он записался добровольцем на фронт, чтобы «с оружием в руках»... Записываясь, он предусмотрительно опустил свой титул, приставку «фон», дал ложные сведения о месте жительства и родителях, которые якобы погибли под американскими бомбами. На первых порах все шло как по маслу, Фритц стал солдатом. Наконец ему вручили долгожданное оружие, но отправили не в боевые порядки, а в охрану одного из концентрационных лагерей русских военнопленных. То, что он там увидел, перевернуло все его представления о человечности, чести, благородстве, любви к родине и еще о многом и многом другом, чему в том числе и нет названия. Лагерь представлял из себя прямоугольник голой земли двести на двести метров, огороженный колючей проволокой, по которой был пропущен электрический ток высокого напряжения. У ворот лагеря, считавшегося временным пересыльным пунктом, располагались казармы и службы немцев, за ними шла свободная территория метров на семьдесят, потом ров, а за рвом находились русские военнопленные – день и ночь под открытым небом, на голой, утрамбованной до серого лоска земле. Пищу и воду им подвозили в больших корытах по мосткам, которые в нескольких местах были переброшены через ров. Назвать условия содержания русских военнопленных скотскими было бы большим лицемерием, потому что они были гораздо хуже скотских. Охранники, с которыми пришлось служить Фритцу, особенно возмущались зловонием, которое наносил к их казармам ветер, и тем, что «эти скоты русские» иногда бросались на проволоку, и тогда приходилось отключать электричество и снимать с ограждения распятые трупы. Для уборки трупов – и с проволоки, и по всему лагерю – охрана держала в отдельном загоне небольшую команду русских, которую кормили лучше других, чтобы в них были хоть какие-то силы. Трупы свозили на тачках в яму в дальнем правом углу лагеря, если смотреть со стороны входа и немецких казарм. Первое время Фритц думал, что все другие русские завидуют тем, что содержатся в отдельной выгородке, но однажды он увидел, как молодой русский из команды уборщиков сам кинулся на проволоку под током, и тогда Фритц понял многое такое, что нельзя передать никакими словами. И это понятие осталось в нем на всю жизнь. Так же как сохранился в памяти запах гашеной извести, которой забрасывали трупы в ямах.

Охранники говорили, что из лагеря не убежишь еще и потому, что вокруг сплошные минные поля. Говорили «не убежишь», но тем не менее Фритц решил бежать, бежать во что бы то ни стало, любой ценой... Он боялся, что еще немного – и сам бросится на проволоку. Случилось так, что бежать ему не пришлось: его послали в большой немецкий госпиталь, что располагался недалеко в старинном фольварке, послали за медикаментами для своих. На подходе к госпиталю юный Фритц и наступил на нажимную противопехотную мину – из тех, что поставляло в войска его семейство.

Папиков и Александра так хорошо «почистили» раны юного Фритца, что он быстро пошел на поправку. Фритц лежал в палате на двенадцать человек. Все, кроме него, были тяжелые или средней тяжести. Папиков специально определил его в такую палату, чтобы Фритц не боялся, что кто-то из раненых может его обидеть. Александра начала разговаривать с ним во время перевязок в процедурной. В палате она с ним не говорила, чтобы не смущать народ.

– Зачем вы меня лечите? – первое, что спросил Фритц.

– Чтобы ты не умер, – отвечала Александра.

– Но я враг...

– Какой ты враг!.. Война скоро кончится.

Александре нравилось, что Фритц не заискивает перед ней, она видела по его глазам, что он пережил большие душевные потрясения и, в общем-то, не боится смерти, вернее, боится, но готов...

– У вас литературный немецкий, – сказал ей однажды Фритц, – хойдойч!

– А ты хочешь говорить по-русски?

– Очень.

– Тогда учись.

– Попробую, в плену у меня будет время, если я не погибну...

– Не погибнешь. Мы относимся к военнопленным совсем не так, как вы. Я видела один бывший концлагерь, недалеко отсюда...

– Да, я знаю, – сказал Фритц, но все-таки у него не хватило духу сознаться, что именно в этом лагере он служил охранником.

Фритц пробыл в госпитале недолго, раны его почти совсем заджили – грамотное лечение и молодой организм взяли свое.

Через неделю Папиков сказал Александре:

– Больше мы не можем его держать, особист настаивает. Сделайте последнюю перевязочку – и сдадим. Теперь он точно выживет, на сто процентов.

Конечно, Александра должна была ненавидеть любого немца за те страдания, что его народ причинил ее народу. Теоретически да, наверное, должна, а на практике получилось, что она спасла «немчика», как своего. Хотя, нужно сказать, в это время ни она, ни миллионы людей в мире еще не знали, какие чудовищные злодеяния происходили в немецких концентрационных лагерях.

Перевязка была светлым утром. Процедурная сияла от солнечного блеска, и в каждой вещи, в каждой глотке воздуха как бы содержался заряд радости и надежды.

– Я буду помнить вас всю жизнь! – сказал Фритц.

– Ладно. Смотри, какой ты разрисованный! – сбивая его пафос, улыбнулась Александра. – У тебя не шрамы, а цветки!

Поджившие, розоватые по краям и белые посередине каждой осколочной отметины шрамы у Фритца были действительно редкостные: шрам, похожий на лепестки на стебле, на левой половине груди и почти такой же цветок на правом плече, много цветочков-шрамов на бедрах, да еще левое ухо со срезанной мочкой – такого не захочешь, а запомнишь.

– Ты прямо-таки в рубашке родился: столько ранений и все по касательной. Одевайся! – Александра кивнула на почти новые сапоги и почти новую солдатскую одежду и шинель – нашенскую, только без погон. Народу в госпитале умирало много – ничьей одежды хватало.

В коридоре послышался гулкий топот.

– Конвой за немцем, – заглянул в процедурную нагловатый солдатик из особого отдела. – Велено доставить.

– Сейчас доставишь. Дай ему штаны надеть, – с нарочитой грубостью сказала Александра.

А с Фритцем они не обменялись никакими словами: его увели в его жизнь, а она осталась в своей.

VI

Дни катились, как с горы, кубарем. Раненых было много, свободного времени мало, так что Александра и не заметила, как подкралась зима. Первый снег лег в конце ноября, даже не лег, а намело его большими лоскутами по двору фольварка, по центральной аллее, которую теперь стало видно от дерева до дерева. Сквозь двойные рамы огромного окна в операционной открывался широкий обзор.

Однажды Александра выглянула в окно и радостно вскрикнула:

– Снег!

– Действительно, – сказал Папиков, – похоже на снег.

– Ой, правда, какой беленький, как у нас под Воронежем! – добавила «старая» медсестра Наташа.

Привезли очередного раненого, и они забыли обо всем.

В начале декабря Александра получила письмо от Нади.

«Здравствуй, моя и наша дорогая Сашуля! Особый привет тебе от твоей мамы. У нее все нормально. Я сняла твою маму с работы, теперь она сидит с Армянчиком, как мы его называем – «армянчиком». Твоя мама говорит с ним на украинском языке, Карен только на армянском, а я на русском, так что он хочет не хочет, а лопочет сразу на трех языках. Карен говорит, что это будет в жизни нашего сынули самым большим богатством, а я думаю так, что хорошо бы ему еще и денжат побольше.

Ты обхохочешься, но я теперь тоже не работаю в госпитале – Карен заставил меня идти учиться в медицинский институт. В госпитале мне направление дали – все честь честью. Да и, правду сказать, теперь у меня нет такой молотилки, как в начале войны, теперь все расписано. А сам Карен теперь шишка – начальник отделения неотложной хирургии, по-довоенному – завотделением. Вернулся с фронта наш Раевский, без ноги, подбирает протез, хочет оперировать, наверно, его возьмут – людей нехватает, тем более с его опытом. А Карена мы видим мало. Я пробую учить твою маму русскому языку, но она стесняется, наверно, старенькая. Так что я теперь студентка – вон как! Карен говорит: «Хочешь не хочешь, а окончишь и будешь врачом». Может быть, посмотрим. Хотя я тупая, как пробка, ты ведь знаешь. Но учиться мне легко – у меня оказалась память, как у охотничьей собаки нюх, я все сразу запоминаю, а кое-что даже понимаю. В институте одни девчонки, а ребят почти нет, если не считать покалеченных войной – кто без руки, кто без ноги. у кого глаз один или еще какой дефект, так что теперь мой Каренчик – первый сорт! Помнишь, я с тобой советовалась насчет того, выходить ли мне замуж, пока «честная»? Ты правильно посоветовала. Карен, я вижу, очень этим доволен.

Иван Игнатьевич – помнишь завкадрами, которого ты пустой сумкой по башке хлопнула? – так его теперь парализовало, и твоя мама ходит к нему домой – перевернуть, накормить, прибраться. Еды у нас на всех хватает, ты не думай! Мама твоя не в обиде. И я, и Карен, и наш любимый «армянчик» считаем ее за родную бабушку. Ай, самое главное чуть не позабыла! Мама твоя просила передать, чтобы ты не убивалась, потому что жив твой муж, – она на карты кидала.

Целую тебя, твоя Надя, твои Армянчик, Каренчик и, конечно, твоя мамочка! Если бы не она, то не знаю, как бы я управилась, не могу и представить. Еще раз целую!»

Письмо Нади (со многими грамматическими и синтаксическими ошибками) вызвало в душе Сашеньки радость, тоску, тревогу, и боль, и зависть. стыдно сказать, но прежде всего зависть. Сашенька тяжело, жгуче позавидовала Наде не из-за института и преуспевающего мужа, а из-за маленького «армянчика». Потом она всегда стыдилась этого чувства, однако что было, то было.

«Боже мой, если бы у нас с Адамом родился маленький! – думала Сашенька. – Боже мой! Почему все наперекосяк и навыворот в моей жизни, неужели я недостойна счастья, а «пробка» Надя достойна?! Выходит так. Бедная моя мамочка, теперь она ухаживает за сексотом. Ну, разумеется, он одинок и никому не нужен. Как все скручено в жизни! Боже мой, дай мне вернуться с войны! Дай мне, Господи, увидеться с мамочкой! Господи, дай мне разыскать Адама! Мама клялась, что никогда не будет гадать, а значит, погадала... Нет, нет, она не может ошибаться, я ведь тоже чувствую, что он жив! Господи, дай мне его увидеть! (Чем яснее становилось, что до победы совсем недалеко, тем чаще пугала Александру мысль, что вдруг... Да, слыш-

ком гладко она шагала на войне, так не бывает... Однажды посетив ее, эта тяжелая, страшная мысль время от времени возвращалась к ней, как леденящий душу камень в груди, потом отпускало, но не надолго. Так она и жила, словно под прицелом.) Странно, почему Надя пишет, что я когда-то ударила завкадрами пустой сумкой? Откуда она может это знать? Я ведь сказала только маме, а мама не могла сказать никому... Значит, Наде сказал сам Иван Игнатьевич? Но с какой стати? Хотя она бегала к нему часто... Она со всеми старалась дружить – на всякий случай. Странно, очень странно. Неужели и она сексотка? Похоже. Но Карен – не стукач, точно – нет! Не может быть, чтобы Карен...»

Александра вспомнила, как вел себя Карен, когда арестовали Раевского. Он один не отводил глаз, не делал вида, что ничего не случилось, а сочувствовал ей, Сашеньке, открыто. Она вспомнила «дворницкую», в которой выросла, их двор, мусорку, где они с мамой нашли так много великих книг, всю Москву... Она любила Москву как свою малую родину. Вспомнила предутренний, темный внутри, Елоховский собор с малярийно-желтыми лампочками, едва освещавшими каменный пол, который они с мамой мыли. Вспомнила «пушкинскую» каменную купель, в которой они с мамой и Надей крестили Армена. Выходит, у нее есть сыночек, только крестный...

Как-то после очередного летального исхода на операционном столе они с Папиковым сидели, как всегда, под фикусом и жизнь ушедшего юноши еще витала над ними, и она вдруг почему-то спросила Папикова:

– А когда я прибыла в госпиталь, вы были в отпуске? Все говорили: «Папиков в отпуске».

– Угу, в отпуске, – усмехнулся Папиков. – В Полтаве американцев оперировал.

– Американцев?!

– Да. Это секрет, но вам я верю, как себе.

– Спасибо, – сказала Александра, – наши чувства взаимны.

Папиков кивнул.

– У нас много людей со взаимными чувствами, почти весь народ, а пригнули так...

Александра не ожидала столь откровенных слов от Папикова, она уже давно ни от кого их не ожидала, кроме мамы и Адама.

Помолчали. Папиков заложил под язык очередную порцию табака и стал жевать его.

Александра подумала, что разговор окончен, но ошиблась. Пожевав минут пятнадцать, Папиков пошел, сплюнул табачную жижу в металлическую плевательницу, оставшуюся от немцев, вернулся на место и заговорил снова:

– Разбомбили наш с американцами совместный аэродром, вот и послали меня. Все мои операции прошли успешно – повезло. Так что и наше и американское начальство осталось довольно. У меня теперь и американский орден есть – «За заслуги». Прямо там, в Полтаве, американский генерал выдал и еще пообещал личную благодарность от Рузвельта. Как ни странно, прислали. Позавчера вызывал меня наш особист, вручил под расписку копию письма с переводом на русский язык. «А подлинник, – говорит, – вам не положено. Подлинник должен храниться где надо». Так что в случае чего теперь у НКВД против меня все улики на руках.

– Но вы ведь спасали союзников! Вас послали! Какая же тут вина?!

– Послали не послали, а как захотят, так и перекрутят – куда жизнь повернется*. ...

* Эта история американско-советского сотрудничества в авианалетах на важнейшие объекты Венгрии, Румынии, Германии начала просачиваться в советскую историографию лишь с 1975 года (через тридцать лет после окончания второй мировой войны) и только к 1995 году обрела достаточно полновесные свидетельства.

«Товарищу Сталину

Сегодня 2 июня группа американских самолетов в составе: 130 бомбардировщиков «Летающая крепость» под прикрытием 70 истребителей типа «Мустанг», вылетев с авиационных баз Италии после выполнения боевого задания по военным объектам в Венгрии, произвела посадку на наших специально подготовленных аэродромах: Полтава, Миргород, Пирятин.

Посадка произведена благополучно.

Авиационной группой руководил генерал-лейтенант Икар.

Новиков. 3 июня 1944 года».*

...Так началась операция «Фрэнтик» (разъяренный). Смысл ее был в челночном курсировании американских самолетов над территорией врага. Например, вылетев из Англии, отбомбив стратегические цели в Восточной Германии и пройдя «точку возврата»**, они садились на советских аэродромах в Полтаве, Миргороде, Пирятине. Здесь американские самолеты обслуживали советские техники, заправляли их советским горючим, заполняли бомбовые люки советскими бомбами, и вновь снаряженные американские самолеты летели через какое-то время в обратный путь, по дороге еще раз отбомбив вражеские цели. Иногда в этих операциях принимали участие советские самолеты, и уже наши совершали посадки в Италии или Англии.

Как известно из современных российских источников, например, 11 июня 1944 года тысяча американских самолетов отработала стратегические цели в Румынии. Часть американской армады приземлилась в Полтаве, Миргороде и Пирятине и после непродолжительного отдыха вылетела в обратный путь на «добивание» противника. 21 июня 1944 года 2500 американских самолетов, вылетев из Англии, нанесли удар по Берлину, после чего часть «Летающих крепостей» и истребителей прикрытия также совершила посадку в Полтаве, Миргороде и Пирятине.

«Товарищу Сталину.

Сегодня, 19 сентября, американцы вылетели с наших авиабаз для бомбардирования железнодорожного узла Сольник (Венгрия) с посадкой в Италии.

Новиков. 19 сентября 1944 г.»

Операция «Фрэнтик» длилась всего несколько месяцев, но стала значительной страницей в истории второй мировой войны. Русские и американцы почувствовали себя связанными узлами боевого братства. Когда было принято политическое решение свернуть «Фрэнтик», восточное командование американцев издало обращение к своим солдатам и офицерам:

«Помни: ни одна другая нация не сделала для нас так много, сколько сделали для нас русские».

Всю жизнь держала в памяти Александра, как именно тогда, под фикусом с его темно-зелеными листьями, вдруг остро вспомнила она о сестре Марии. Где она? Как? А может быть, тоже воюет с немцами? Мама говорила, что она боевая, так что вряд ли прячется где-то в теплой норке... Мама рассказывала: «Маруся у нас атаманша, характер у нее смальства такой, что не согнешь и не переломишь...» Конечно, она подумала о Марии потому, что Папиков рассказал об американских летчиках, и она впервые за всю войну вдруг осознала: союзники ведь тоже воюют...

* Командующий ВВС Красной Армии.

** Т о ч к а в о з в р а т а – это та точка пуги, после прохождения которой у самолета уже не хватит горючего на возвращение домой, и он может сесть только на более близком аэродроме.

Потом, через много лет после войны, когда Александра Александровна стала частенько ездить в Германию, а точнее, в Кельн, где игрой судьбы жили ее дети и внуки, она с удивлением узнавала от них, что немцев, да и весь остальной мир, оказывается, отстояли от фашизма американцы, только американцы, ну еще чуть-чуть англичане, а про русских, как правило, и не вспоминают, а если и вспоминают через силу, то говорят, что «русские тоже воевали». Потрясающая вещь – история, когда ее пишут победители, а они пишут ее всегда. И самое непостижимое, что такую историю вдолбили в головы немцам! Самим немцам – детям и внукам тех, что были участниками войны на Восточном фронте. Справедливости ради надо сказать, что и мы не сильно распространялись о вкладе союзников. Говорили все больше о материально-технической помощи, а о том, что Америка и Англия вели ширококомсштабную войну на море и в воздухе, старались не упоминать. Даже такой исключительно важный театр военных действий, как Северная Африка, практически не попадал в поле зрения советского человека. А ведь только в Тунисе сдалось в плен 250 тысяч немецких военнослужащих.

Конечно, наши жертвы не сопоставимы ни с американскими, ни с английскими, но многие, как оказалось, об этом не знают, потому что в них вложено другое знание.

VII

Начальник госпиталя, которого за глаза все звали по имени и отчеству – Иван Иванович, а в глаза «товарищ генерал», был явно не на своем месте. Он не любил организационную работу, томился у себя в кабинете и все норовил найти дело вне его стен. Так что больные не оставались без его личного внимания – утром и вечером он обходил все палаты, потом смотрел процедурные, заглядывал в операционные, искал неполадки во дворе и даже на кухне. Все это, конечно, шло на пользу госпиталю лишь отчасти. И госпиталь имел немало прорех, пока начальник не нашел себе в сорок третьем году верного заместителя по оргработе и снабжению. Им оказался тот самый знаменитый на всю Москву Иракий Соломонович, которого за что-то сослали на фронт.

Благодаря исключительному проворству и снабженческой хватке Иракия Соломоновича в тот вечер 31 декабря 1944 года в госпитале вкусно пахло жареными пирожками и еще многими давно забытыми запахами давно забытых продуктов.

Девочки на кухне и сами расстарались, да еще нашлись им умелые помощницы среди медсестер, так что праздничный ужин обещал быть выше всяких похвал. Иракий Соломонович и здесь, на войне, ухитрился достать деликатесы – пальчики оближешь! Одна жареная польская колбаска чего стоила! Дух от нее исходил такой, что сердце радовалось. И от всех этих запахов, от предпраздничной суеты даже тяжелораненым полегчало и у них появилась надежда на близкую мирную жизнь, конечно же, изобильную, конечно же, счастливую.

– Я и не помню, когда слышала запах дрожжевого теста! – радостно сказала Александра. – У меня мама, знаешь, как печет!

– А у меня? – в тон ей отвечала Наташа-«старая»: – Такого высокого теста, как у моей мамочки, сроду ни у кого не бывало во всем Воронеже!

Маг и чародей Иракий Соломонович откуда-то «выщепил» даже ящик шампанского для медперсонала, который было обещано собрать в огромном, как конференц-зал, кабинете начальника госпиталя ровно в 23.00, чтобы проводить старый год и встретить Новый – 1945-й.

Александра и Наташа тоже участвовали в стряпне на кухне, правда, как подсобные работницы, потому что к плите шеф-повар госпиталя не давал никому приблизиться, делал все только сам с двумя подручными поварами. Немецкая кухня сияла чистотой и приводила каждого пони-

мающего человека в восторг: все в ней было по уму, каждая штучковина на своем месте.

В десять вечера вся кухонная работа была закончена, и девушки побежали по своим углам наводить «шик-блеск-красоту», как сказала «старая» медсестра Наташа.

Александра впервые надела парадную гимнастерку с орденами Трудового Красного Знамени, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и медалью «За отвагу». Все, кто теперь ее видел, не сразу находили, что и сказать, только цокали языками да присвистывали.

В 23.00 весь медперсонал (кроме дежурных, разумеется) собрался в широком коридоре на втором этаже, перед кабинетом начальника госпиталя. В кабинете женщины уже накрыли три длинных стола и один небольшой поперек, как бы для президиума, со стульями только с одной стороны: для начальника госпиталя, его заместителей, главного хирурга и заведующих отделениями.

Все были приятно взволнованы, возбуждены, умыты, причесаны, и, когда минут через пять на лестнице появился Иван Иванович со свитой, его встретило нестройное «ура» и счастливые, улыбающиеся лица. Люди понимали, что начальник госпиталя обошел с поздравлениями все палаты, все службы и теперь наконец в их распоряжении.

Народ расступился, давая дорогу начальству, чтобы оно первым прошло в кабинет, а там уже и другие не заставят себя ждать. Тут-то начальник госпиталя и столкнулся с Александрой – другие, особенно младшие чины, расступались быстро, а она отошла неспеша, и на лице ее не выразилось восторга при виде Ивана Ивановича. Это-то и привлекло его внимание, и он вдруг громогласно спросил Александру:

– Ну, все у нас хорошо?

– Возможно, – чуть слышно ответила Александра.

– Что значит «возможно»?! – рявкнул Иван Иванович. – В операционной на тебя любо-дорого посмотреть – какая четкость, какая точность малейшего движения! А в жизни плывешь лебедушкой, и, что тебе ни скажи, на все один ответ: «возможно». Хоть бы когда вскрикнула, хоть бы когда взвизгнула, черт возьми! Давно за тобой наблюдаю. Хоть бы подпрыгнула когда от радости! Ты прыгать-то умеешь? Не двигаться с постной физиономией, а подпрыгнуть, как молодая. Вот так! – И он тяжело, неуклюже подпрыгнул. – Ну хоть подпрыгнуть сможешь?

– Так точно, товарищ генерал! – отчеканила Сашенька, и в глазах ее вдруг мелькнули такие чертики...

– Ну так прыгай! – заорал на весь госпиталь начальник.

– Есть, – негромко ответила Александра, огляделась мгновенным движением головы и... р-раз! – сделала сальто назад, прогнувшись так, что только подковки ее ладных сапожек опасно сверкнули перед носом начальника госпиталя.

– Боже ж мой! – воскликнул потрясенный Иван Иванович. – Сроду ничего подобного... Ну и штучка ты у нас, оказывается! Где научилась? Ты что, еще и спортсменка-разрядница?

– Никак нет, товарищ генерал-майор военно-медицинской службы! Мастер спорта СССР.

– А почему у тебя в анкете не записано? Про ордена знаю, а про это я что-то не помню... Почему не записано?

– А зачем? – вопросом на вопрос отвечала Александра. – Дело прошлое.

VIII

Тем августовским днем 1944 года, когда Александра спасла от верной смерти Фритца и познакомилась с Папиковым, колхозный пастух Леха-пришибленный, как обычно, пас коров на берегу обмелевшей речки, про-

текавшей мимо райцентра, что был ни селом, ни городом, а так – населенным пунктом, от которого легкий ветер волна за волной наносил сладкие запахи подсолнечного жмыха.

Пастух почти не слышал, с трудом говорил, притом очень невнятно, обрывочно. Казалось, мало что понимал. Нижняя губа у него отвисла, и в левом уголке подтекала слюна, которую он вытирал время от времени темной, загрубевшей на ветру и солнце тыльной стороной ладони.

Полгода Глафира Петровна, ее дочь Катерина и соседская девочка Ксения Половинкина выхаживали его, как могли, с заботой и любовью близких людей. Сначала у него не только подтекала слюна, но и был тик левого глаза, а то и передергивало всю левую сторону лица. Постепенно тик и передергивание исчезли, однако губа по-прежнему отвисала. На седьмом месяце Алексей начал учиться ходить и пошел скоро, а там и почти совсем выправился. Ксения пробовала давать ему книги, однако он не понимал, чего от него требуют. Пыталась учить его писать, но буквы у него не получались, рука начинала дрожать, и он зажмурился, очевидно, от сильной головной боли.

К лету 1943 года Алексей настолько окреп, что Глафира Петровна попросила Ивана Ефремовича взять его в колхозные пастухи вольнонаемным. Всем на удивление Алексей с первого же дня освоил свою новую работу и как будто стал больше понимать. Он никогда не бил коров и даже не замахивался на них, а те слушались малейшего его знака, не разбредались далеко, и не было случая, чтобы какая-то корова отбилась от стада.

Наверное, у него часто и сильно болела голова, но как проверить... Только видели все, что глаза его в такие дни мутнели, он втягивал голову в плечи и наклонял ее чуть-чуть на правый бок. Наверное, так ему становилось легче. В ясные, солнечные дни приступы головной боли настигали его почти всегда, а в дождливую погоду он отходил... И тогда глаза Лехи-пришибленного светились таким же эмалево-синим цветом, как когда-то у Адама Домбровского.

(Продолжение следует.)



От редакции. Специально для подписчиков «Октября» сообщаем, что заявки на книги Вацлава Михальского «Весна в Карфагене», «Одинокому везде пустыня» и «Для радости нужны двое», а также отзывы и пожелания следует посылать по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28, стр. 1, издательство «Согласие». Просьба указать в письме свой домашний адрес, фамилию, имя и отчество. Для читателей «Октября» книги будут продаваться по оптовой издательской цене, которая значительно ниже розничной. Справки по телефону:

959-20-39, факсу: 959-20-47. E-mail: soglasie@mail.ru

<http://welcome.to/soglasie>

Лебеда да ковыль

* * *

У меня не болит ничего,
Только, кажется, скоро умру.
Я не помню уже и того,
Как меня называли в миру.

Я сама себе выдала срок.
Я сама себе строю острог,
Там решетки и стены из строк,
И замки и затворы из строк.

В надзирателях – русская речь,
В настоятелях – русская быль.
– Кто стучит в ворота?
– Имярек.
– С чем пришла?
– Лебеда да ковыль.

* * *

Старуха крестится на храмину вокзала
Казанского. На шпиль свой нанизала
Гостиница рассветные счета.
У проводницы пахнет изо рта.
Стоянка, шлюхи, спящие вповал.
Не нравится? Тебя никто не звал!
Умрешь – спохватятся на третьи сутки.

Боги

Небесные! В рембрандтовском чертоге,
В берлоге питерской, подсветкой облита
Висит картина: снятие с креста...
Вот этот мертвенный, вот этот белый
Изгиб бедра в руках оравы целой
Блаженствующих в скорби и тоске...
А Он, как туша агнца на крюке
В разделочной. И мертвенно, и бело
Над миром виснет жертвенное тело,
Бесплотное – без крови и руна.
Что сотворяет линия одна,
Когда красноречивее пророка
Поэту вскроет истину она:
– В тебе, живом, для мира нету прока...

* * *

А меня у вас называют падшей,
 Говорят, что омут в моей груди,
 Как Мамай прошла по деревне вашей:
 Вспоминают – крестятся ведь, поди.

На меня – капканы, в меня – арканы,
 Каллиграфы рьяно обо мне строчат.
 А я стисну раны да пляшу канканы,
 Так что пруд фонтаном брызжет в звездный чад.

Берегись, примечу тебя! Помечу
 Двухэтажный терем, чтоб в темень – быть,
 Да не спутать темечко человеچه
 С раскаленным чаном, где не остыть.

Давят лапы сосен на скат карнизный,
 Поднимает транспорт с дороги взвесь.
 Параллельным линиям наших жизней
 Пересечься выпало тоже – здесь.

Но скрещенье судеб – не рук скрещенье,
 А вот эта судорога вдоль дорог
 При одном намеке на возвращенье...
 Но кому достанется мой намек?!

Переполнен воздух враждой и гарью,
 И дрожит реактивных небес нарост.
 Помнят здесь лишь ненависть государью,
 Да мои утешенья при свете звезд.

Провинция

Провинция – иное измеренье.
 Переходи в него по пустоте
 Полей и рош. Да будет озаренье
 Твоей душе, привыкшей к мерзлоте,
 А после – адаптируется зренье
 В потусторонней – здешней – темноте.

Зачавшая поэта от поэта
 В самой себе, там женщина живет.
 Там две реки подобием валета
 С игровой карты, там круговорот
 Забот земных, обшарпанная эта
 Глубинка – глубь земная, переход

К молчанию, оратор плодови́тый.
 Смотри через оконное стекло:
 Вот океан пустынный ледови́тый,
 Его ночным туманом занесло,
 Три дома, в полутьме фонарь разбитый,
 И женщина идет через село.

И женщина, живущая в забвенье,
Растоптанная некогда тобой.
Но – помнишь? – здесь иное измеренье.
Пойдешь налево – мертвенный прибор,
Пойдешь направо – сколько хватит зренья
Вода, как жизнь чужая под стопой.

* * *

Черкани пару строчек на принтере струйном.
Прощайся. Промчись над бедром шестиструнным
Утопающей в красных огнях окружной.
Надо мной.
Я уже распечатала это

Откровенное чтиво. Прочла и согрета.
Я еще не ушла. Я стою. Я молчу.
А на тихого ангела в небе далеком
Проворчу «разлетались» и в обморок, боком,
И заварку пролью. И конверт намочу.

* * *

Бывает так. Приедешь в город,
Какой-нибудь райцентр, где рай
Центральной улицей распорот,
И сонный движется трамвай,
И ломится колхозный рынок,
И дремлет древняя река,
И моросью размыт суглинок,
И в яви – первая строка,
За ней, как птицы – вереницей,
Другие тянутся слова,
И вдруг увидишь: со столицей
Райцентр расходится едва.

Он лишь околица того, что
Еще не сбыто с глаз долой.
И за тобой следит в окошко
Все тот же взгляд немолодой.
Ведет тебя все тот же кто-то,
И ты медлительна в ходьбе.
И ощущение перелета
Не зарождается в тебе.
И не проникнуться пейзажной
Красой и свежестью, пока
Не спустится на лист бумажный
Твоя последняя строка.

* * *

Два раза по столько и еще полстолько —
Вот и вся жизнь.
У того столика
Поди распишись.
И получи с нагрузкой
Транзитный билет
И променад по узкой
Дорожке в семьдесят лет.
А когда пташки,
К примеру, сойка, заорут в мокрых ветвях,
И побегут мурашки,
В смысле, охватит страх,
Значит, уже полпути пройдено.
Запахнись
И возвратись на веранду, в дом, где родина
И близкие улеглись.



Николай КЛИМОНТОВИЧ

Против часовой

СВЯТОЧНЫЙ РОМАН

Глава 1. Указ

Кандидат исторических наук, доцент Педагогического университета Наталья Ардалоновна Б. – ее полное имя позже вы, конечно, узнаете – была женщина бойкая, сметливая, удачливая. В прошлой, советской еще, жизни – ретивая комсомолка; потом партийка – вступила в аспирантуру, иначе было не защититься; нынче – демократка со стажем, в августе девяносто первого стояла в *живом кольце*, таскала из дома термосы и бутерброды – для танкистов. И это несмотря на то, что ее муж, еще подполковник, все трое важных для страны тогдашних суток пребывал в растерянности, ходил на работу, но скоро возвращался подавленным. Ничего не предпринимал, сидел перед телевизором, ожидая будущего. И только иногда говорил жене тихим голосом: *подумай о девочках*, – у них было две дочери, старшая только перешла в шестой класс, младшая, отцовская любимица, должна была идти в первый.

Но не тут-то было. *Не знаю, как ты*, говорила в те дни Наташа дерзко, будто с горы покатила, *но лично я хочу, чтобы мои дочери выросли свободными людьми*. Подполковник, человек домашний, тихий, рыбак, он и в строительные войска-то попал с гражданки, думал: *вот те на, во куда тебя понесло...* Он – *интеллигентный офицер*, если в наши дни можно так выразиться – в подпитии мог, конечно, стукнуть кулаком по столу, но тронуть пальцем жену или детей – ни-ни, иногда только младшей отвешивал шутливый подзатыльник, любя, – перед ее рождением мечтал о мальчишке. Теперь, когда в стране все окончательно свихнулось с осей, подполковник помалкивал от греха, пораженный невиданной храбростью супруги. А еще больше тем, что эта самая нежданная свобода будто грозила его семью разьединить: никогда прежде Наташа не употребляла такие словесные конструкции, мол, *не знаю, как ты, а вот я или мои дочери...* Будто теперь, в дни побеждающей демократии, или как там это у них называется, он уже – не муж и отец, а так, неясная и досадная фигура второго плана и неопределенного рода.

Но знал бы подполковник, что в душе – в душе Наташа всегда оставалась робкой, как восьмиклассница. И нежданная ее отвага шла всего лишь от этой вот затаенной робости. И на ученом совете она всегда уступала, подчас вспыхивая, как девушка, когда кто-нибудь из старших по должности обрывал, говорила себе – *ничего, ничего, интеллигентному человеку не к лицу склочничать*, – считала себя интеллигентным человеком и в нынешнем смысле этого понятия таковой на самом деле и была. И на защитах голосовала, как надо было заведующему кафедрой. И даже в очередях больше помалкивала – при *перестройке* очереди стали даже длиннее, чем в *годы застоя*, но как-то не столь унизительны и обидны... Так что характер у нее был скорее ну не покорный, а скажем так – покладистый. Это со студентами иногда хорохорилась: стала большой фрондеркой за годы новой свободы. Ну и командовала в семье, конечно: на что откладывать деньги, где и за

сколько для дачи купить летний душ, отправлять ли старшую в лагерь и брать ли младшую с собой на юг; и какую собаку завести – завели легавую суку, подполковник хотел гончака кобеля...

И потому, услышав стороной о готовящемся Указе, Наташа испытала сперва лишь легкий трепет в душе. Но потом, по мере того как она вдумывалась в судьбоносный для нее смысл этого готовящегося верховного распоряжения, ею понемногу стала овладевать самая настоящая паника.

Да и любая на ее месте, узнав что-нибудь подобное, будь даже не робкого десятка, заволновалась бы. Было отчего. Если, конечно, речь не идет о какой-нибудь старой деве, о совершеннейшем уже синем чулке. Или о правильной даме, всю жизнь прожившей с одним-единственным мужем... Наташа позвонила одной-другой знакомой – те были в сходном положении, – однако прямо ничего не спрашивала, таилась, ждала. Но подружки болтали, как ни в чем не бывало – о детях, о мужьях, о новых машинах, хвастались поездками и обновками. *Наверное, не знают еще*, думала Наташа, вешая трубку. Она позвонила даже подружке по университетскому еще общежитию. Но, только услышав осипший и осевший голос давнишней товарки, спохватилась: да что ж она звонит, ведь Женька и замужем ни разу не была. Так тому же ее не сразу узнала, а когда узнала, принялась канючить, жаловаться на здоровье, на хандру, на редакционные интриги, и Наташа пожалела, что позвонила, скомкала разговор. Но потом долго испытывала неловкость, корила себя за черствость. Хотя и мелькнула у нее мысль: а ведь Женьке повезло, что всю жизнь – одна, у нее теперь нет этой головной боли...

О тайно готовящемся наверху Указе она узнала так.

Ее маникюрша Зоя – хоть и запойная, но исполнительная и мастерица, коли бывала трезва, – имела еще ряд постоянных клиенток, среди которых были и высокопоставленные жены. В минуты расслабления во время педикюра они откровенничали с Зоей, считая ее дурой, которая пропустит главное или забудет. Зоя же из Днепропетровска, бездетная вдова лет сорока, лишь строила из себя дурочку, ластясь к хозяйкам, а сама, как всякая прислуга, жадно мотала на ус услышанное. Она отчего-то мало интересовалась почти не ношенными вчерашней моды вещами, которые ей за частую перепали. Но была *развитая*, как сама о себе говорила, любила разгадывать кроссворды и делала это даже лучше, чем старый лысый ее сосед по маленькой трехкомнатной коммунальной квартире, склочный и мелочный, с парализованной женой в дальней крохотной всегда темной комнатке, – на время кроссворда в квартире объявлялось перемирие.

Однако больше всего Зоя интересовалась политикой. Она знала чуть не поименно депутатский корпус высшего эшелона – начиная с председателей комиссий. Следила за чехардой министров и перемещениями внутри Администрации. Конечно, не пропускала мимо ушей и мелочей: где одеваются жены кремлевских деятелей, на каких машинах ездят народные избранники, кто из них зажал государственную квартиру и не желает освобождать, даже какие носки и галстуки у того или другого высокого чиновника – подходит ли одно к другому, и в каких зарубежных университетах учатся так называемые *вин-дети*, и где они отдыхают...

Дело шло к Новому году, и Наташа вызвала Зою сделать маникюр. Зоя – так всегда с нею бывало перед загулом и запоем – была празднично возбуждена. Даже пахло от нее по-новогоднему: мандаринами и отчего-то миндальным печеньем. Для начала они попили кофе на кухне, а потом устроилась, как всегда, у Наташи в спальне.

Наташа думала о своем – приготовить утку или индейку для новогоднего ужина, остановилась все-таки на утке с яблоками, ведь старшая наверняка куда-нибудь усвищит. Одновременно она слушала Зоину болтовню вполуха – ее волновали заусенцы на безымянном и среднем пальцах правой руки, и она помнила о них, что не мешало раздумьям об утке. Не говоря уж о том, что Наташа политикой в Зоиной интерпретации не интересовалась вовсе, ее привлекали рассуждения об общем направлении, об угрозе

демократии и повторится ли тридцать седьмой год. Но вдруг что-то в клетке Зоинных слов – та говорила грудным контральто и так и не отделилась от южнорусского произношения – ее задело. Наташа переспросила.

То, что отбарабанила Зоя, было равно непонятно и невероятно. Наташа даже убрала руки со стола – Зоя так и осталась сидеть с пилкой в одной руке, с ваткой в другой. Наташа быстро встала и поплотнее прикрыла дверь: муж, уже полковник, был дома, хотя по субботам чаще всего отправлялся в гараж, в их *мужской клуб*, хоть и был малопьющим, только на рыбалке *расслаблялся*, но сегодня после обеда собирался на хоккей и в гараж не пошел. И потом шепотом велела Зое все до единого слова повторить – *желательно членораздельно*: Наташа почему-то занервничала.

Из слов Зои – она тоже перешла на свистящий шепот и приблизила голову к Наташиному уху – выходило, что в недрах Государственной Думы циркулирует проект некоего Указа. Проект выдвинул не иначе как Маслаковский, который, хоть и считался клоуном, эксцентриком и шестеркой в руках Кремля, возглавлял как-никак вторую по величине, а в последний год чуть не первую по влиянию думскую фракцию. Проект Указа гласил, что в сжатые сроки все жены в стране – будь то разведенные или состоящие в повторном браке – должны будут вернуться к своим первым мужьям. Ежели те живы, конечно.

Честно говоря, Наташа всегда, во всю свою жизнь ждала чего-то подобного, и сейчас, услышав это, почувствовала, будто проваливается в кроличью нору.

Глава 2. Наташа

Красивой Наташу было не назвать. Однако была миловидна: нос уточкой, круглые щечки – на левой таилась улыбчивая уютная ямочка, скуластенная, глаза живые, кукольные губки, густые русые волосы. Когда она волновалась, глаза у нее как-то необыкновенно подрагивали, придавая ее лицу необычное и притягательное, романтическое выражение. А когда ей было весело, смеялась открыто, показывая белые ровные, но мелковатые зубки.

У Наташи смолоду – она рано развилась – и до сих пор была ладная, крепкая крестьянская фигура. Широкие сильные бедра *сто два*, талия и сейчас, после двух родов – *восемьдесят шесть*, ноги коротковаты и толстоваты ляжки; но икры, щиколотки, маленькие ступни изящны, недаром мама в Свердловске, где Наташа выросла, водила с шести лет на фигурное катание. Грудь, правда, плосковата, однако хорошей формы, и соски не потрескались, хотя никакого детского питания, сама кормила обеих: вторую так вообще до полутора лет... Наташа и сейчас, в свои сорок четыре, вполне могла бы родить, муж еще пару лет назад заводил об этом разговор, но она твердо сказала: *хватит с меня, этих бы поднять и выучить*.

Поднять – это, конечно, сказано было по инерции, всплыло случайно крестьянское, от бабушки Марьи Петровны Стужиной, которая, по сути дела, Наташу и вырастила: родители все бегали по службам, уставали очень. *Поднять* – так вопрос не стоял: в их семье по нынешним меркам среднего класса была полная чаша: дача, два авто, собака, отдых у моря отечественного и Средиземного. А дело было в том, что Наташа увлеклась своим предметом – историей аграрных отношений в пореформенной России XIX века, подумывала о докторской – материалы были наполовину собраны – и мечтала даже о профессуре. Так что пришла пора и для себя пожить – точнее, для науки. *Дождется уж внуков*, сказала она тогда своему полковнику... И тот пожал плечами, вздохнул: не будет у него сына, вот ведь как. Но что поделать, сам ведь рожать не станешь...

Наташа – по сравнению с одноклассницами и однокурсницами – долго себя *соблюдала*, как сказала бы незабвенная бабушка. Та была происхождения из пермской деревни, староверка, иначе – кержачка, как говорили

на Урале. Но испорченная, конечно, тем, что еще с тридцатых работала на комсомольских стройках, где подрастеряла многие отчие строгости и запреты. Однако крутой старообрядческий нрав сберегла в первозданности. Бабушка говорила: не спеши, дочка, *скверны-то этой* успеешь еще наглотаться, захлебываться будешь. Над *скверной* Наташа, конечно, посмеивалась – бабушка сама не понимала, какие неприличные двусмысленные вещи говорит, – но что-то оставалось в ее голове, какая-то глухая заведомая неприязнь ко всему обнаженно плотскому.

Наташа потеряла невинность только в начале третьего курса, в сентябре, *на картошке*, вполне случайно, просто далеко зашла в танцах, обниманиях и поцелуях, и деваться было некуда, не кричать же, не звать же на помощь, этого гордость не позволяла. Этого своего кавалера больше в глаза не видела, в университетском коридоре при встрече отворачивалась и продолжала ощущать себя девственной. К несчастью, этот первый опыт привил ей еще большую неприязнь к плотскому, права была бабушка, и Наташа с головой ушла в занятия. И дружила только с той самой Женькой с журфака, соседкой по общежитию, – та вообще в свои двадцать один была *старой девой*, как о себе говорила. По прошествии времени Наташа и самой себе не могла сказать с точностью – *было* тогда, в казенной комнате на неразобранной сырой кровати, на грубом шерстяном одеяле, что-нибудь или ничего так и не было...

Наташа по питанной с молоком матери, точнее, воспитанной бабушкой Марьей Петровной дисциплинированности никогда не знала счастья лени, но всегда старалась соответствовать всему прописанному, уставному – даже вычитанному однажды в какой-то книжечки гороскопу своего имени. Потому что, она знала, имя у нее счастливое, ласковое, в переводе с латыни – *родная*. Именины Натальи соответствуют дню уборки овса, и она исправно варила в этот день овсяный кисель. Она знала, что *Наталья всегда любит быть на виду*, шалунья, и Наташа была такой, всегда во всем первая, заводила. У *Натальи буйный ум, склонный к обобщениям и анализу* – конечно, как же еще, отсюда любовь к науке, даже к статистике, и к чтению психологических детективов: Наташа почитывала всякую нынешнюю чушь, лежа на даче в гамаке, когда время было и погода располагала. А так, в дождь, – пасьянсы на веранде. *Наталья обычно замуж выходит рано* и действительно, вышла за своего тогда еще старшего лейтенанта, единственного *настоящего мужа*, в двадцать четыре – поздно, что ли? *Обладая характером живым и веселым, охотно принимает гостей в своем доме*. И это верно, бывали и гости, особенно в аспирантские годы, когда в зоне «В» университета в общежитии получила отдельную комнату; но в поздние годы реже, по праздникам, потому как только одна дочь подросла – тут уже вторая. К тому же шумных мужниных и глуповатых товарищей не слишком жаловала – *офицеры*, хоть и сама была из семьи военного... *Знает себе цену и самолюбива* – это про нее; чтобы соответствовать этой заповеди гороскопа, старалась обиды долго не забывать, но подчас забывала не забывать. Хотя всякие пустяки, несправедливые и колкие замечания в свой адрес, подолгу ее грызли – была ранима.

Как у всякой взрослой дамы, у Наташи были, конечно, *свои секреты*. Однако подчас, в минуты хандры, ей казалось, что секреты эти какие-то хлипкие, мешанские, без романтики. Вот ее подругу Аллу муж всякий год отпускает отдыхать одну – *по туру*. И прошлым летом на Адриатическом море, в Хорватии, у той был роман сразу с двумя немцами: то есть буквально одновременно, так и отдыхали втроем. У другой подруги был постоянный любовник – известнейший актер, правда некрасивый, толстый и лысый, но веселый и богатый. И муж знал об этой связи жены, молчал, играл с актером в шахматы, брал у того за проигрыш контрамарки на премьеры и на просмотры в Дом кино. У третьей, хорошо устроенной, муж – пластический хирург, доктор наук, был как бы еще и второй муж, воздыхатель со студенческих лет, и вся ее женская жизнь была один сладкий головокружи-

тельный слалом, пусть подчас и утомительный: один ребенок от одного, другой – от другого. Даже у горбоносой, мужеподобной ее маникюрши Зои – грудь, правда, большая, Наташа завидовала, – был какой-то перезревший студент, который со стипендии приходил с цветками и шампанским, отчего и начинался у той время от времени со студентом загул, уже на Зоины, конечно, деньги... И только у Наташи ничего подобного не было.

Полковник, даром что добр, в отношениях половых был строг и ревнив, от себя не отпускал, отдыхать – только вместе, какой там одной в Хорватию; да Наташа и сама, наверное, на третий день уже потратила бы все деньги на международные звонки: *как там девочки*. Нет, конечно, за ней ухаживали, но все это была одна платоника. Ну разве что недавно на кафедре она отдалась своему аспиранту, московскому грузину из Боржоми, его напору не было никакой возможности противостоять; потом ходила неделю как в воду опущенная, аспиранту сказала твердо: *запомни, этого не было ни-ког-да!* И к тайному Наташиному разочарованию аспирант оказался способным – всё запомнил.

Но, напротив, в минуты подъема и радости Наташа вспоминала свои годы *до замужества*, так она это называла, и ей становилось весело: нет, ничего в жизни она не упустила, построила дачный дом, вырастила сад, воспитала двух хороших дочерей, ее кандидатскую выпустили отдельной брошюрой. И, как у каждой настоящей женщины, у нее *было прошлое*. И, вспоминая все это, окидывая мысленным взором *свою биографию*, она ощущала себя чуть не триумфаторшей, настоящей дамой, прошедшей по жизни четким печатным шагом, как на параде.

А прошлое у Наташи действительно было. Однажды, когда она была еще девушкой, она получила *предсказание*.

Глава 3. Предсказание

Это случилось, когда она приехала к родителям на каникулы между вторым и третьим курсом – бабушки Стужиной уже не было в живых, и в случае чего посоветоваться Наташе стало не с кем.

Наташа, конечно, еще не знала тогда, что это лето – последнее лето и ее юности, и родительского дома: ранней зимой умрет отец, который всегда так баловал единственную дочь. Именно потому, что это лето оказалось последним, сейчас все и помнилось до каждой милой подробности: до запаха перегретой пыли на их улице Маяковского, до россыпей земляники вокруг столба – двадцать минут на электричке, – отмечающего границу Европы и Азии, до сарафанчиков с фестонами, которые бывали на ней и на Нельке, ее подруге с первого класса, когда они по вечерам отправлялись гулять в сквер у гостиницы *Большой Урал* – дразнили за эти фестончики друг друга *Маша с Уралмаша*, до сводящей ноги ледяной воды в Шарташе несмотря на жару за тридцать, нередкую для Урала, до строчек одного модного тогда в городе поэта из Политехнического:

Я сяду в трамвай номер десять,
Доеду на Ленина пять,

даже до горчинки холодного пива «Исетское», которое они пили с ребятами из их школы, теперь тоже студентами, – не поступивших призвали в армию, – в кафе, носившем такое же, что и пиво, имя.

Мальчики, впрочем, теперь держались с ними настороженно, восхищенно, почтительно. Что ж, Нелька была будущая артистка, со второго раза поступила в театральное училище, а Наташа и вовсе обреталась нынче в столице и, шутка сказать, училась в Московском университете на историческом – туда и поступить-то невозможно... Наташа и Нелька важничали, строили из себя девушек высшего общества, никто и не думал за ними

ухаживать, одни *умные* разговоры, это было и досадно, и смешно, а вот теперь вспоминалось уже как нечто восхитительное, потому, наверное, что никогда-никогда больше не повторится.

Не повторится и тогдашняя атмосфера отчего дома, тоже торжественная, потому что Наташа, очень повзрослевшая с прошлых каникул, отдалившаяся, вызывала и у родителей чуть ни благоговение. Наташа наслаждалась: она лежала по полчаса в ванне с разведенным в ней шампунем – пены для ванн тогда еще не продавали – и читала *Огонек*, что выписывал отец; прежде ей этого никогда не позволили бы, отец эти самые свои *Огоньки* аккуратно складывал стопкой на комод, а теперь, подмокшие, со сморщенными страницами, они вряд ли годились в коллекцию; по ночам она не гасила свет долго за полночь, и была бы жива бабушка Стужина, она б тоже такого не попустила – относилась к электричеству и к счетчику с строгим повседневным вниманием и рачительностью; наконец, никогда прежде мать не кивала бы так согласно и покорно, если б Наташа отодвинула тарелку с недоеденным, а нынче, когда Наташа весело говорила *берегу фигуру*, мама, торопясь, частила *конечно-конечно, доченька...*

Не повторится и встреча с их с Нелькой бывшей классной руководительницей, которую они обожали и которая тоже давным-давно умерла. Они любили эту, тогда уже пожилую женщину. И это несмотря на то, что она преподавала постылую неусвояемую физику. Нелька была не в состоянии выучиться даже дробям, а Наташа, из уважения к учительнице, была хорошей: и по электричеству, и по механике. Запомнилось, что, когда они сидели за чаем с крыжовенным вареньем – предыдущим летом под Свердловском был отчего-то небывалый урожай крыжовника, – учительница спросила шутя: что, все уж позабыли? И Наташа храбро сказала, что помнит кое-что даже из оптики: интерференцию и дифракцию. *И чем они отличаются?* И Наташа бойко ответила, не ошиблась. А вот теперь она, конечно, уже не помнила, ни что такое дифракция, ни что такое интерференция...

В тот день – оставалось всего ничего до отъезда, и Наташе не сиделось, почти не спалось, хотелось скорее вырваться в Москву – она вызвалась сходить за молоком. И насилу уговорила мать, что ей это только в охотку – за молоком нужно было вставать спозаранку и стоять не меньше часа в пенсионерской очереди, ждать цистерну, в магазинах в те годы было шаром покати. Наташа и от денег отказалась, мол, *не надо, мама, какие пустяки...*

Их улица Маяковского, начинаясь от центральной Ленина, чуть скривившись, доходила до самой вокзальной площади. Причем Ленин стоял по обоим концам: в центре большой, белый, у вокзала помельче, бронзовый. И по их району всегда шлялись цыганки. Чтобы добраться до места, куда привозили молоко, нужно было миновать квартал и перейти на другую сторону улицы. И вот как раз у перехода цыганка Наташу и перехватила. Ох, сколько раз предупреждали Наташу, чтоб никогда не связывалась! Но утро было яркое, свежее, Наташа мыслями была уже в самолете, и на обычное *дай, погадаю* беззаботно ответила *а что, погадай*. И даже поставила на землю бидончик, протянула ладонь.

Потом она не раз вспоминала облик той цыганки, и всякий раз выходило по-иному: то цыганка казалась совсем нестарой, бойкой, а то помнилась уже пожилой, чуть не старухой. На пестряди звенели монисты, и пальцы были в золотых кольцах – видать, не простая была цыганка: уличные, *грязные*, с выводком замурзанных детей, знала Наташа, в золоте по улицам не ходили. И первое, что услышала Наташа в быстрой речи цыганки: *ты еще целая*. Как она догадалась, ведь Наташа была развитая, с женской фигурой налитая деваха, никто не верил, что у нее еще не было мужчины... Больше Наташа почти ничего не помнила: разве что поразило ее, что цыганка легко повела рукой, и у нее в пальцах оказалась прядь Наташиных русых волос: будто ножницами чикнула. Ведьма, колдунья – пронеслось у Наташи. И как отдала цыганке все свои деньги, она тоже не помнила – и на молоко,

и на самолет, и на первые в Москве расходы. Но вот что Наташа запомнила навсегда, так это предсказание *и будет у тебя один муж во всю жизнь*.

Вот так, один муж, даже обидно стало.

Глава 4. Витька

На самом деле, вопреки цыганкиному предсказанию, полковник был третьим Наташиным мужем.

Второй, кажется, спился, если судить по слухам, кое-что случайно от доброхотов доходило. Хотя совсем недавно она увидела на улице афишу с объявлением о его персональной выставке. Имя и фамилия совпадали, да и род занятий тоже: живопись, графика.

А вот о первом муже Наташе вообще ничего не было известно. Да она, признаться, и не интересовалась. За годы семейных забот и ученых тревог Наташа всю эту полосу былой давней жизни выбросила из памяти, вырезала, как в компьютере, сбросила в корзину, будто удалила навсегда. Во всяком случае, так ей временами казалось. Но...

Но хранились в Свердловске, теперь опять Екатеринбург, в их старой квартире у старенькой мамы, оставшейся теперь совсем одной, письма и фотографии – в запечатанном старом, школьном еще, портфельчике. Но – иногда, всегда не вовремя, всегда некстати, – подтолкнет какой-нибудь пустяк, случайное сходство, краем уха ухваченная старая песенка, и вдруг что-то вспыхнет в памяти, и помимо воли раскручивается старая лента, припоминаются подробности. Сердясь, она обрывала себя. И только теперь, с возрастом, еще до всякого Указа, время от времени Наташа стала позволять себе – *вспоминать*.

Дело в том, что отец ее девочек, ее нынешний муж – и единственный *настоящий*, как полагала Наташа, – об этой, шальной, полосе ее жизни почти ничего не знал. Училась в университете, написала хороший диплом, потом поступила в аспирантуру, очень много занималась, готовилась к защите, тут встретила его, полюбили друг друга и поженились, благо у молодого старшего лейтенанта, который учился в военной Академии – а перед тем закончил МИИТ по специальности *мосты и тоннели*, – была в столице *жилая площадь*, комната в малонаселенной коммуналке на Палихе.

Конечно, *до него* у Наташи *был кто-то*, все ж таки уже двадцать четыре. Кто это был? Да так, сокурсник. Но он оказался *неспособным*, лентяй, Наташа в нем быстро разочаровалась... Эта немудрящая легенда давно стала полноценной частью жизни и все реже обсуждалась, поросла мхом, укоренившись, и теперь была окончательно забыта. Нынче вот у старшей уже романы, Наташа даже ревновала – молодые люди старшей дочери занимали теперь полковника много больше и живее, чем бывшая Наташина дамская жизнь...

А началось все с Витьки Шипицина.

Отец у того был генералом и начальником Наташиного отца. Служили по железнодорожному ведомству, важному в Свердловске, центральном узле советских стратегических перевозок. И жили обе семьи в одном дворе, *офицерском*, как его называли в округе, но генеральская квартира была попросторнее, конечно. И ходили Наташа с Витькой в одну и ту же школу, правда, тот учился классом старше.

Витька Шипицын был *золотым* мальчиком, как его звали в школе. Не в том смысле, что был отличником и претендовал на золотую медаль, а в том, что был невероятным шалопаем, единственным отпрыском генерала, маменькиным любимцем, которая спасала его от отцовского ремня, пижоном и гулякой с младых ногтей. К тому ж Витька был хорош собой, спортивно сложен, с обаятельной улыбкой актера Урбанского – и брюнет, как тот. Все девочки школы и окрестностей были в него влюблены. И Наташа, конечно, тоже.

Подвиги Витьки были упоительны.

С пятнадцати лет он гулял с развеселыми подружками, много старше его. С девочками из кордебалета Свердловского театра музыкальной комедии. С цыганками из Цыганского поселка, что за Шарташом. Умел даже сказать на цыганском языке нежное *мэ тут камам* и совсем неприличное *ха мэри минча...* Оттого попадал в переделки. Однажды, когда провожал цыганскую подружку до дома, был едва не убит ее братом, который метнул в Витьку отточенный топор, пронесшийся у того прямо над головой и глубоко вонзившийся в столб электропередачи.

В другой раз он гулял с одной из своих пассий, известной оторвой, в единственном по тем временам в городе ночном ресторане в аэропорту Кольцово. Пили фирменный коктейль заведения – полстакана портвейна на полстакана водки, внутри плавали две дольки яблока. Девка, конечно, наклюкалась и по выходе на аэропортовской площади облюбовала милицейский газон, взобралась на крышу и пыталась изобразить форменный стриптиз. Витька с друзьями громко хлопали и пели хором для аккомпанемента популярную тогда песню *Опять от меня сбежала последняя электричка*. Компания была задержана патрулем, Витька вступил в нелिцеприятную разборку с милиционерами, был арестован, в околотке его отметили. Забирал его папин денщик. Милиционеры были уволены, сам Витька выдран ремнем.

Был и такой эпизод: в один прекрасный вечер нетрезвый Витька на спор повис на декоративном корне в вестибюле ресторана *Кедр* – это был спортивный восхитительный подвиг, поскольку корень висел под самым потолком... На сей раз его нашли в отделении лишь на вторые сутки, причем сам начальник поехал к Витькиному папаше с повинной. Начальник был прощен, Витька выдран...

На Наташу, конечно же, Витька не обращал никакого внимания: дурнушка, малолетка, к тому ж вместе росли. Но однажды завалился-таки к ней, когда родители были на работе, часа два беспрерывно ее щупал, много позже Наташа узнала, что в сексологии это называется *петтинг*. Таков был первый Наташин сексуальный опыт.

Чтобы не потерять сына, как он выражался, сразу после окончания Витькой десятого класса и получения аттестата – тоже не без приключений, конечно, следил за ходом экзаменов все тот же денщик – генерал Шипицын сдал сына в военное училище в Рязань – учиться уму-разуму и воспитываться на политрука. И в училище Витьку воспитали-таки.

Наташа после Свердловска видела его лишь однажды, мельком, заходил к ней в Москве по старой памяти в общежитие: окончив свое заведение, он следовал на побывку в родительский дом перед отправлением на постоянное место службы, куда-то под Ашхабад... Витька разительно изменился. Он ссутулился, стал каким-то серым, с неухоженной огрубевшей кожей, мозолистые руки прятал от неловкости. Лейтенантская форма на нем сидела, как на пугале, рукава, казалось, коротки по мослам. Витька очень заматерел и стал обычным некрасивым грубым мужиком, каких на улицах тысячи, – генерал Шипицын был отнюдь не голубых кровей. К тому же с собой он вез еще и толстую неопрятную жену, почему-то хохлушку – откуда хохлушки в Рязани? – и совсем деревенскую.

Но привел Витька к Наташе не только ее.

Был с ними и Валера Адамский, молодой врач-гинеколог, еврей, конечно, гинекология – еврейская специальность. Если можно было составить Витьке в тогдешнем его обличье полную противоположность – так это был Валерка. Холеный, наголоватый, сыпавший модными сленговыми словечками, франтоватый и привыкший не церемониться с женщинами. Что ж, он видел их десятками каждый день в своем кресле – изнутри.

Каким образом Витька и Валерий были знакомы, Наташа так и не уяснила – ни тогда, ни после: кажется, оказались как-то, в одну из Витькиных побывок, случайными соседями по столу в ресторане – что ж, оба тогда были студентами... Витька Шипицын после того визита исчез из ее жизни – скорее всего навсегда.

Глава 5. Второй мужчина

Случилось это на последнем курсе университета, Наташа не была уже такой наивной, но и прожженной никак не называть, была скорее осторожна. Происходило же всё так: Валера стал захакивать к ней в студенческое общежитие – своей квартиры, как оказалось, у него не было, оставил кооператив в Чертанове бывшей жене, в компании которой продолжал пьянствовать. Богема, что поделать, бывшая жена Валерки перед ним была замужем за скульптором, съехавшим к тому времени в государство Израиль.

Наташе эти визиты поначалу казались странными. Во-первых, Валера был старше ее на целых шесть лет. Но даже не в том дело: ее отец был старше матери на целых восемь, и ничего – счастливо жили. Во-вторых, поскольку Валера уже был *взрослый*, водил хоровод, если не все в его словах хвастовство, с известными людьми, что ж такого интересного мог он услышать здесь, в комнате студенческого общежития, в компании с *писюшками* – так он называл малолеток, которые *залетали* иногда к нему на прием.

Нет, конечно, Наташа не была столь наивна, чтобы не понимать, что три молодых свободных девчонки, которые к тому же смотрят ему в рот, ловят каждое слово и с готовностью смеются каждой его шутке, – находка для молодого одинокого мужчины, возможность покрасоваться и расслабиться. Но все-таки у него, при его-то профессии, никак не могло быть нехватки по этой части... Все было тем более загадочно, что держался Валерка хоть и непринужденно, но очень сдержанно.

Он приходил всегда с коробкой конфет и парой бутылок полусладкого советского шампанского – Наташа тогда еще не знала, что такого напиток не бывает на свете, – развлекал Наташу и ее соседок рассказами из практики – в меру скабрёзными, но подчас действительно уморительными. Скажем, он в красках и в лицах описывал ежегодный плановый повальный осмотр работниц фабрики *Дукат*... Соседки таяли в присутствии Валерки, отчаянно завидовали Наташе, утверждая, что ходит он в общежитие исключительно ради нее. *Да хватит вам, пристали*, говорила Наташа, краснея, причем совершенно искренне: она совсем не так представляла себе механизм ухаживания. Ведь Валерка никуда ее не пригласил, ничего не дарил – даже букетика цветов, никаких намеков на то, что предпочитал ее остальным, не допускал.

Одна из Наташиных соседок была удивительно красивая еврейка из Бобруйска по имени Полина: с дивными волосами, белокожая, с черными огромными глазами, очень чувственная, но свято хранившая свою девственность: говорила – для мужа. Самое удивительное, что потом она вышла-таки замуж девушкой, правда через месяц подала на развод, поступила в аспирантуру и вернулась в общежитие, но стала отнюдь не такой строгой, какой была в девичестве. А позже вышла за Бог ведает где ею добытого американца, отечественного, впрочем, происхождения, – и покинула родные палестины... Однако материнский завет Полиной был выполнен. И Валера к этой ее слабости по части строгого *соблюдения себя* относился с полным пониманием, только чуть подтрунивал и говорил, что, как ее увидит, чувствует себя *отполированным*.

Другая соседка, напротив, была разбитная смазливая толстушка Верка – откуда-то из средней полосы, из Воронежа, что ли. Верка имела одну особенность – очень быстро пьянела и утром никак не могла вспомнить, спала ли она с кем-нибудь из гостей или нет. Как правило, спала, и выручало ее то обстоятельство, что у нее были большие придатки и она никогда не беременела. Однажды – по просьбе Верки – Валера сделал ей осмотр прямо в общежитской комнате, похвалил за *сильную матку*, а потом по секрету шепнул Наталье, что скорее всего у Верки никогда не будет детей. В чем дело, он не объяснил, но через несколько лет после окончания университета Наташа стороною узнала – связи они не поддерживали, – что Верка умерла от рака...

Наташа была знакома с Валерой уже больше месяца, но так и не понимала – нравится он ей или нет. Точно знала, что спать с ним не будет. *Пока*. Но вышло так, что незаметно кончился семестр, и год подошел к концу. Под Новый год общежитие пустело. Наташа никогда домой зимой не ездила: далеко, дорого, а на носу сессия – она ведь была отличницей и намеревалась поступать в аспирантуру. Но и сидеть с учебниками в новогоднюю ночь тоже было тоскливо. И тут эта самая Верка позвала Наташу на Новый год на Николину Гору – на дачу ее очередного хахаля: важные его папа с мамой куда-то *сбрызнули*, Валеркино выражение. И нарисовалась перспектива нескольких дней перед сессией вольного загородного житья на свежем воздухе – это после общежитского-то многолюдья и спертости. К тому ж с камином.

Однако не одной же ехать. И Наташа после колебаний пригласила Валерку. Причем втайне страшно боялась, что тот откажется: наверняка у него было много куда более интересных приглашений. Но тот к Наташиной радости тотчас согласился, от восторга, впрочем, не прыгал, сказал только *идет, покупаю*. И ухмыльнулся.

Все и сегодня помнилось до мелочей. Скорые лихорадочные сборы: и где достать шашлык, и сколько брать водки, а сколько шампанского. И пива наутро – *отполировать*, ведь магазин первого числа наверняка будет закрыт. И как одеваться: ведь к полночи на ней должны быть и платье, и прическа. И взять ли мамины бусы, которые та вручила Наташе торжественно в последнюю их встречу: *твое приданое*. И не слишком ли эти бусы из огромных отшлифованных, размером с добрую сливу, кусков желтого янтаря, старомодны...

Запомнилось, и как ехали на электричке – машины даже у богатого Веркиного хахаля тогда не было, – потом на автобусе, а первую бутылку шампанского открыли уже на дачном крыльце. Странно, но этого самого Веркиного дружка Наташа совсем не помнила, встретила бы – никогда не узнала, осталось только, что это был парень, избалованный до капризности и законченный алкаш. *Алконавт*, по-Валеркиному. Чем-то он был похож на Витьку Шипицына, но тот был не в пример обаятельнее. Быть может, из-за этого сходства Валерка с этим самым хахалем быстро поладили.

И саму новогоднюю ночь Наташа, конечно же, помнила долгие годы. И как нарядили ель во дворе – нашли старые елочные игрушки, завернутые в обрывки газет, и выцветший от времени серпантин. И как на полную катушку врубили радио и водили хоровод вокруг елки. И как пили шампанское, которое охлаждали в сугробах, и как растапливали камин березовыми чурками, и как жарко тот пылал – особенно тепло стало, когда Валерка подвинул ее кресло-качалку (*кресло-кончалка*, так он именовал этот мебельный предмет) к самому огню. Даже голубую кайму на язычках пламени запомнила Наташа и запах березового дыма – поленья оказались сыроваты и дымили поначалу... И, наконец, как в самую полночь пили с Валеркой брудершафт и он поцеловал ее – в первый раз, в щечку при встрече не считается, – и голова закружилась.

Уже далеко за полночь выяснилось, что, поскольку газовый котел выключен, в других комнатах холодсобачий, иней на подоконниках, спать всем придется в гостиной, которую они натопили. Верка, зараза, знала все заранее, если не сама подстроила: Верку злило, что Наташа в отличие от нее *строит из себя девочку*. А ведь добрая была девка, царствие ей небесное, просто обижалась, что Наташа *такая гордая*...

В гостиной было только две кушетки. И гора пледов. Верка с хозяином легли на одной, она с Валеркой оказалась на другой, иначе не выходило: не сидеть же, в самом деле, всю ночь в кресле – смешно. Но и в этом положении Наташа верила, что *ничего такого* у них не будет – так, поцелуются еще раз. А если уж ему приспичит, поступит, как Витька когда-то, не терпеть же, она ему разрешит.

Скоро Верка принялась громко стонать на своей кушетке, иногда будто похрюкивая; кушетка скрипела и, казалось, тоже постанывала. И Ната-

ша, слушая все это, воображала, что там Веркин хахаль делает в темноте с ее товаркой, сама возбудилась. К тому же Валерка умело ее ласкал. Она и не заметила, как он в нее вошел – очень нежно, – и на этот раз вовсе не было больно. И Наташа в конце концов тоже, как Верка, вскрикнула от удовольствия, будто Валерка нашел в ней какое-то тайное место или нажал на что-то... Она гладила Валеркин затылок; пахло смолой, и блики от догорающего огня в камине ползали на потолке. И была тоска по дому, не по родительскому, туда уж не было возврата – по своему собственному... Потом вчетвером, полуголые, пили, завернувшись в пледы, холодное шампанское. Сладкие – полусладкие – струйки стекали у Наташи по подбородку, по шее, намочили комбинацию, а тут и слезы потекли по щекам – от счастья, что ей оказалось так хорошо и стало так легко: собственно, в ту ночь она и сделалась по-настоящему женщиной.

И начался этот ее сумасшедший роман, закончившийся таким же безумным, авантюрным браком.

Глава 6. Жених

Они стали жить разбросанно, богемно, пьяно, упиваясь друг другом, едва успевая каждый по своим обязанностям – она на семинары к шефу в университет, он – на приемы в свою поликлинику, ведомственную. Ночевал Валерка у нее в общежитии, хоть это было, конечно, не положено, – Полина как раз тогда выскочила замуж, а Верку они не стеснялись. Возникали подчас конфликты с вахтерами, но Валерка как-то ловко умел все улаживать.

Однако ночевали они там отнюдь не всегда, то есть не укладывались с вечера. А куролесили: ехали сначала в ресторан «Дружба», танцевали под дурацкий кабацкий ВИА, которому Валерка неизменно заказывал *семь софок*, и Наташа отплясывала, как заправский еврей, – еврейкам ведь плясать не положено. Потом, после закрытия этого кабака, катили на такси во Внуково в ночной ресторан, пили коньяк, который подавали в кофейниках: то были недолгие времена очередного приступа властей по *борьбе с пьянством и алкоголизмом*. И возвращались под утро, пьяные, счастливые, море по колено, когда общежитие давно спало. И вахтер, матюгаясь, отворял им дверь.

Наташа полюбила эти странные бесшабашные ночи. Ее, правда, мучило чувство вины перед памятью бабушки, и она порой украдкой крестилась – не щепотью, а двуперстно, по-раскольничьи, как бабка учила; но это, конечно, с пьяного угара – Наташа не верила в Бога... А иногда подкатывал другой страх, подчас, в какую-то жуткую минуту, превращаясь в липкий ужас: она ведь совсем не занимается, диплом стоит, шеф смотрит эдак иронически, если не защитится на отлично – прощай аспирантура, все насмарку, и что она скажет маме, которая так ею гордится...

Но Валерка сыпал деньгами, смешил до колик, упивал шампанским, Наташа отмахивалась от печального, принималась *слушать самолеты*. Она запоминала объявления и имена далеких городов, а однажды вдруг предложила, после того как Валерка напоил ее теплым полусладким шампанским – из губ в губы, добавив в него чуть коньяка – *бурным медведем*, давай улетим. Это вырвалось у Наташи случайно, невольно, за минуту перед тем она ни о чем подобном не думала. Но Валерка пришел в восторг. И они принялись, перебивая друг друга, судорожно строить план побега.

Наташа рассказала, что в далеком Душанбе у нее есть школьная подруга Неля, актриса тамошней русской драмы – закончила в Свердловске театральное училище, зовет ее в гости в каждом письме. И что ее любовник – главный режиссер и их хорошо примут. Валерка захлопал в ладоши, затапаторил *афьк, алыча, Ходжа Насреддин*, а потом изобразил какую-то музыку на губах, подражая зурне, что ли.

Решили лететь на *ноябрьские*. Купили в подарок сумку виски – тогда этот напиток продавался в одном-единственном магазине в Москве, в венгерс-

ком *Балатоне*, видно, замастывали его предприимчивые мадьяры. Пойло называлось отчего-то *Клаб-99*. Улетали в пронизывающую до нутра метель из Домодедова. В полете пили виски из пластмассовых аэрофлотских стаканчиков, и пластмасса, кажется, растворялась, как от ацетона: в голубых стаканчиках на дне оставались рьжие проплешины... И совсем пьяненькими, хоть и поспали немного, откинув кресла и взявшись за руки, попали в теплое и ласковое азиатское бабье лето, с нежным солнцем, с дивной синевы небом, со снежными горными памирскими вершинами на горизонте, – и в Нелькины объятия.

Маленькая и живая, быстроглазая – она была травести – Неля устроила их в своей квартирке, сама жила у своего режиссера по фамилии, кажется, Ташмухамедов, хоть и руководил он театром русским. Номенклатура: любое первое лицо должно быть по тогдашним правилам из титульной нации. Директор театра – тот уж был русский. Еврей.

Днями они шлялись по ресторанам, где официанты обмывали жирные фужеры для очередных гостей в холодных струях фонтана. На улицах в те дни готовились к *празднику Октября*, из шланга мыли огромную, заплывшую за долгое лето каменную статую Ленина на главной площади, развешивали кумачовые флаги; повсюду жарили шашлыки и делали плов в громадных казанах, и терпкий запах баранины с пряностями, перемешанный с дымком от мангалов, окутывал центральные улицы... Они бродили по рынкам, любуясь пирамидами дынь и грудами винограда, сидели в чайханах, запивали теплую водку зеленым горячим чаем и были счастливы. И волнения Наташи остались где-то далеко-далеко, там, в холодной России...

Наташа с Валерой спали на широком балконе, хоть ночами и спускалась прохлада; в предутренней мгле были выходившие к последним городским домам голодные шакалы; было жутковато. По ночам влюбленная Наташа открывала себя, доходя почти до неистовства – так, что сама себя пугалась, наслаждалась, чуть не теряя сознание. А потом ее грыз стыд и терзали сомнения, которых она тоже стыдилась: уж не ставит ли ее гинеколог над ней какие-нибудь опыты?

Вернувшись в Москву, они и вовсе не расставались. Постепенно Наташа перезнакомилась с друзьями Валерки и много раз слышала и от его сокурсников, и от коллег, что тот – врач *от Бога*. Однако сам Валерка относился к своей профессии как бы несколько иронически, довольно грубо описывал практику. Потом Наташа много раз сталкивалась с тем, что мужчины определенного типа, что-то действительно умея делать, будто тяготятся своим профессионализмом, даже стесняются, не любят, когда их хвалят в глаза, даже сердятся, а глядят подчас в сторону занятий, к которым у них нет никаких способностей. Так и Валерка: оказалось, что он пишет стихи.

Было понятно, отчего он до времени это свое хобби от нее скрывал: стихи у него выходили до обидного бездарные – так Наташе казалось, слух у нее был хороший, много знала с юности наизусть, – и ей подчас за него бывало стыдно. До краски на лице, до того, что горели уши... Обнаружилась эта его склонность к версификаторству не вдруг. Сначала Наташа стала замечать, что Валерка тяготится разговорами на профессиональные темы, неминуемо возникающими в компании подвыпивших врачей. Он становился неприятно циничен. Разговоры медиков всегда циничны, что, по-видимому, ограждает их от того, чтобы брать близко к сердцу те глупости и страдания человеческие, которые им выпадает наблюдать всякий день. Но Валерка бывал циничен каким-то особым образом – по отношению именно к профессии врача, то есть переступал какую-то одним медикам явную границу.

Тем удивительнее было видеть, что он становился совсем другим, едва оказывался в компании богемных, *творческих* людей. Здесь он не хорохорился, не бравировал, а бывал смиренен, подчас едва ли не подобострастен. И Наташа со стыдом за него стала как-то свидетельницей того, как во время пьянки в мастерской одного художника – мастерская была неухо-

женная, *халостяцкая*, как мельком подумалось Наташе, на чердаке огромного дореволюционной постройки дома – Валерку отправили в магазин за водкой как *самого молодого*. Хотя самым молодым он вовсе не был, за водкой с готовностью *сгонял*.

Пока Валерки не было, художник – Валеркин приятель, его возраста, когда-то учились в одной школе – попросил Наташу помочь ему на кухне *на предмет закусона*. И, когда она отвернулась к кухонному столу, довольно плотно обнял ее за талию сильными руками и ткнулся губами в шею, попутно прикусив за ушко. Наташа отдернулась, пробормотала что-то укорищенное. Быть может, художник – звали его Георгий, в нем была грузинская, что ли, кровь – почувствовал, что Наташа повела себя недостаточно решительно, но и продолжать ухаживания не стал, только обаятельно улыбнулся. Даже несколько смущенно, или это показалось Наташе.

В этот вечер отчего-то Валерка напился вдрызг, до этого Наташа никогда не видела его таким пьяным. Наверное, заметил, как нравится она его другу. И, увлекши ее на ту же кухню, где ее только что обнимал художник, встал на колени, прослезился и попросил ее стать его женой. До этого вечера Наташе никогда никто не делал предложений. И от Валерки она – втайне от самой себя – очень ждала этих слов.

Глава 7. Первый муж

Они прожили вместе еще около года в огромной Валеркиной коммуналке, подлежащей расселению. Дом был старый, ветхий, квартира – на первом этаже, сырая, темная, вход – со двора, идти надо было через подворотню; ванна с газовой колонкой, по утрам в ней оказывались какие-то черные жуки – Валерка утверждал, что жуки – тоже евреи... Но место хорошее – улица Семашко, прямо за *Военторгом*.

Кроме Валерки и его матери, в квартире оставалась только какая-то отчаянно тощая девица по имени Валя, занимавшаяся спекуляцией. Она самовольно захватила несколько опустевших комнат, которые набила дурно пахнущими тюками, коробками с пылесосами и утюгами. Подчас к ней приходили смутные смятые личности, которые шныряли вдоль стены коридора, а потом, нагруженные, незаметно исчезали... Впрочем, очень скоро и сама Валентина сгинула куда-то.

Это было несчастливое Наташино время. Во-первых, став мужем, а еще точнее – с того вечера, как Наташа сказала ему *да*, Валерка неожиданно оказался ревнив, ему все время казалось, что Наташа его недостаточно любит – во всяком случае, так он заявлял в пьяном виде. Но Наташа полагала, что это как раз она недополучает его внимания и любви: с ней он теперь подчас бывал невнимателен, даже груб, а Наташа не переносила грубости – не привыкла. Зато Валерка бывал неизменно очень нежен со своей матерью Фирой Давыдовой – до смешного.

Молодые ютились в маленькой комнатке-пенале, а Наташина новоиспеченная свекровь располагалась в большой комнате, служившей, впрочем, всей семье столовой. Валеркина комната была бедновата, две картинки, подаренные тем самым Георгием, на стене, полка с томиками стихов, портрет Хемингуэя, валяющиеся по углам какие-то медицинские справочники, узкая лежанка (они помещались, Валерка был щуплым). Комнатка напоминала бы общежитскую, если б не вполне приличное старенькое бюро, на котором навалены были какие-то листки, фотографии – архив, так сказать. В многочисленных ящичках царил и вовсе кавардак, Наташа только раз заглянула. Имелись еще и дешевая иконка в углу и лампадка под ней – *киот*, называл это Валерка. Лаптей только не хватает, думала Наташа легкомысленно, не без раздражения.

Зато в большой Фириной комнате – она так и называлась в семье – *большая* – стоял огромный резной буфет с сервизами внутри, кровать свекрови с

дубовыми выгнутыми спинками; два окна закрывали пыльные плюшевые гардины, висел абажур с бахромой над большим круглым обеденным столом.

Надо отдать должное Фире, – именно так, настаивала та, должно было ее называть, – она особенно не вмешивалась в дела молодоженов. *Относилась философски*, как утверждал Валера. А вот Наташа полагала, что за этой *философией* – один старческий эгоизм. Фира вообще жила в некоторой прострации, но очень оживала, едва в гости заходил кто-нибудь из знакомых мужского пола, красилась, принаряжалась, доставала веер из глазастых перьев. Это было противно наблюдать – кокетничающая размалеванная старуха, у которой над углами губ торчали пучочки форменных черных усов. Наташу раздражала неряшливость старухи, вечные пасьянсы, когда грязные чашки сдвигались к краю большого стола да там и оставались по несколько дней, пока Наташа не помоеет. Раздражал прогорклый запах старушечьего тела, что застоялся в этой комнате, и прелый, как сырая солома, запах каких-то доисторических духов, плоскими и мутными склянками которых была заставлена средняя открытая полка буфета, служившая Фире туалетным столиком. К тому же Наташа не могла простить Фире явного ханжества: пока они с Валерой мыкались по общежитиям, его комната пустовала, и он не раз говорил, что, мол, мама строгая, и он никак не может *водить при ней женщин*. Наверняка ведь водил, оставляя за собой поле для временных отступлений и случайных походов.

И вот что еще важно. Никаких следов папаши Адамского в этом жилище не наблюдалось. Ни фотографии, ни других признаков памяти. Никогда не всплывал отец Валерки и в разговорах. Наташа однажды не выдержала и спросила мужа о несуществующем тесте. *Погиб на фронте*, сказал Валерка с кривой усмешечкой – так он отзывался о своих пациентках. Наташа собралась было выразить приличествующее соболезнование, как спохватилась: Валерка родился больше чем через десять лет после конца войны... Что ж, в ее собственной семье отца тоже не слишком замечали. Он приходил домой, снимал сапоги, вешал китель в шкаф – дослужился до майора, – молча ел, отправлялся за ширму. Потом он умер.

Понемногу Наташа стала с ужасом убеждаться, что тихо ненавидит эту совершенно безобидную старуху. И ужасалась тем больше, что считала себя, быть может, и не добрым до бессловесности, но незлым и *толерантным* – она знала такое слово – человеком. Поэтому теперь все время, что она проводила в семье, все душевные силы Наташа тратила на то, чтобы скрыть это свое злобное чувство к свекрови, чтобы не дай Бог Валера ничего не заметил.

Тот, к несчастью, все замечал. И тем более отдалялся от Наташи, тем более ласков бывал со старухой. Но однажды Наташу вдруг озарило: он так нежен и предупредителен с матерью, потому что ждет, когда та умрет.

Наташа все чаще уходила в общежитие – *заниматься*, днями лежала ничком на кровати, Полина, уже вернувшаяся из своего скоропалительного брака, подавала сердечное. Наташа много плакала и говорила себе, что больше *туда* не пойдет. Валерка же принялся раз в неделю загуливать – вернулся к холостяцким привычкам, дома не ночевал по две ночи кряду. Наташа то злилась и ревновала, то терзалась угрызениями совести, что она плохая жена, пугалась: ей казалось, что, кроме Валерки, у нее нет никого-никого. В известном смысле это так и было – не считать же близким человеком сосредоточенную на себе Женьку: та пошла на практику в АПН и стала жить со своим руководителем – лет на тридцать ее старше похотливым женатым мужчиной, уже дедушкой. А мама далеко, и они, такие когда-то близкие, постепенно становилась почти чужими... И, думая обо всем этом, Наташа плакала еще горше, бывало нестерпимо одиноко и жаль себя.

Если Валерка пропадал, то Наташа из комнаты не выходила, ей было стыдно Фире, хотя та, казалось, ничего не замечала. И это тоже было невыносимо. Иногда Наташа бросалась на розыски мужа, приходила в общежитие *второго меда*, куда водил ее когда-то Валерка, подчас действительно заставляла его там, и тот покорно шел домой, ведомый молодой женой.

Иной раз Наташа вытаскивала мужа из нижнего буфета Домжура – он пьянствовал там с какими-то *творческими людьми*, замухрышистого вида не то литераторами, не то журналистами. Однажды она долго стояла в дверях, и в полумраке буфета Валерка не видел ее. Да и не смотрел по сторонам: он был не совсем еще в стельку пьян, но уже на взводе и упоенно декламировал собственные стихи каким-то обшарпанным личностям, которых скорее всего сам же и угощал водкой с бутербродами. И Наташе стало его жалко до спазмов в горле, и она, в слезах, горько думала *как он несчастен со мной...*

Однажды в пылу таких поисков она пыталась разыскать у Валерки в записной книжке телефон того самого Георгия, в мастерской которого когда-то Валерка сделал ей предложение. Дело в том, что муж подчас ссылаясь – заночевал, мол, у Гоги. Листая книжку, Наташа зачиталась было – книжка пестрела женскими именами – и тут сообразила, что в мастерской телефона наверняка нет. За все время брака они были у Георгия один или два раза, причем приняты были как-то холодно. И быстро уходили. И вот теперь, когда Валерки не было уже двое суток, Наташа решила: она поедет.

Что она надеялась там найти, она и сама не знала, но заволновалась очень. С дрожью рук Наташа долго красилась перед зеркалом, потом разглядывала свои ногти – ничего, лак еще держится, – потом ловила такси, ее бил озноб, пока она ехала на Сретенку. Никакого Валерки, разумеется, в мастерской не было. Георгий был один. Они выпили. Наташа не помнила, как все получилось. Потом Георгий сказал, пока она смятенно шептала *мне пора и судорожно нащупывала молнию на боку, чтобы застегнуть юбку: куда тебе идти, оставайся.*

И действительно, с изумлением и ужасом поняла Наташа, этот славный грубоватый человек был прав, идти ей, в сущности, было некуда.

Глава 8. Второй муж

В загсе, пока их разводили – скоренько, за тридцатку, ни общих детей, ни общего имущества, – Валерка прослезился. В последнее время это с ним часто случалось и по гораздо менее торжественным случаям. Но, быстро просохнув, как ни в чем не бывало заявил, что *это дело надо обмыть*. Наташа подумала: легкий человек. *Слишком.*

Сама она, конечно, тоже волновалась и тоже поплакала: ей было себя жалко, *впустую потратила столько лет*. Последнее было сентиментальным преувеличением – счет в данном случае на годы не шел. Но и испытывала самое настоящее облегчение, гора с плеч, она только теперь поняла, как тяжело и несчастливо жила последнее время. Хорошо хоть ей хватило ума не сказать маме, что выходила замуж, – о самом факте присутствия в ее жизни Валерки мама знала, проболталась Нелька, когда приезжала в отпуск. Мама разволновалась, Нельку расспросила, что да как, тоже поплакала. А дождавшись еженедельного звонка дочери, только и сказала: *хорошо, бабушка не дождала, а отцу я ничего не говорила...* Дура все-таки эта Нелька, недаром училась на одни тройки.

И, обретя свободу, Наташа собрала немудрящие свои пожитки – кое-что, впрочем, оставалось в общежитии (Валерка, помнится, возмущался: жена она или не жена, нужно перевезти все, но потом как-то забыл, эта тема вылетела у него из головы). А собравшись, переехала в мастерскую Георгия, до такси, давно перестав плакать и выпив по такому случаю, чемодан донес благородный Валерка собственноручно. И Наташа оказалась на чердаке, под самой крышей огромного дореволюционного дома, *вознеслась*, по язвительному слову Валерки.

Чтобы добраться до мастерской Георгия – друзья звали его Гога или Гоша, в зависимости от близости и качества знакомства, Наташа остановилась на Гоше, – нужно было одолеть восемь этажей по задней, черной, лестнице – такие до революции делали для прислуги, – а потом, баланси-

руя, пройти по доскам, положенным на кирпичи, и пересечь целый отсек чердака. Здесь отчего-то всегда стояла вода по щиколотку, и шныряли крысы. У низкой двери, обитой листовым железом, отстававшим ржавыми клоками, были приколочены к стене пожарная совковая лопата и спертая где-то табличка *не влезай, убьет*: инсталляция, не иначе. Пройдя все испытания, Наташа оказывалась наконец в относительном уюте.

В мастерской было совсем неплохо. Пахло масляной краской и разбителем, стояли повернутые лицом к стене холсты, имелся большой круглый стол – больше Фириного, персон на двадцать, – на нем вечно валялись листы с набросками, сдвигаемые в сторону, коли выставлялись бутылки и резалась колбаса; обок на лавке выстроилась целая выставка утюгов, подобранных на помойке, – *коллекция*.

Спать надо было на тесных полатах, к которым вела шаткая лесенка, – на *антресолях*, говорил Гоша. Когда они занимались любовью, Наташа иногда, забывшись, больно ударялась головой в потолок.

Впрочем, художник заниматься любовью не слишком любил, вопреки распространенному предрассудку насчет выдающейся пылкости грузин, делал все быстро, наспех, – любил друзей, застолие, разговоры. И свою работу, конечно. Валеркиной любовной техники у него и близко не было, Валерка такой торопливый секс назвал бы *походным*. Впрочем, и грузин-то Гоша был какой-то, на взгляд Наташи, сомнительный, внешности вполне славянской. И с русской же фамилией Кузнецов.

Помимо пространственного контраста, разной *этажности*, как говорят строители, и разницы в делах любовных, было еще много чего, что резко отличало жизнь Наташи с Валеркой от жизни с Гошей. Во-первых, не стало свекрови Фиры, и это для Наташи было настоящим праздником. Но многое другое было не так радужно. Валерка, хоть пьяница и гуляка, был чистюля до некоторой даже мании, тогда как Гоша не отличался гигиеничностью – при том, что душ в мастерской был, – мог неделю ходить в одной пропотевшей рубашке, пока Наташа не заставляла поменять, вылезал из нее с неохотой, говорил *мне в ней удобняк работать*.

И образ жизни у них был разный.

Если Валерка привык жить жизнью внешней, общаться, так сказать, на выходе, экстравертно, то Гоша, напротив, мог неделями не спускаться со своего чердака, люди сами приходили к нему, неся выпивку и *закусон*: в еде, как и в любви, художник был неприхотлив. Поскольку на чердаке не было телефона, люди шли косяком в любое время дня и ночи, самотеком, так сказать, и всем Гоша неизменно бывал рад, этой его неразборчивости Наташа поначалу дивилась. Приходили и мужчины, и женщины, причем многие оставались ночевать: на полу под мольбертом, по лавкам вперемежку с утюгами, некоторые пьяные девицы норовили даже нырнуть в супружескую постель. Однако к приходящим женщинам Наташа не ревновала, хоть и были это, наверняка, бывшие пассии хозяина, – знала Гошино в этом деле не равнодушие, но ленцу. А может быть, за время жизни с Валеркой Наташа просто устала ревновать.

И еще: Гоша сразу же объявил, что *по загсам не ходок*, что вообще *в гробу видел советские учреждения*, так что Наташа все время, что здесь прожила, была гражданской женой и, втайне считая своего полковника *третьим* мужем, несколько лукавила, строго говоря, против официального счета и реального положения дел. Ну да это как считать, тем более что Гоша всегда представлял ее *моей женой*, и Наташа смирилась – художник.

Гоша был добряком и самодуром одновременно: мог наорать, а через секунду лез с поцелуями, приговаривая *Тата, Тата, где наша ямочка*, – так Наташу называла когда-то только мама. Иногда, когда Наташа обращалась к нему с чем-нибудь бытовым, а тот пребывал в задумчивости, Гоша вдруг мог обернуться и произнести чуть не по слогам, с каменным чужим лицом, почти с ненавистью: *ты мне мешаешь думать*. И в такие минуты она его не узнавала, такого славного и близкого. И пугалась.

В первые месяцы их жизни Гоша все писал с нее портреты. Причем от часа к часу, от сеанса к сеансу становился все требовательнее и привередливее. Заставлял ее позировать в каких-то немислимых шляпах, в жеманных искусственных позах, Наташа спросила как-то, *откуда шляпки-то*, ответил, ернически ухмыляясь: *приданое*. Когда дело дошло до ню, Наташа было взбунтовалась, но получила под нос альбом Модильяни, смирилась, хоть и стыдилась, мерзла... Тогда еще не в ходу было определение *эстетический садизм*, как, впрочем, и *мужской шовинизм*. Однако, глядя на то, что выходит из-под кисти Гоши после таких сеансов, твердила про себя: *издевательство*, но – благоразумно – не вслух.

Наташа часто сравнивала Гошу с Валеркой, теперь она могла это делать, видя положение дел, так сказать, изнутри. Но так и не смогла понять, какая модель для нее лучше. Честно говоря, поскольку этими двумя мужчинами исчерпывался ее семейный да и вообще любовный опыт, она решила, что *мужики все такие*, как при случае говаривала Нелька. А та же Женька еще и добавляла: *да что на них внимание-то обращать*.

Однако Наташа любила мужчин и обращала на них внимание. Любила не в том смысле, что была любвеобильна, – Наташа, как и многие женщины, по сути была однолюбка, – а как подвид человека, очень важный в природе и в жизни. Конечно, пусть они все как один пьющие, эгоистичные, не без капризов, заикленные на своей гениальности, но при том весьма общительные, подчас веселые и остроумные. И на том спасибо, что нескучные. А главное – с ними было хорошо, защищенно, и они при этом подчас вызывали жалость и нежность, и их в свою очередь хотелось приласкать и защитить... Разницу, конечно, можно было заметить: Валерка все-таки был относительно приспособлен к жизни, нынешний же – совсем не от мира сего.

А с одного прекрасного дня Наташе и вовсе сравнивать стало очень даже сподручно: Валерка, будто заблудившись, в один прекрасный вечер пришел на чердак с бутылкой, а Гоша как ни в чем не бывало весело скамандовал: *наливай!* И потом: *Татка, у нас там пожрать осталось?* И Валерка подхватил: *накатывай*. И они выпили, и похлопали друг друга по животам, глупо похохатывая.

Валерка стал бывать у них в мастерской что ни день. Порой, нализавшись, ухлестывал за бабами – Наташа сердилась. Он опять стал неперменным другом дома, будто между ними троими ничего никогда и не было. Но, несмотря на то что был в этой симметрии для Наташи какой-то даже уют, она день за днем стала все больше раздражаться, особенно когда оба мужа принимались жарко спорить об искусстве и политике. Нет, чтобы сцепиться из-за нее, надавать один другому по морде!

К концу зимы, проведенной на чердаке, Наташа стала будто задыхаться, подчас выбегала по мокрым доскам, пугая крыс, которых уже научилась не бояться, стремглав преодолевала восемь этажей по обшарпанной, с крошащимися ступеньками, с рушащимися перилами лестнице, пока ни оказывалась на оттаявшем уже бульваре. Бухалась на лавочку и, отдышавшись, принималась думать.

По всему выходило, что она совсем заплутала и заблудилась и надо из всего этого выпутываться. Но она не знала – как. Она, вспоминая бабушку Стужину, думала о том, что ее все-таки учили относиться к жизни, как к ответственной задаче, как к обязанности человека. Как к необходимости ежедневно *строить жизнь* – мать так и говорила: ну, с этим-то жизнью *не построишь*. А ее молодые мужья как раз ничего не строили, хоть и закончили свои институты, один – медицинский, другой – Суриковский, были каждый в своем деле умельцы. Но именно ответственности им и не хватало, все как-то тяп-ляп: – если так строить даже сарай, и то рано или поздно крыша может рухнуть на голову.

Отчего так – Наташа не знала, но был для нее в этом их богемстве, в стремлении жить табором, привкус саморазрушения. Она же к жизни относилась благоговейно, к любой жизни, и если б когда-нибудь ей пришла в голову мысль

о самоубийстве, она содрогнулась бы, отшатнулась в ужасе и отвращении. И теперь Наташа недоумевала, как же она могла так долго все это терпеть. Наверное, при ее воспитании вся эта мужская необязательность ее и повлекла, этот плод ей оказался сладок с непривычки, ведь прежде такого в ее жизни никогда не было... *И не будет*, с твердостью говорила себе Наташа.

Той смуглой весной она и повстречала своего лейтенанта. Своего будущего полковника.

Глава 9. Замужем

Теперь-то, спустя двадцать лет, ей было сладко поминать свои *безумные* молодые годы. Стеснясь и хорохорясь перед самой собой, вспоминала, как приладилась наставлять рога обоим своим мужьям. Впрочем, с грустной честностью констатировала Наташа, оба этого совершенно не замечали. А если бы и узнали, наверняка не придали бы должного значения. Хотя, быть может, и выгнали бы с чердака. В конце концов от девиц, желающих похозяйничать в богемной мастерской, где обретались молодые и щедрые, веселые мужчины, в те годы отбою не было.

Однако дело сложилось само собой. Со старшим лейтенантом Владимиром Брезгиным Наташа познакомилась, как это ни смешно, в Ленинской библиотеке. Дело в том, что, хоть и жила она жизнью нервной, диковатой и разбросанной, однако все ж таки ухитрилась за это время получить диплом, сдать кандидатский минимум и проскочить в аспирантуру к своему же кафедральному руководителю. А старший лейтенант Брезгин, слушатель Военно-инженерной академии, как оказалось, не довольствовался имеющейся в его учебном заведении специальной литературой, самообразовывался, расширяя свой кругозор, вплоть до чтения Камю. Вот так они и встретились впервые взглядами – в читальном зале, каждый со своей настольной лампой зеленого стекла.

У молодого офицера были, что называется, *открытое лицо и добрые глаза*. И это – не фигура речи: старший лейтенант Брезгин, действительно, был и добр, и романтичен. И несмотря на молодость очевидно основателен – что-то от покойного отца померещилось в нем Наташе. Наличие *церафимии ценностей*, как принято было говорить на университетских семинарах в те годы: ведь это было, когда Андреев читал про сюрреалистов, а Мамардашвили – о Прусте. Наташа кое-какие лекции посещала, конспектировала, но понимала мало.

Их роман был ясен до геометричности, как советская *лирическая комедия*: прогулки по весенним лужам, цветы при свидании у *памятника*, робкие пожимания рук в темном зале кинотеатра *Россия*, поцелуи на лавочке в парке недалеко от университетского общежития, импрессионисты в Пушкинском, конечно, первое приглашение будущего полковника в гости и знакомство с целомудренной Полиной; некоторое ускорение по части растегивания кофточки и проникновения под подол на той же лавочке, взаимное признание в любви – сперва он, потом она *я тебя тоже*, помолвка в круту слушателей Академии – Полина и Женька были приглашены, разбитная Верка, разумеется, нет; первое робкое соитие – через два с лишним месяца после знакомства – в его коммунальной комнате, – лейтенант Брезгин подгадал, чтобы в квартире не было соседа; поездка к его маме в Расторгуево, холодец; перелет в Свердловск к ее маме, домашние пельмени; свадьба с фатой в ресторане гостиницы *Университетская* – в одном комплексе с *Балатоном*, где некогда давали виски *Клуб-99*; первая беременность – при Валеркиной хватке ни разу от него не *залетела*, и от Гоши отчего-то не беременела, начала даже волноваться, ходила к врачу, сказали, что у нее все в полном порядке. И выяснилось – да, действительно, в полном...

Так и прожили два десятка лет: первые роды, капитан научился гладить пеленки, подкапчивали на то да се, защита кандидатской, банкет в

той же *Университетской*; запомнился праздник: когда получил майора, купил Наташе кухонный комбайн (ГДР); первый цветной телевизор, цветной в том смысле, что фиолетовый с зеленым, – *Рубин*; машину *Жигули* третьей модели выбирали подгода – все ходили с заветной открыткой, но нужного цвета не было; отдельная квартира – сразу двухкомнатная, и это нужно повторить: *отдельная квартира*; вторая беременность; доцентура; гарнитур дорогой, красивый – сережки и колье; пылесос *Сименс* и стиральная машина *Бош*; дали подполковника и земельный участок восемь соток; *Ауди*, дачка, клубнику сажать не стали – газон; первое пересечение границы – Турция по туру, ничего особенного; переезд в трехкомнатную в Митино – кругом лес да поля, метро нет, потому – подержанный *Жигуль-семерка* для Наташи, в семье стало две машины; гарнитуры на кухню и в спальню (Италия), гамак на дачу, телевизор и видеомагнитофон *Сони*; гараж кооперативный в трех остановках на троллейбусе; мойка с сушилкой, ванна с *крошкой* – под мрамор; застеклили лоджию, кресло-качалка и ложный камин; ковры в комиссионку – у младшенькой аллергия, а паркет еще при заселении отциклевали; из духовного: театр раз в месяц – Таганка, запомнилась премьера *Мастера*, острота Володи *спонтан Пилат* – смеялась, хоть и не показалось остроумным, это еще когда жили в двухкомнатной; импрессионисты по старой памяти – но теперь уже *пост*; подписка на *Новый мир*; когда Володя прочел *Котлован*, ходил мрачный – пробрало, но *ГУЛАГ* читать отказался, из *Красного колеса* – *Август*, жалел генерала Самсонова; по видео – *Дневная красавица*, Женька дала кассету – взяла у шефа, Наташа была без ума, Володя морщился, ревновал, пожимал плечами, *бабенка-то так себе*, но был застигнут при втором, тайном от нее, просмотре; книги же читать почти не успевали – диссертация съедала силы; под Новый год – Рязанов, хоть и соглашались, что ерунда, но смотрели с удовольствием, *ко мне мой лучший друг не ходит*; Володя еще любил Гайдая, *Ивана Васильевича* смотрел десять раз; однажды пошли с девочками в *Третьяковку*, долго стояли перед Ивановым, какие-то иностранцы без экскурсовода недоумевали – что это, объяснила: *Эпириенс оф Крайст ту зе пипл* – поняли, сама поразовалась, не совсем язык забыла; Володе понравился *Демон*; слушали музыку – концерт Мендельсона для фортепьяно с оркестром, цыган – это уже когда появились CD, потом уж старшая – *Дип пёпл*, что ли, никак не загнать заниматься... И как-то все так складывалось, что на многое времени не оставалось, Женька позвонит – *а читала это, а видела то*, – разлюбила с ней разговаривать; и многое как-то выветрилось и позабылось, и желание уже было не то – уставала, и любопытство притупилось – закрыть бы глаза, лежа в тенечке на даче с раскрытой Марининой на груди, и приятно расслаблять поочередно одну ногу, другую, одну руку...

Тут-то и принесла Зоя эту самую весть, что так круто надломилась Наташину пусть и не совсем счастливую, но спокойную и размеренную жизнь.

Глава 10. Опять первый муж

Наташа, получив эту диковинную новость, хотела было отмахнуться: мол, глупости, вот и подружки ни о чем не знают. Но тут она вспомнила давнишнее предсказание цыганки и затревожилась, занервничала. В возбуждении она купила настоящую елку, хоть в стенном шкафу и пылилась дорогая нейлоновая, распаковала ящик с игрушками, старая гирлянда лампочек не горела – купила новую, разноцветномигающую красным, зеленым, желтым и фиолетовым глазами. Накупила заодно и мишуры. И даже старшая ахнула, увидев такую красоту, но с напускной небрежностью обронила *что, у нас праздник*, это у них, у нынешних подростков, была, наверное, такая мода – на нигилизм. Однако в этот же вечер после душа дочь напялила старую толстую отцовскую рубаху, забралась с ногами в кресло под торшер – значит, никуда не пойдет, – и в доме стало уютно. Старшая любила отцовс-

кие рубахи, рукава не подворачивала, а сжимала края в кулачках; Наташа понимала – из неосознанной ревности, оттого что отец младшую больше любит. Она поцеловала дочь, но какое-то дурное предчувствие охватило ее...

К Валерке она отправилась, когда до Нового года оставалось три дня, – после лекции. Стояла отвратительная оттепель, сыкотно, город в ранних сумерках был сыр и сер. В тот день Наташа машину не взяла, лень было ехать в гараж, заводить, выводить, запирать – поехала на метро на «Боровицкую». Обогнув Румянцевскую библиотеку – здесь когда-то она и познакомилась с Володей, библиотека тогда была еще *Ленинкой*, – она вышла на Калининский и дошла до *Военторга*.

В последние годы Наташа редко бывала в центре: в институт – или на метро из Митина до Вернадского, не поднимаясь на поверхность, или в машине, но тогда – по третьему кольцу... Вид *Военторга* ее поразил. Здание было укутано грязной какой-то тряпкой от фундамента и до крыши, сквозь марлю просвечивали пустые дыры бывших огромных окон. И в этом Наташе почудился недобрый знак. Она заколебалась, заволновалась, ей отчего-то стало жаль *Военторга*, хотя она никогда не любила этот магазин: не потому, что военный, просто когда-то здесь был ближайший к их с Валеркой дому водочный отдел. Теперь же жалкий вид здания, когда-то нарядного, с блестящими витринами, в которых были представлены формы разных родов войск, сверкавшие амуницией и кокардами, был неприятен. И стало очень жаль молодости, и показалось вдруг, что жизнь прошла. А ведь она никогда об этом так не думала, запрещала себе так думать: еще столько планов, столько несделанного...

Наташа завернула за угол и с удивлением узнала, что и улицы Семашко больше нет. Есть Большой Кисловский переулок, и это тоже ее расстроило: ну да, она стала такой, как некогда старорежимные московские старушки, которые не могли взять в толк, что Охотный ряд больше не существует, а есть отчего-то проспект Маркса. Над такими бабушками тогда, в дни Наташиной молодости, посмеивались. А теперь она сама не может привыкнуть к новым-старым названиям, и приходится напрягаться, чтобы сообразить: Остоженка – это Кропоткинская или это бывшая Метростроевская?

Наташа медленно пошла по переулку, в темных лужах поверх не убранных дворниками наледи, и тут легкая рябь страха легла на сердце: как будто она поймала себя на том, что у нее мутится разум, – она не могла найти ничего, что так хорошо знала когда-то. Это было ужасное чувство: память отказывала ей, она не узнавала таких знакомых для нее мест, ее охватило смятение. Чуть не в панике она прошла переулок в один конец, дошла до Герцена, потом вернулась почти бегом, однако знакомого дома нигде не было. То есть какие-то дома в лесах стояли на местах, но между ними были неряшливые пустыри, готовившиеся, должно быть, под новую застройку.

И вдруг в одном из таких прогалов она с радостью узнала – дерево. Только оно стояло будто не там, где ему было положено стоять, но это было хорошо знакомое ей дерево: то ли липа, то ли тополь, Наташа совсем не разбиралась в ботанике. Скорее все-таки липа.

Нигде не было дома, на углу которого эта липа росла, а само дерево было цело. Наташа подошла ближе, взгляделась – сомнений быть не могло. Она потрогала ствол, потом сняла перчатку и провела голой ладонью по шершавой сырой коре – дерево тоже постарело. И тогда, будто долго крепилась, Наташа со щемящим облегчением заплакала.

Опершись спиной на ствол и всхлипывая, Наташа поняла, что Фиры, как и дома, тоже наверняка больше нет на земле, а ведь когда-то она ушла, не попрощавшись со свекровью. И жив ли сам Валерка? Да нет, он совсем молодой еще мужик...

В этот сентиментальный момент неожиданных воспоминаний и сожалений Наташа и не подумала, что, если Валерки уже нет на свете, это сразу решило бы все ее проблемы. Но сейчас, когда Валерка представился ей весь – молодой, щеголеватый, подвижный, с этой своей циничной ухмылочкой, –

она еще пуще заплакала, уже от неожиданной нежности. А угрев щеки платочком, заторопилась: ведь надо же искать его, искать, через справочную, как угодно! И вдруг сообразила, что невеста где эта справочная, да и дают ли там такие справки. А вот узнать все у Гоши было бы проще всего...

Она не созналась себе да и не думала об этом, что решила найти Гошу, его мастерскую в большом доходном доме стиля модерн, чтобы убедиться: хоть что-то осталось на месте. Что не все, близкое ей когда-то, исчезло, пока она, не оглядываясь назад, прожила целых двадцать лет. И, может быть, жив все-таки ее первый муж, да, первый муж.

Она почти добежала до Арбатской и в начале Суворовского поймала частника. И вспомнила, что точно таким маршрутом и таким же манером она когда-то ушла к Гоше от Валерки с сумкой и с чемоданом. *Точно таким манером и маршрутом...* И это тоже ее напугало: будто прошлое, гонясь за нею, надвигалось неумолимо, чтобы смять все то, чем она, в уюте и огражденности, жила многие последние годы. Даже остановившийся частник на помятых и ржавых *Жигулях-копейке* показался ей знакомым: та же кепка, тот же нависающий над губой нос, то же нахальное с кавказским акцентом *сколько будем стоим, хозяйка?*

Пока ехала в машине на заднем сидении, Наташа точно так, как тогда, попудрилась, подкрасила губы, поправила волосы. Посмотрела машинально на руки. Ногти, конечно, были ухожены не в пример далекой бедной молодости... Немного успокоившись, Наташа остановила машину, расплатилась, вышла на Сретенском бульваре.

Бульвар тоже перенес немалые изменения: теперь машины шли там, где прежде гуляли люди. Но – чудо! – ее лавочка, на которой некогда она приняла столь важное, столь непоправимое решение, оказалась ровно в том же месте: она хотела было присесть, но стало жаль новую дубленку.

И на своем месте стоял дом, огромный, как прежде, – с эркерами, с ложными колоннами, и во многих окнах уже горел свет. Она прошла в арку – арка тоже была на месте, вот и дверь на черную лестницу. Дверь – это, конечно, громко сказано, так – калитка, по-прежнему болтавшаяся на одной петле. На лестнице было темно, воняло человеческими отправлениями и кошачьей мочой. И Наташа подумала, что, наверное, кошки распугали здесь крыс. Стало не так страшно.

Поднималась она долго, почти на ощупь, несколько раз оступилась, схватилась было за перила, но те опасно накренились. Это, несомненно, были *те самые* перила, которые и двадцать лет назад уже были неверны и качались... Откуда-то сверху пролился свет, стали слышны громкие голоса. Когда добралась до чердака, то поняла, что и свет и голоса были из той самой мастерской. Она приблизилась к заветной двери, волнуясь до стука в висках, – не подскочило бы давление. И еще подумалось: а что если здесь теперь чужие люди?

По давно забытой привычке, по наитию – когда-то Наташа из суеверия всегда так делала – пошарила рукою справа от косяка: лопата была на месте...

И Наташа вошла.

Глава 11. Опять второй муж

Наташу – так, во всяком случае, показалось – никто не заметил. В мастерской был в разгаре широкий пир. Шумная и пестрая компания увлеченно выпивала, сидя за круглым большим столом – *тем самым*; какой-то кавказского вида молодец лет под сорок в тот момент, когда Наташа переступила порог, темпераментно жестикулируя бокалом, полным красного вина, говорил тост: было заметно, что он крепко навеселе. Быть может, сообразила Наташа, это тамада, уж больно громко он говорил.

Наташа так и стояла на пороге, когда какая-то тетка – Наташиных лет, может, чуть постарше – поманила ее рукой, достала откуда-то снизу табу-

ретку, усадила рядом с собой, с напором приговаривая *всемместа хватит*, – в любой большой компании есть такие гости, обуянные идеей обустройства чужого праздника; тетка поставила перед Наташей тарелку и рюмку, которую тут же и наполнила водкой. Наташе тетка показала смутно знакомой: да, конечно, это была одна из тех девиц, что вечно толклись в этой мастерской еще в Наташину здесь бытность. Но, Боже, как постарела, крашенная, а корни волос седые... Интересно, узнала ли тетка ее, Наташу?

Тревожно пробежав глазами по пьяноватым лицам гостей, Наташа наконец увидела *своего* Гошу. Тот сидел наискосок от нее, но не в самом центре; вальяжно откинувшись – какая-то немолодая дама, крашенная иссиня-черной краской, с задранным острым носом и одетая не по возрасту в ярко-оранжевый пиджак, почти загоразивала Гошу, оттого Наташа и не сразу его увидела – Гоша молча улыбался. Наташа так внимательно разглядывала пожилую курносую даму, потому что сначала приревновала Гошу к ней, а теперь увидела, как с другого бока к Гоше льнет молоденькая смазливая женщина – наверное, это и была, так сказать, Наташина сменщица.

Гоша почти не изменился. Погрузнел, конечно, поседел, отпустил артистические кудри – в Наташино время он стригся коротко, – и седые кольца свисали по его раздобревшим щекам, придавая лицу и вовсе невинное, в сочетании с румянцем от выпитого, выражение; но он сохранил все те же неспешные жесты, и добродушная улыбка была та же. Наташу неприятно удивило, что на голове у Гоши была яркая аляповатая бандана с зелеными растениями – такие носят неуверенные в себе юнцы. Наташа знала, что побегу эти изображают коноплю, почти в такой же щеголял один из приятелей старшей дочери. Впрочем, повязка даже шла Гоше.

Наконец, и он заметил Наташу, не удивился, а сказал громко, ни к кому, впрочем, не обращаясь: *вот и Тетка пришла!* Будто не было этих двадцати лет разлуки, будто всякий день они говорили по телефону, будто в эту мастерскую она время от времени заглядывала – как своя. И Наташа не знала: обидеться ли ей или порадоваться? Она только улыбнулась застенчиво и тихо произнесла: *да, это я*, – а Гоша приложил руку к сердцу и сделал жест в ее сторону. Наташа быстро отвела взгляд, потому что почувствовала, как ее глаза задрожали от волнения; взяла рюмку и выпила, хотя водки давно не пила; попыталась вслушаться в слова тоста, который продолжал говорить кавказец. И вдруг совершенно растерялась, обессилела, поскольку неожиданно поняла из по-восточному витиеватого тоста джигита, что повод сегодняшнего застолья – получение Государственной премии. И премию эту получил Гоша. *Ее Гоша*, о котором злые языки судачили, что, мол, спился, перестал работать и сошел с катушек. Оказалось – все ложь, вполне себе он на катушках. И она, Наташа, сложись жизнь иначе, могла бы сидеть сегодня рядом с ним, и по праву разделять его триумф, и принимать поздравления. Она, а не смазливая сменщица... И тут под общее громкое *ура* гости вскочили с мест, стали тянуться к виновнику торжества, кто ближе – лез целоваться; Гоша громко говорил *ладно, ладно, господа, будет, что мы – государыню не брали*; и Наташа тоже встала и сказала негромко в воздух свое *поздравляю*. Но никто ее не услышал, конечно. Гоша говорил, обращаясь к оратору: *ты Везувий, Гоги, настоящий Везувий!* Почему Везувий – Наташа не поняла... Все уселись, застолье пошло своим чередом. Стало шумно. Какая-то морщинистая дама с комсомольским задором все кричала *надо Ваське позвонить в Америку!* Но даму никто не слушал. Кто такой Васька, Наташа не знала, зачем ему звонить – тоже не понял, а опрокинула еще рюмку, потом еще одну; на тарелке у нее оказалась селедка под шубой, она съела и селедки.

Тут произошло маленькое смешное событие: тамада, совсем упившись, упал лицом на стол, опрокинув при этом свой бокал с вином. Кто-то откомментировал: *был Везувий, а теперь Помпея*. Все захохотали, и Наташа вместе со всеми, со стыдом понимая, что уже не совсем трезва. Она спохватилась, что не помнит, зачем, собственно, пришла, – так было ей тепло среди этих громко кричащих людей: наверное, потому, что было заметно, как все здесь

друг друга любят, и как искренне радуются за Георгия. Так, во всяком случае, Наташе стало казаться... И тут она вспомнила: ну да, она же пришла узнать новый адрес Валерки. Но вспомнить, зачем ей понадобился Валерка, она тоже уже не смогла.

Появилась гитара, и кто-то, отчего-то в сомбреро, запел *A на нейтральной полосе цветы*, и все присутствующие тоже хором запели, и вдруг стало заметно, что все эти люди отчаянно не хотят стареть, а хотят хоть ненадолго – назад, в прошлое и в молодость. Но видно было, что получается это у них неважно, не слишком натурально. Впрочем, Наташа тоже с энтузиазмом подпевала, вот только на втором куплете слова иссякли – никто уже не помнил этих старых слов, поэтому повторили кряду раза три припев, и хор сам собой распался... Наташа почувствовала, что кто-то обнимает ее сзади за плечи, дышит в ухо, и по этому дыханию она узнала Гошу и даже чуть поехала – насколько же она его не забыла. Она обернулась, сказала еще раз *поздравляю* и прибавила зачем-то совсем глупое *не знала, что ты такой знаменитый*.

Ладно, Татка, сказал Гоша, *ты-то как сама?* И Наташа открыла было рот, чтобы сказать – как она и чем-нибудь похвастаться, – дочками, чем же еще, не званием же доцента, – но Гоша уже говорил с кем-то через стол, а потом кто-то протянул ему зажигалку, потому что он держал во рту незажженную сигарету. И Гоша сказал, затаившись и отвернув лицо, чтоб не выдохнуть Наташе в нос: *знаешь, сейчас модно разводиться страусов*. Каких страусов, зачем страусов? *Они несут, понимаешь, Татка, во-от такие яйца!* Кто несет, куда, какие яйца? *Представляешь, на Пасху можно наклеивать на них аппликации – жизнь Иисуса в картинках и делать роспись*. Какие аппликации? Наверное, Гоша сильно пьян... *И вот, Татка, мы с тобой чокаемся разноцветными страусиными яйцами – как думаешь, чье первое разобьется?* И тут Наташе предательски захотелось зареветь. *Давай похристосуемся, Татка, и все забудем*.

– Сейчас не Пасха, – выговорила Наташа и икнула.

Гоша пристально взглянул на нее и молвил: *подожди*. И исчез.

Наташа выпила еще рюмку, потому что соседка нежданно ее узнала, после того, видно, как к ней подходил Гоша. Принялась нести обычную в таких случаях околесицу, мол, помнишь того, а помнишь этого, и потом брякнула бестактное *ты была такая хорошенькая. А ты и тогда не была*, хотела срезать ее Наташа, но промолчала; поднялась и нетвердо направилась в туалет.

Неожиданно Гоша перехватил ее, увлек на кухню, приговаривая: *нашел*. Наташе представилось, что Гоша сейчас обнимет ее, как когда-то, на этой самой кухне, и поцелует, но вместо этого он вытащил из нагрудного кармана рубашки какую-то открытку. *Вот, держи, здесь для тебя привет. И обратный адрес...* И посмотрел на Наташу насмешливо, как ей показалось.

Наташа протянула руку автоматически, взяла открытку, поражаясь: как мог Гоша все угадать? Не мог же он знать про Указ. Или мог, быть может, уже опубликовали? И, стыдясь, кивнула. *Ну вот, оставь себе*, сказал Гоша и еще раз заглянул ей в глаза – теперь, кажется, с некоторым даже сочувствием. И отвернулся, пошел к гостям.

Наташа посмотрела на лицевую сторону открытки – там был изображен кактус, обвитый, как рождественская елка, гирляндами лампочек. И подпись Merry Christmas. Перевернув открытку, Наташа узнала Валеркин почерк: четкий бисер, всякая буква отдельно. Руки ее задрожали. Она посмотрела на обратный адрес, написанный не как у нас, внизу, а сверху. Открытка была из Мексики. Наташа не поверила, попыталась разобрать дату на штампе, унимая дрожь, а то буквы так и прыгали. Выходило, что открытка пришла не к нынешнему Рождеству, а к прошлогоднему. Может быть, Валерка был в это время в Мексике как турист, вот и послал... Но нет, обратный адрес был не отель, а город Мехико. И начинался он с Valeriy Adamsky.

Наташа достала очки из сумки и пробежала глазами мелкий текст. После дежурных поздравлений и пожеланий, после какой-то только ее быв-

шим мужьям понятной хохмочки, смысл которой не дошел до Наташи, в открытке была приписка: «Если увидишь мою, передай привет из-под кактуса. Я часто Наташку вспоминаю. Даст Бог, еще свидимся. Думаю, Бог даст, он же всемогущ». Наташа как стояла, так и опустила на табуретку. Выронила открытку: *мою*. Но опомнилась, быстренько подняла, сунула в сумочку.

Глава 12. Неужели ехать

Утром в квартире Наташа осталась одна – муж ушел на службу, девочки разбежались по учебам. И всю первую половину дня Наташа провела перед зеркалом. Грустно усмехнулась, когда услышала, как по телевизору какая-то певичка отвечала интервьюерше на вопрос о шейпинге и о тренажерах: *иногда увидишь у себя изъяны, здесь лишнее и здесь лишнее...* И Наташа вскользь подумала – не без раздражения, – что редактор мог бы и поправить: *изъяны* – это не когда лишнее, а когда чего-то не хватает... И, разглядывая свое постаревшее лицо, Наташа поняла, что она сейчас в критическом, последнем женском возрасте, когда еще сегодня все может случиться, а завтра уже будет поздно... Наташа достала заветную открытку, аккуратно переписала мексиканский адрес в записную книжку. Быть может, написать ему и он прилетит сам? Но эта мысль отчего-то не показалась Наташе удачной.

Чтобы отвлечься, она решила сделать маникюр и позвонила Зое. Сосед-старик взял трубку, долго и неразборчиво ворчал, потом согласился Зою позвать. Наташа ждала несколько минут, пока подошла Зоя. У той был голос, расплывшийся и слипшийся одновременно, и Наташа поняла, что в таком состоянии Зоя никак не может быть ей полезна. Перебив Зою на полуслове, пожелав веселых праздников, Наташа дала отбой.

Она решила прибраться и стала вытирать пыль, хотя пару дней назад была домработница и все было чисто. Тут новая мысль пришла Наташе в голову: не пойти ли ей к цыганке. Мысль была совсем бредовая, к тому же она понятия не имела, где, собственно, сейчас цыганку можно разыскать. Что-то такое она слышала от Женьки – та ездила куда-то за город к какой-то старухе, и та раскинула карты. Некий смысл, некая туманная надежда в этом были: а не перегадает ли эта новая столичная цыганка старую, свердловскую, и сразу все ляжет по-другому? Не прочтет ли, скажем, по картам – карты же не врут, должны знать! – что на самом деле живет Наташа правильно и хорошо, в согласии с судьбой, и что написаны ей на роду три мужа (средний гражданский) и что с третьим у нее будет крепкая семья, две дочери, и проживут они счастливо до старости и умрут в один день... И тут Наташу передернуло одновременно от возмущения и от жалости к себе. Как, вот в этой квартире, которую она никогда не любила и которую сама не сумела сделать уютной, на даче с восемью сотками газона и с гамаком, со своим полковником Володей – и до старости! И больше ничего не будет, только что помрут в один день – хорошенький приз... И Наташа вдруг поняла не без испуга, что к такому итогу она решительно не готова.

Сейчас должна была вернуться младшая из школы, и Наташа стала спешно собираться – она решила улизнуть, чтобы до вечера не встречаться с домашними. Она поехала в центр, на Ордынку. Но вместо салона красоты, куда хотела направиться за маникюром, Наташа неожиданно для самой себя оказалась в церкви. Наташа помнила ее название, потому что когда-то оно показалось ей загадочным и чуть смешным: церковь Николы на Пыжах.

Здесь было тесно, душно от ладана, жарко от свечей и шуб. Шла служба. Наташа перекрестилась на образа – не двуперстно, конечно, а как положено. Наташа всегда считала, что для счастья нужно не так много: быть любимой и самой любить, теплый дом и интересная работа, те сережки, что она видела недавно в витрине ювелирного магазина, двадцать четвер-

тый *Каприз* Паганини и природа. И капелька Бога... У атеистки Наташи образ Христа всегда лежал где-то на дне ее сердца, подчас шевелясь и вздрагивая. Евангельская история казалась ей прекрасной до слез: как бы там ни было, но тень Христа на кресте всегда падала на душу Наташи, потому что ее душа была христианкой. Конечно, она не ходила ни к исповеди, ни к причастию, но иногда ставила свечки за упокой бабушки, за здоровье своих девочек... Она купила свеч, поставила и за то, и за другое – под образом Богородицы. Неожиданно для самой себя поставила свечку и за здоровье Валерки.

Выйдя из церкви, она дошла до метро и вдруг купила на лотке дорогой *Космополитен* в целлофановой обертке. Она не читала этот журнал после одного случая: однажды притащила домой номер – кто-то дал на работе – с надписью на всю обложку *Все о его оргазме*. И решила больше не прикасаться к *гадостям*. Но на кухне за чаем все же развернула, стала читать – не без смущения и досады. Не заметила, как вошла старшая дочь, заглянула через плечо. И сказала: *мам, что ты читаешь, это ж для молодых девушек*. И Наташа тогда с раздражением журнал захлопнула, только и могла сказать: *иди заниматься...* А теперь вот купила зачем-то – разве что из упрямства. И поняла, что она – поедет!

Когда Наташа на что-то решалась – достать билеты на концерт, устроить дочь в нужную школу, получить автомобильные права, – она сжималась пружинно, концентрировалась и мчалась, как на треке, и было ее не удержать. Вот так когда-то сорвались они с Валеркой к Нельке в Душанбе. Вот так и сейчас уже через полчаса она оказалась в агентстве горящих путевок – была здесь в начале лета, нашла адрес по Интернету, тогда срочно добывала тур в Анталию: Володе внезапно выпал отпуск. Прежде чем идти в агентство, аккуратная и предусмотрительная Наташа открыла свой зарубежный паспорт – посмотреть, не просрочен ли, и увидела свою фотографию. На фотографии она себе очень не понравилась: мертвое, казенное выражение лица. Даже хорошенькой не назвать. Какие-то смутные колебания испытала Наташа, глядя на свое изображение. Но – поборола себя. В агентстве ей было сказано, что, приди она неделей раньше, ничем помочь ей не смогли бы, перед католическим Рождеством все было раскуплено. А сейчас – пожалуйста: курорт шесть дней, пирамиды ацтеков, до того два дня в Мехико, отель четыре звезды, бассейн, *все включено* – странно, разве она была похожа на пьющего человека; и дорога совсем недорога – по апексу, то есть с фиксированной датой возврата, восемьсот уе, баксов по-нашему. Визу ей сделают за три дня, триста долларов, дешевле никак нельзя, у нее ведь индивидуальный тур... *Знаю, знаю*, отмахнулась Наташа и бросилась ловить такси – ехать домой за деньгами. В такси она вспомнила, что еще ее спросили почему-то: вы же не будете посещать *северные штаты*? Наташа переспросила: *северные штаты чего?* Северные штаты Мексики. *Нет, зачем мне*, ответила Наташа, отчего-то чувствуя, что лжет.

Две тысячи у нее были тайно накоплены, хранились на книжной полке в ее комнате, засунутые в *Розу мира*: таких книг никто в семье, кроме Наташи, не читал, – это как раз и на тур, и на расходы. Нет, мало, на всякий случай тысячу она возьмет у Аллы, у той богатый муж, правда скупердядя, иначе не был бы богатым, но наверняка у Алки есть кое-что в собственном загашнике... Теперь: что она скажет мужу? Как что? Скажет: *мол, на работе дали почти бесплатную пугевку. Профсоюзную*. Он скажет: *господь с тобой, Натка, какие теперь профсоюзы!* А она: это у вас, у военных, ничего больше не дают, а у нас, у работников сферы образования... Нескладно, но ничего, что-нибудь другое придумает: мол, это историческая экскурсия для отличников образования – историк она в самом деле или нет, – своего рода грант. А купальник взять? Нет, он старый, немодный, купальник она купит на месте. Все на месте. И Наташа представила себя на пляже, на берегу Мексиканского залива. А что, фигура у нее еще вполне того, пляжная. И продают же в стране Мексика приличные купальники-бикини...

Самолет улетал утром следующего дня. И в день перед отлетом Наташа опять была одна. Она бродила по комнатам, узнавая разные вещи, разглядывала их, как впервые. В комнате девочек она не задержалась – здесь она и так все знала наперечет, даже тайник за книгами, где старшая держала записную книжку с телефонами своих мальчишек. Погладила большую плюшевую обезьяну, что недавно сама подарила младшей, – ведь будущий год обезьяний... В гостиной – так они называли большую, *общую*, комнату – тоже не задержалась, почему-то ей всегда бывало здесь неуютно и одиноко. Что-то чужое было в этом нагромождении техники, в большом фикусе на полу, который сама же и приволокла зачем-то: подружка дала черенок, Наташа ткнула в горшок с землей, а фикус разросся, стал давать ростки в разные стороны, ронял сухие листья и, казалось, стал мешать дышать. И в их с Володей спальне она почувствовала себя сейчас так, будто случайно попала в незнакомую комнату. Помимо кровати и прикроватных тумбочек здесь был устроен уголок для ее занятий, а его секретер стоял ближе к двери. Зачем-то она щелкнула замком, крышка секретера откинулась. Она не ждала найти ничего нового – какие-то военные издания, конспекты, которые остались после Академии, документы. Одну книжку взяла в руки, оттуда выпала открытка. Наташа узнала свой почерк. Какие-то общие слова, поцелуй – когда же она писала ему открытки? Ах, да, был у нее однажды симпозиум в Симферополе. Но, Боже, это ж было так давно: судя по штемпелю, одиннадцать лет назад. И все эти годы он хранил эти пустые, в сущности, строки. Наташа опустила на краешек кровати, разглядывая вид симферопольского бульвара. И думала: *что же я делаю, что же я...*

Глава 13. Полетели

Наташа хотела было лететь по-студенчески: с одной дорожной сумкой через плечо, как когда-то на свердловские каникулы. Только самое необходимое: косметика, белье, немнущийся сарафанчик, кожаные черные босоножки (Италия), даже пляжные тапочки в последний момент выкинула, такая вот обуяла ее бесшабашность. Но в дубленой курточке: была предупреждена о перепаде дневной и ночной температур в стране назначения. Все же сложила в последний момент несколько нарядов в чемодан и приличные туфли. И прихватила тот самый номер *Costo*, что купила по выходе из храма, целлофан был еще не тронут.

В «Шереметьево-2» в *Duty Free* хотела было приобрести пузырек *Kenzo*, но, примерившись к ценам, поняла, что даже в Митино в их большом универмаге цена ниже: везде обман. Да и зачем ей *Kenzo*, когда это вовсе не ее: она уже поменяла свои привычные *Climat* на *Fimmel*, – на духи денег не жалела, если богатые подружки не догадывались во-время подарить на день рождения. Она, конечно, как все девушки ее возраста, миновав «Милого друга», *вышла из Шанели №5* – давняя острота Валерки. Нет, духи – в Мексике, быть может, она найдет там что-нибудь экзотическое. И никаких цацок, конечно: там она будет ходить, украсив себя перьями. Почему Наташа сочла, что мексиканцы украшают себя перьями, она и сама не сказала бы. Просто кураж пошел.

Вместо духов неожиданно для себя Наташа купила пластиковую флажку виски *Johnny Walker – Red Lable* и блок *Marlboro Light*, хотя пила мало, а курила, и вовсе лишь когда выпьет. И то, не вдыхая, так – набирала ароматного сладкого дыма в рот и с удовольствием выпускала струйкой – за всю жизнь так курить и не научилась. Зачем ей было покупать виски, она и сама толком не знала: говорили, помогает при взлете и посадке, чтоб не подступила тошнота.

Найдя свое место, запихнув куртку и сумку в пластмассовый багажный ящик над головой, Наташа сразу пристегнулась, чтоб к ней потом не приставали, и распаковала журнал. Не могла понять, куда девать пустой цел-

лофан, сунула в карман чехла переди стоящего кресла. На обложке на этот раз ничего не значилось о мужском оргазме, но кое-что на схожую тему было: сорок пять мужских секс-грез. Наташа пролистала без интереса, увидевшись инфантильности пожеланий. Что-то вроде: жена олигарха для него – лишь красивая статуэтка, а для меня иное, и вот мы уже исступленно занимаемся любовью *в кулуарах*. Эти *кулуары* особенно Наташу развеселили, но, возможно, это у них, у молодежи, юмор такой. Или вот еще, под рубрикой *историческое*, почти по Наташиной части: прекрасная дама со словами *я знаю, король был к вам несправедлив* поднимает свою пышную юбку. Быть может, дочка была права, это журнал – для инфантилов, которые десятый раз перечитывают *Трех мушкетеров*.

Все пассажиры уже заняли свои места, но рядом с Наташей оставалось пустое кресло. Едва Наташа открыла статью *Странные желания* и прочитала подзаголовок *он хочет, чтобы ты на него пописала*, как ей стало не по себе: неужели ее дочь тоже читает такое, ведь она сама в ее возрасте... Что ж, вот и вырастила дочерей. Да что там *в ее возрасте*, Наташа и в своем-то ни в чем подобном не создалась бы даже лечащему врачу. Однажды Валерка попросил посмотреть, как она пишет, и неожиданно сунул руку под ее струйку – тогда Наташа завизжала от испуга и неожиданности.

На соседнее кресло с каким-то костяным стуком упала объемистая дама лет пятидесяти с лишним – скорее даже ближе к шестидесяти – с огромной кольшашей грудью, горбоносая, с вывороченными в ярко-фиолетовой помаде, губами, одетая по-цыгански попугаисто: пестрая кофта, на ней другая – тоже пестрая, и в довершении дальтоническая шаль, устроенная, как перевязь шпаги, – перекинута через правое плечо, а завязана узлом под левой подмышкой. Пышные смольные волосы были перехвачены надо лбом красной с зеленым банданой. И Наташа подумала *так вот они какие, мексиканки*.

Зажглись табло, включили магнитофонную пленку, на которой стюардесса гнусавым голосом зачитала информацию по-русски и по-английски, а ее партнер – по-испански. Моторы уже гудели, лайнер дернулся и покати по полю. Наташа отвинтила крышечку фляжки, глотнула виски, хотела предложить соседке, но постеснялась: та лежала в кресле, откинувшись и закрыв глаза, как мертвая. Наташа стала читать статью про ушедшего мужа. Суть статьи сводилась к тому, как повезло той несчастной, которую бросили, и от скольких напастей она разом избавилась: далее шло перечисление всех неудобств, исходящих от мужей. Наташу резанула неприязнь авторши к мужчинам, почти ненависть, и ей стало их жалко. И еще она подумала, что, не дай Бог, есть на свете и подобные этой авторше мужчины, которые могут так же мелко и злорадно пересчитать все неудобства и неприятности, что вносит в мужскую жизнь постоянная спутница. Наверное, авторшу бросил муж, подумала Наташа. И, пролистнув несколько страниц рекламы, наткнулась на некий материал под названием *Свадьба бывшего мужа*. Текст пестрел выражениями типа *бессонница подарила мне вояж в прошлое*, или *звонкие обломки смеха*, или *из темных уголков прошлого выглядывают, как монстры, пугливые ошибки*. Да уж, с пугливыми ошибками у нас все в порядке, усмехнулась Наташа про себя. И прочитала всю эту галиматью до конца, ради которого все и было сочинено: героиня опять выходит замуж за своего бывшего мужа... Больше ничего *читабельного*, как выражается ее старшая дочь, Наташа в журнале не нашла, одна только реклама, причем преимущественно мобильной связи. Наверное, потому, что считается: женщины разговаривают по телефону много больше мужчин. Интересно бы посчитать.

Наташа сунула журнал туда же, где лежал целлофан, в который журнал был первоначально обернут – сунула небрежно, гляцевая обложка скомкалась, – и тоже опустила спинку кресла, откинулась, прикрыла глаза. *Бывший муж, который женится на бывшей жене*. Да, наверняка Валерка женат. На здоровье. В конце концов она просто летит в Мексику. С дружествен-

ным визитом, если угодно. По индивидуальному туру. Коммунисты Сикейрос и Ривера, его хромая подружка: как ее звали, кажется Фрида. Да, Фрида Калло. Красивое имя. А потом она отдалась Троцкому – перед тем как того шваркнули ледорубом по голове. И вообще сейчас лучше об этом не думать... И, едва Наташа отдала себе такую команду, неожиданно ее охватило волнение, которое сама бы она назвала *жутким*. Скорее, это был необъяснимый страх, как если бы самолет сейчас начал падать. Ведь ничего, кажется, не произошло, ничего не случилось, но тревога росла, будто где-то что-то загорелось, обрушилось, где-то умер близкий человек, она потеряла дом и работу. Природа этого страха была животная, до спазмов внутри, и тем хуже, что было непонятно, откуда шла угроза. Это был истинный ужас, и Наташа принялась глотать виски. Как будто алкоголь мог ей сейчас помочь. Судорожно взглянула на часы. Ей отчего-то показалось, что они могли остановиться.

Салон был на треть пуст. Еще при посадке, в томительном ожидании в *накопителе* – изуверское словцо, как все в нашем сервисе, из концлагеря – после регистрации она рассмотрела спутников. Летели преимущественно женщины – безошибочно российской наружности. Хорошенькие не попадались. Казалось бы, что всем этим женщинам разных лет, среди которых было мало даже просто приятных, в таком количестве делать в Мексике? И на что они надеются? Разве что на благополучную посадку. Нет, об этом в полете думают мужчины. А женщина в самолете думает о том, кто ее встретит! Меня не встретит никто. *Куда я лечу?*

– Что ж, давайте знакомиться, – услышала она низкий и хриплый голос. Ее соседка-мексиканка говорила на чистейшем русском языке. – Десять часов лететь рядом, будь неладны эти перелеты. Я – Сольвейг. Сольвейг О'Хара.

– Наташа, – скромно сказала Наташа.

– Вам не кажется странным мое имя? Все удивляются: почему Сольвейг? Что О'Хара, так это никого не волнует. Действительно, в этом мало интересного: мой муж-мексиканец ирландского происхождения. Но Сольвейг? А все очень просто: мама играла на рояле и обожала Грига, папа любил Ибсена и Блока... Тогда было модно давать детям... экзотические имена. – И соседка для убедительности, видно, постучала себе по колену. Раздался костяной звук – нога, видимо, была не настоящая.

Глава 14. Сольвейг

Наташа не заметила, как задремала, а когда открыла глаза – стюардесса предлагала завтрак. Проснулась и Сольвейг О'Хара, сказала хрипло *доброе утро, детка*, тяжело завозилась в кресле, устраивая тучное тело, подняла спинку, откинула на себя столик. *Любит поесть*, догадалась Наташа. И отозвалась: *доброе*. Они летели уже часа полтора, а в иллюминаторах стояло то же утро, и видны были те же облака, подсвеченные ранним солнцем откуда-то из-под хвоста самолета... Как же давно никто не называл Наташу *детка*!

Стюардесса выдала им по подносу с аэрофлотским завтраком. Соседка деловито развернула аккуратный кирпичик, намазала разломленный попололам рогалик маслом, и ткнула рогаликом в Наташин скомканный журнал – латинские буквы *Cosmo* торчали наружу из кармана на спинке кресла.

– Зря ты, детка, это читаешь.

– Так, взяла в дорогу... посмотреть, – словно оправдываясь, сказала Наташа. *Ага, ее сейчас будут воспитывать.*

– Им кажется, что они вступаются за достоинство женщин. На самом деле приличную женщину вся эта галиматья только унижает. Ведь так? – Сольвейг О'Хара разинула пасть – у нее во рту мелькнула сбоку внизу пара золотых коронок – и разом проглотила половину рогалика.

– Пожалуй, – неуверенно согласилась Наташа.

– И как ты думаешь, сколько мне лет? – спросила соседка без всякой видимой связи с предыдущим разговором и подступаясь к прессованной ветчине.

– Думаю, около пятидесяти, – аккуратно сказала Наташа, хоть и понемалу – как минимум под шестьдесят.

– На следующей неделе исполнится семьдесят. И ты мне годишься в дочери, верно?

– Мне будет сорок пять.

– Вот об этом я и говорю! – удовлетворенно сказала Сольвейг О’Хара и подставила стюардессе, которая разливала аэрофлотский кофе из пластмассового электрического чайника, свою чашку. – Этот, – она как-то неопределенно взмахнула кистью в красивом чеканном серебре (это было одно изделие, браслет на запястье и четыре кольца, на идущих от браслета мелких тонких цепочках), показала куда-то по курсу, – этот у меня пятый. На двадцать лет моложе. Старше уже никак нельзя: старичок, как справит нужду, так утыкается в телевизор. И это еще хорошо, если хоть что-то может... – И Наташа с грустью призналась себе, что приблизительно таким манером и протекает ее супружеская жизнь: краткая любовь, вечный телевизор. – А у тебя есть муж? – спросила старуха.

Наташа очнулась и кивнула.

– Который?

Наташа не поняла.

– Который по счету?

– Второй. То есть третий.

Сольвейг добродушно рассмеялась.

– Что говорить, их бывает и не сосчитать. – И проглотила остаток рогалика. Она все больше нравилась Наташе: инвалидность, старость, а какое самообладание, какая сила от нее исходит... – Но отчего мы завтракаем всухомятку... Эй, сеньорита! – крикнула она стюардессе.

– Да, сеньора?

– Когда закончите со всем этим, – несколько брезгливо Сольвейг обвела толстым пальцем с ярким, как сама, маникюром передвижной столик стюардессы, – принесите нам текилы.

– Какой, сеньора?

– Белой, только белой! И лайма, конечно. Ну да вы без меня знаете.

– Си, сеньора.

Наташа наблюдала всю эту сцену во все глаза. Попробуй она выкинуть что-нибудь в этом роде, как далеко, интересно, ее бы послали.

– Понимаешь, детка, текила тем и хороша, что можно пить ее всегда: и до, и после, и во время. Ты впервые в Мексике? Если собираешься замуж за мексиканца – не делай этого, возьми совет старой мексиканки... – Впервые она употребила не вполне русскую грамматическую конструкцию. – Эти мачо, бр-р-р... думают только о своем члене. Интереснее, чем их яйца, они уверены, на свете ничего нет. Или у тебя в Мексике уже есть муж? – И с притворным испугом Сольвейг прикрыла ладонью рот – жест нянюшки-простолоюдинки из мексиканского сериала. И Наташа вдруг узнала ее: конечно же, это та самая цыганка ее юности с утренней, но уже пыльной свердловской улицы. Не буквально, конечно, та самая, но как бы перевоплощение той... Отпираться было бессмысленно.

– Да, я лечу к мужу, – произнесла Наташа. И добавила:

– Но он об этом не знает...

Принесли текилу во влажных бокалах, которые до того окунали краями в соль. К концу дозы Наташа была обучена пить текилу, а Сольвейг в свою очередь узнала о Наташе все. Ну, во всяком случае, то, что уложилось в два часа последующего полета. Можно сказать, они стали подругами – так стало казаться захмелевшей Наташе. Она не раз тревожно спрашивала *думаете, я найду его*, и Сольвейг успокоительно похлопывала ее по руке.

– Вообще-то, детка, в твоём положении легче всего найти его и убить. Наташа поперхнулась текилой.

– Как... убить?

– Ведь так сказано в этом самом Указе, если я точно поняла. Сказано: если муж жив! А если он мертв, то ты сможешь вернуться к детям... Ну не самой, конечно. Ты и не сумеешь. Поверь, не такое это легкое дело – убить человека. Это, можно сказать, искусство. Да еще убить... знакомого. Но в Мексике с этим несложно. Безработица, что поделать. Даже совсем зеленые юнцы принимают заказы. Попадаются, конечно, бедолаги: стрелять плохо умеют, нервничают, палят куда придется, калечат мишени. А с мачете вообще не справляются – городские, что с них взять... Деревенские-то с детства поднаторели в драках. Особенно индейцы...

У нас в Москве тоже с этим несложно, подумала Наташа, но вслух не сказала: еще подумает Сольвейг, что она, Наташа, что ни день прибегает к услугам наемных киллеров. И чуть было не спросила: мол, откуда Сольвейг так хорошо осведомлена в механике этого дела. Как это называется – *мокрого*. Однако, хоть и была нетрезва, спохватилась и промолчала.

– Если у тебя есть лишних долларов триста-четыреста. Впрочем, можно устроиться и за двести. – Сольвейг прикрыла ладонью рот. – И вот что, детка, не печалься. Ты не бежишь от себя, ты идешь от себя к себе. Ты возвращаешься в дом. Мы все на пути к дому... – И тут Сольвейг сладко и широко зевнула, прикрыла глаза и через мгновение уже спала, откинувшись, чуть похрапывая, и необъятная ее грудь уютно ходила вверх-вниз. И Наташа поймала себя на том, что с наслаждением использовала бы эту грудь на манер подушки.

Глава 15. Приземлились

Разбудил Наташу голос в репродукторе: *пристегните ремни... внимание... мы осуществляем посадку в аэропорту столицы Мексики городе... температура воздуха...*

– Отлично долетели, детка, – сказала Сольвейг, будто и не спала. – Тебя встречают? А не то...

– Нет-нет, у меня трансфер, – сказала Наташа, пытаясь встряхнуться. – И отель заказан...

Тут самолет скакнул в воздушную яму, чуть клонув носом, и резко накренился вправо. Краем глаза Наташа увидела в иллюминаторе остроконечные горы на горизонте, поползшие куда-то вверх. Ее отвлекло от пейзажа то, что при маневре с полки над передним креслом что-то вдруг сорвалось. Оказалось, какой-то идиот засунул туда недопитую пачку томатного сока. Спереди раздался хрип, и кто-то засучил ногами так сильно, что переднее кресло заходило ходуном. Видно, пассажир забыл, что привязан, и попытался вскочить, чтобы оценить последствия для своего костюма. Сольвейг сказала задумчиво:

– Нет, определенно нам с тобой везет, милая. Вот скажи, у тебя была в жизни хоть малейшая надежда познакомиться с мужчиной, на которого хоть однажды падал томатный сок?

И обеим отчего-то стало так смешно, что они, сблизившись головами, зажав руками рты, принялись хохотать. Тут включились турбины, и уши заложило.

– Поздравляю, ты прибыла куда надо. Мексика, детка, – это родина мира. – Сольвейг кричала Наташе в самое ухо. – Ты идешь к самой себе, детка. – И повторила с напором, как цыганка некогда: – Ты идешь к дому! – Наташе стало страшновато. Потому что ее дом находился как раз в противоположном направлении... Да-да, она цыганка, она ворожит, Наташа ведь – просто по туру...

И тут самолет еще раз скакнул, раздался звук легкого удара под ногами, толчок – и покатили, подпрыгивая, по бетонной посадочной полосе.

Русские дамы в салоне дружно зааплодировали, а мужской голос громко крикнул *браво! браво русскому летчику!* И, пожалуй, это было в последний раз, когда Наташа услышала голос родного патриотизма...

– Вот, возьми мою карточку, детка, – сказала Сольвейг и протянула Наташе визитку. – На всякий случай. И не стесняйся, сразу звони, если что-нибудь будет нужно. Что-нибудь будет не так.

И опять Наташа поежилась. Сказала *спасибо*, спрятала карточку: сначала хотела просто сунуть в сумку, но потом положила в кошелек, рядом с деньгами, будто почувствовав, что карточка эта ей весьма и весьма пригодится... Старуха грузно поднялась, опираясь на палку, Наташа протянула было руку, чтобы ей помочь. – Не надо, детка, – сказала Сольвейг О’Хара не без царственности, – я тебя пропускаю... Иди, я всегда выхожу последней...

Уже на трапе Наташа задохнулась от чужого пряного воздуха, зажмурилась от яркого солнца, но и беспокоясь – встретят ли ее, найдет ли она все, что нужно... Но все оказалось на редкость легко: она пристала к веренице пассажиров, что шли к зданию аэропорта, потом недолго топталась в очереди к окошку пограничного контроля! где таможенник бегло взглянул на нее и на паспорт и, улыбнувшись, произнес *пор фавор, сеньора...* Наташа несколько струхнула, когда увидела, едва пройдя несколько шагов по залу, довольно флибустьерского вида крепыша со смоляными густыми усами, коричнево-черной наружности, который держал над собой плакат, где по-русски было начертано ее, Наташи, имя. Едва она подошла, как он оскалдился хищно и почти вырвал у нее из рук чемодан. Сумку инстинктивно Наташа не стала отдавать.

На ярко освещенной солнцем асфальтовой площади малый чуть не втолкнул ее в обшарпанного вида зеленый «Фольксваген», еще раз улыбнулся – и дал газу, и все с такой скоростью, будто за ними гнались. Наташа зачем-то оглянулась – быть может, надеялась еще раз увидеть Сольвейг, и со стороны аэровокзал показался ей совсем симферопольским. Ну если бы не пальмы и не огромный герб на фасаде: хищный коричневый орел душит голубую змею. Змею было жалко.

Пока ехали от аэропорта, Наташа видела обок дороги много недостроенных кирпичных домов, как в Подмосковье, но было одно отличие: в домах, по-видимому, уже жили. И на каждом доме красовалась большая телевизионная антенна-тарелка. Тарелки были даже на бедных сараях, возле которых сушилось на веревках цветастое белье. Когда притормозили у поворота, Наташа успела разглядеть очень нище, чуть не в лохмотья, одетую девушку-индианку, которая увлеченно говорила по мобильному телефону. Наташа знала, что в Мексике плохо с водой, поэтому ее удивило обилие луж по обочинам. Удивило и то, что многие встречные одеты по-зимнему, в пальто или куртки. По-видимому, нынешняя температура воздуха – двадцать четыре по Цельсию – представлялась им весьма низкой.

В повышенном темпе проходило и ее обустройство в гостинице. Называлась она Hotel Roosevelt, и здесь ее тоже уже ждали. Бой перехватил чемодан у шофера, метрдотель приветливо помахал рукой. Наташа была засунута в лифт, потом проведена пустым коридором, дверь распахнулась, *фавор, сеньора*, она осталась одна.

Номер был несколько странным: он состоял из треугольников и округлостей, и в русском понимании в нем не было прямых углов. Было круглым зеркало, были округлыми светильники в форме раковин. Журчал кондиционер. Жалюзи были опущены, и было полутемно. На кровати, застеленной белоснежным покрывалом, лежали одинокая карамелька и сухой цветок. Наташа присела на краешек, потому что голова у нее кружилась: наверное, началась акклиматизация. Теперь она чувствовала одиночество и опустошенность. И в растерянности думала: *куда теперь?*

Глава 16. Неужели Мексика

В это было решительно невозможно поверить. Наташа только что сидела вот точно так на краю своей супружеской кровати в московском спальном районе Митино – *на дорожку*. Потом полковник подхватил ее чемодан, погрузил багаж и жену в машину и отвез драгоценный, как он успел ее заверить, груз в «Шереметьево-2». Он дождался, пока она миновала таможеню, помахал рукой и послал воздушный поцелуй. И у Наташи возникло, вспомнила она сейчас, нехорошее чувство, будто супруг рад ее отбытию, уж больно он подлизывался к ней по дороге... И вот теперь она – в Мексике? Сомнительность ее местопребывания усугублялась тем, что за окнами стояло то же самое утро, что было совсем недавно в Москве.

Что она знала об этой стране? Конквистадоры, сомбреро, индейцы в перьях, коррида, «Симона, ты не можешь так поступить», мачо с длинными черными хвостами на затылках и с пистолетами, «молись, тебе осталось времени выпить последний глоток текилы», песо, много-много голубей на площадях перед готическими соборами, знойные звуки гитары, верховный жрец Кетцалькоатль и пирамиды майя, «Луис, оставь меня, я еду рожать к маме», басанова, три сотни сортов колючих кактусов, Рио-Гранде... Наташа вышла на балкон, чтобы поближе рассмотреть новую страну пребывания.

Окна ее номера выходили не на улицу, а во двор отеля. Сейчас двор пересекала немолодая женщина в бумазейном халате и тряпочных тапочках на босу ногу. В руке она несла красный пустой пластмассовый таз. Не была женщина такой смуглой, с черными, лоснящимися под солнцем гладкими волосами, вполне могла бы сойти за подмосковную поселянку, только что прищепившую постиранное белье на веревку.

Сбоку грудились какие-то домики с трубами коммуникаций наружу. В прогалах были видны другие, такие же. Слева Наташа обнаружила странную сцену: на открытой заасфальтированной площадке прилежно репетировали танцевальные движения с десяток трогательных девчушек в белоснежных пачках – молодые веточки, юные побегги. Руководила репетицией стройная дама в черном трико. Все происходило беззвучно, а, может быть, музыка была не слышна Наташе, тонула в звуках улицы, которые проникали и сюда. Девочки были того же возраста, что и ее младшенькая... Наташа вздохнула и ушла с балкона, опустила жалюзи и опять задумалась – как ей поступить.

Она развернула конфетку и сунула в рот. И решила, что не ляжет отдыхать, как собиралась. Все надо сделать немедленно, и нечего откладывать: Наташа боялась растерять решимость. Она положила липкую карамельку на тумбочку, сбросила одежду, оглядела себя в овальном зеркале. С удивлением увидела, что у нее как будто приподнялась грудь. Она с удовольствием пощупала ее – грудь была твердой и как будто подросла. Потом Наташа долго стояла под душем, с удовольствием использовав здешний шампунь в маленьком пакетице, а потом – целых три гостиничных белых махровых полотенца. Переделалась, накрутилась, так сказать, льготно, умеренно, по-дневному, как будто шла к себе в институт, – ей казалось неправильным наводить слишком явный марафет, чтобы, не дай Бог, Валерка не увидел, сколь торжественна для нее эта встреча. Проверила, на месте ли записная книжка и деньги, спустилась в холл. Портье приветливо помахал ей рукой, будто они были давно знакомы. Он улыбался самым энергичным способом, шевеля своими черными мексиканскими усами.

– Буэнос динас, сеньора, – сказал он.

– Хай, – сказала Наташа, как заправская американка – она ведь не знала, как его поприветствовать по-испански. – Ай нид э тэкси, плиз. Энд чейндж долларс, плиз, сэр.

– Момент, сеньора, – откликнулся смуглый портье и выставил руки вперед растопыренными розовыми ладонями, будто успокаивал клиентку. И взялся за трубку телефона.

Разменяв сто долларов – за них она получила солидную пачку желтых и фиолетовых мексиканских бумажек, курс был примерно один доллар к десяти песо, он значился на электронном табло рядом с электронными же часами, – Наташа присела в кресло в холле, рассеянно полистала какой-то испанский журнал с репортажами о серфинге в Акапулько. Конечно, можно было бы попытаться позвонить Валерке по телефону – у них наверняка есть городская телефонная книга. Но нет, звонить она не будет. Она просто придет. Возникнет, явится, *предстанет*. Так будет всего эффектнее... Наташе, разумеется, было томительно и страшно, но в душе царила странная легкость и зыбкость, – быть может, после выпитой в самолете текилы. И предвкушение необычайного.

– Тэкси вейт ю, сеньора! – крикнул из-за стойки портье.

– Сенкс, сэр, – отозвалась Наташа, чувствуя себя знатной дамой. Иностранкой. И пошла по ковру, как по подиуму, к стеклянным дверям, и створки расступились перед ней.

Шофер уже держал нараспашку заднюю дверь такого же зеленого «Фольксвагена», что привез ее из аэропорта. Может быть, и шофер тот же? Наташа взгляделась. Нет, другой – этот, на удивление, был без усов. И отчего-то Наташа мельком подумала, что это недобрый знак. Прежде чем влезть в салон автомобиля на заднее сидение, Наташа показала ему раскрытую книжку с адресом. Шофер изучал адрес довольно долго, потом очень внимательно поглядел Наташе в лицо.

– Колониа Дакторис, си? – спросил он.

Наташа не поняла, но сказала *си, сеньор* – на всякий случай.

– Эз каро, – сказал шофер. И прибавил по-испански какую-то фразу, но Наташа ничего не поняла. Было ясно, что водитель не слишком обрадован ее заказом. Или просто в дурном расположении духа. Внутри машины Наташу неприятно удивило, что переднее сидение рядом с шофером было выворочено, а заднее – отделено от шофера решеткой. Не такси, а тюрьма какая-то.

Они покатали. Довольно быстро кончились высокие дома, пошли особняки за узорчатыми коваными оградами, оплетенными какими-то вьющимися растениями с розовыми цветочками. Но незаметно кончились и они, и постепенно облик города за окнами автомобиля принял какие-то чересчур театральные, на вкус Наташи, очертания. Как-то разом иссякла и полиняла краска на стенах зданий, сами дома скукожились и сделались меньше ростом. То и дело стали попадаться витрины, забитые фанерой или закрытые стальными жалюзи, тут и там красовались на облупленных стенах граффити и грубо нацарапанные надписи – те, что были по-английски, оказались, все как одна, непристойными; и не стало видно людей. Только груды мусора, обрывки тряпок, клочки бумаги, пустые банки из-под пепси на узких улицах... И город Мехико, показавшийся было Наташе нарядным, зеленым и веселым, стал напоминать декорации к английскому мюзиклу по «Оливеру Твисту».

Глава 17. Опять первый муж

Они ехали долго, и Наташа, тревожно глядя в окно автомобиля, стала сомневаться, туда ли ее везут. Машина ехала сквозь натуральные трущобы. К тому же внезапно исчезло солнце, и законный мир предстал просто зловещим, в нем преобладали коричневые тона. И Наташе захотелось сейчас же повернуть обратно и опять оказаться в своем стерильно чистом номере в отеле. Такси то и дело куда-то сворачивало, пока улица не сузилась до ширины комнаты. И Наташа вдруг подумала, что ей

отсюда, наверное, уже никогда не выбраться. *Ты идешь к дому*, вспомнила она прорицание Сольвейг, и горько усмехнулась про себя. Да уж, занесло так занесло.

Наконец, машина остановилась, и водитель указал Наташе на криво висевшую табличку на углу дома. Да, это была та самая улица Мачете, что значилась в ее книжке – только сейчас до Наташи дошел зловещий смысл этого наименования. Наташа выбралась из автомобиля и растерянно и умоляюще сказала водителю:

– Плиз, вейт ми.

– Но, сеньора, – решительно сказал водитель и показал на счетчик. Счетчик показывал цифру 90.

Наташа было испугалась величины суммы, но потом, посчитав, сообразила, что с нее причитается только девять долларов. И в своей пачке отыскала бумажку в сто песо. – Вейт ми, плиз, – повторила она жалобно, озираясь.

– Си, си, – сказал шофер и махнул рукой. – Но паса нада.

Наташа поняла так, что нужно идти вперед. Но едва она отвернулась, чтобы окинуть взглядом неуютный грязный проулок, как шофер включил зажигание и двинулся задом в обратную сторону. Наташа глядела ему вслед с отчаянием, пыталась помахать ему, чтоб тот остановился, но шофер смотрел назад, повернув свою безусую голову к ней затылком.

Постояв и решившись, Наташа двинулась вперед, ища нужный дом под номером двенадцать. Очень сильно воняло кошачьей мочой. Дом десять она нашла, но на следующем отсутствовала табличка с номером. Зато были облезлые и шаткие ворота, неплотно прикрытые. Наташа толкнула створку, которая приоткрылась ровно так, чтобы можно было протиснуться внутрь. Оказалось, что неприглядный фасад скрывает вполне уютный зеленый тенистый дворик. Разноцветное белье сушилось и здесь, и с бьющимся сердцем Наташа поймала себя на том, что перебирает взглядом мужские рубашки. Которая из них *его*? Только тут она увидела, что у стены за маленьким столиком сидит по пояс обнаженный индеец в красно-синей бандане, а перед ним – бутылка с какой-то желтой жидкостью. И рюмка. Он разглядывал Наташу ровно так, как смотрят индейцы в кино: зорко, но без видимого интереса, бесстрастно. Наташе стало не по себе. Однако едва они встретились взглядами, как мужчина громко крикнул что-то, по-видимому, обращаясь к кому-то в доме. И налил себе рюмку.

Кажется, индеец крикнул *Люсия*, но поручиться Наташа не могла бы. Невольно Наташа подняла глаза, и на балкончике дома, куда вела крутая и узкая лесенка, она увидела женщину, но не индейского, а явно испанского происхождения. Впрочем, женщина смотрела на Наташу так же молча и бесстрастно, как и индеец.

– Буэнос диас, – вымолвила Наташа и самой себе удивилась, какая прорезалась в ней способность к языкам. Наверное, со страху, только и успела подумать она, как женщина быстро и непонятно заговорила гортанным громким голосом. И исчезла в доме. Наташа снова посмотрела на мужчину: тотпил свою текилу, не обращая на нее внимания.

– Эй! – окрикнули ее сверху.

Наташа обернулась: женщина манила ее рукой. Наташа на дрожащих ногах принялась подниматься по ступенькам, а женщина опять заговорила, причем голос ее звучал раздраженно, даже сердито. Когда Наташа взобралась, наконец, на площадку, сильно запахло тушеными овощами, чесноком и перцем. Наташа увидела, что женщина очень растрепана, халат на ней кое-как запахнут, лицо лоснится от пота: наверное, незваная гостя оторвала ее от плиты. На дряблой темной шее со многими светлыми поперечными морщинами болтались разноцветные стеклянные бусы. Женщина сильно размахивала рукой, не умолкая, а в другой руке у нее была зажата какая-то бумажка, и в эту бумажку она тыкала пальцем. Изредка в возбужденной речи этой дамы Наташе слышалось имя Валера, но, навер-

ное, ей так только казалось. Каким-то образом Наташа поняла, что женщина хочет денег. Она расстегнула сумочку, достала кошелек, протянула женщине сто песо. Та схватила деньги, презрительно фыркнув, окинула Наташу с головы до ног уничижающим взглядом и сунула ей бумажку. И скрылась в дверном проеме, который был завешен пестрой циновкой. Наташа развернула засаленный клочок, спускаясь по ступенькам как во сне. И с трудом разобрала начало: Valery...

Глава 18. Опять Сольвейг

Не помня себя, Наташа выбралась на грязную улочку, прикрыв ворота: отчего-то ей сейчас казалось, что здесь, на улице, много безопаснее, чем в этом малогостеприимном мексиканском доме. Она развернула бумажку: по-видимому, это был адрес, написанный знакомым Наташе почерком. Но она в этой записи ничего не поняла.

Наташа побрела, не зная куда. Скорее всего, думала она, Валерка съехал, причем задолжал за квартиру. Да, неважны были у него дела, если он жил в этих трущобах. Да еще не смог расплатиться...

Наташа увидела распахнутую дверь, за ней ступеньки вели вниз. Наверное, это было кафе. И в кафе наверняка есть телефон. Наташа осторожно и боязливо ступила на лесенку, спустилась вниз и оказалась в темном, мрачном помещении. Здесь действительно были расставлены столики и царил влажный полумрак. Когда глаза привыкли, Наташа разглядела в углу за столиком троих смуглых мужчин, игравших в карты. Все трое повернулись к ней и неприязненно, как ей показалось, на нее смотрели. У Наташи подкашивались ноги, и она опустилась на стул за ближайшим столиком. Один из мужчин поднялся и будто нехотя подошел. И встал перед ней.

– Дринк, плиз, – громко прошептала Наташа – от страха у нее пропал голос. – Дринк, – повторила она.

Мужчина развернулся, подошел к стойке и через мгновение поставил перед ней рюмку, полную до краев. Наташа поднесла рюмку к лицу и, замуравившись, выпила одним махом. И закашлялась – таким крепким оказалось вонючее пойло: Наташа не сообразила, что *дринк* означает во всем мире пить алкоголь, а вовсе не воду, которую она пыталась попросить. Мужчина стоял над ней, ухмыляясь.

– Вотер, плиз, – выдавила Наташа.

И мужчина, будто сжалившись, принес ей стакан воды. Вода была тоже отвратительного вкуса, но и ее Наташа выпила одним махом. – Ду ю хэв э телефон? – спросила Наташа. – Ай нид э тэкси...

– Тэн долларс, – сказал мужчина и показал ей растопыренные пальцы на обеих смуглых пятернях. Наташа достала из сумочки сотню песо и отдала ему, понимая, что ее грабят. И вдруг ужаснулась, что забыла, куда дела Валеркину бумажку. Она перерыла сумочку, потом спохватилась – мятая бумажка нашлась в правом кармане ее юбки. Наташа вздохнула с облегчением, спрятала бумажку в сумочку. Хозяин тем временем выставил телефонный аппарат на стойку бара. Наташа разыскала карточку Сольвейг, подошла к стойке, инстинктивно прижимая сумочку к груди, набрала номер. *Лишь бы она была дома, лишь бы была...* Наташе сейчас казалось, что только Сольвейг может ее выручить. И ей повезло – после четвертого гудка она услышала в трубке голос своей подруги по перелету.

– Сольвейг, – прошептала Наташа.

– Что, детка, у тебя уже начались проблемы?

– Да... то есть, нет. – И Наташа вкратце изложила ситуацию.

– Да, угораздило же его туда забраться, – подвела итог Сольвейг. – Ты говоришь из бара? Кажется, тебя приняли за самку гринго. Дай трубку бармену! – приказала Сольвейг.

Наташа подняла глаза и к своему изумлению увидела, что бармен улыбается.

– Русо, си? – сказал он.

– Си, си, – заулыбалась Наташа от счастья. И краем глаза заметила, что мужчины в углу тоже улыбаются ей.

Бармен взял трубку и четырежды повторил *си, сеньора*. Потом отдал трубку Наташе.

– Слушай меня, детка. Сама я, как ты понимаешь, не вожу машину. – Наташа только сейчас вспомнила о ее костяной ноге. – Но у нас есть друг, он придет за тобой. Именно он, потому что он хорошо говорит по-русски. В баре тебе оставаться не следует. Бармен отведет тебя в ближайшую церковь. Жди там – и ни шагу. Сейчас службы нет – просто присядь на скамейку и жди. Дашь бармену пять песо. – И Сольвейг дала отбой.

– Плиз, русо сеньора, – сказал хозяин, еще шире улыбаясь.

– Адъёс! – хором весело крикнули оба мужчины из-за дальнего столика. – Адъёс, сеньора русо!

Глава 19. Опять в храме

Они прошли несколько кварталов, свернули направо и оказались на небольшой площади. Здесь стояла небольшая, как и сама площадь, церковь, а вот голубей не было – наверное, их съели кошки, которые шныряли повсюду. Как и улицы, по которым они шли, площадь тоже была вся в мусоре. Провожатый открыл тяжелую дверь, пропустил в нее Наташу и исчез, не перекрестившись. И деньги Наташа не успела ему вручить – впрочем, она и так уже ему заплатила...

В церкви было прохладно и темно. Яркое уличное солнце, преломляясь в витражах, смутными цветными бликами падало на каменные плиты пола. Приглядевшись, Наташа обнаружила в другом конце храма алтарь и раскрашенное распятие, на котором, свесив набок голову, висел в деревянной набедренной повязке очень худой Христос – совсем темный, как если бы он был негром. Наташа когда-то была в Риме, и на экскурсии по Ватикану группе дали двадцать минут на осмотр Сикстинской капеллы. Там Христос, вершивший Страшный суд, был принаряжен в какую-то тунику с перевязью. У него оказалось довольно атлетического сложения тело, бугристые икры и толстые ляжки. Его мощная фигура подавляла роящихся у подножья престола маленьких грешных людишек, на каждом из которых были только бордовые трусики, похожие на детские... Наташа тогда еще подумала, что это довольно странно – Страшный суд все-таки, а не олимпиада.

Здесь храм был отчасти похож на лекционный зал. Рядами стояли скамейки, отчего-то красные, как в Малом театре. Наташа и решила сначала, что они обтянуты то ли бархатом, то ли плюшем, но нет, они были просто деревянные, покрашенные красной краской. Наташа неловко перекрестилась в сторону распятия – она знала, что христианин может молиться в любом христианском храме, – смиренно присела на краешек крайней скамейки и принялась думать.

Так, завтра Новый год, то есть сегодня тридцать первое число. Странно, но в городе не заметно было никаких приготовлений к празднику. Должно быть, мексиканцы празднуют лишь Рождество, а Новый год для них не праздник, ведь здесь не растут елки. И очень далеко до Лапландии, где, по слухам, живет Дед Мороз... Если бы Наташа курила анашу, то поняла бы, что поймала кайф, *словила приход*, как говорят друзья старшей дочери, – такое у нее было состояние.

Со стороны алтаря ей почудился какой-то шорох, она оглянулась – но нет, Христос висел себе смиренно, не шелохнется. А больше никого не

было: только она и Спаситель. Наташа еще раз перекрестилась и подумала, что скоро православное Рождество. А там и святки, а потом в России будут святить воду на Крещение. И купаться в прорубях. Как это называется – *иордань*... И вдруг впервые она поняла, как далеко она сейчас от родины. И как одинока в этой чужой стране, где даже Новый год не празднуют по-человечески. И что никто ей не подарит подарков. Наташе стало так жаль себя, что она прослезилась. И тут же сделалось лучше. *Где же ты, Валерка, бедный, бедный мой*, сказала она шепотом и с испугом услышала в ответ тихое-тихое эхо ее слов, мигом умершее где-то под сводами храма.

Она вспомнила, что согласно программе ее тура второго числа ее повезут на какой-то остров в Карибском море. Назывался остров Косумель. Красивое имя для острова, сонно подумала Наташа, похоже на *форель*. Интересно, есть ли там в океане акулы. В конце концов действие фильма *Челюсти* происходило где-то здесь, на берегу Мексиканского залива... После смутного воспоминания – она очень давно смотрела этот фильм на видео – Наташа задремала.

Ей приснилась бабушка Марья Петровна Стужина. Одно время после смерти бабушка очень часто снилась Наташе, грозилась пальцем, о чем-то предупреждая: Наташа понимала, что душа бабушки еще не успокоилась, болеет о внучке. Но сейчас бабушка была весела. Кажется, они ехали в поезде, и бабушка что-то показывала Наташе в окне, лукаво улыбаясь. Наташа выглянула и увидела бескрайнюю глиняную пустыню, в которой кое-где торчали елки. Некоторые были наряжены и мигали разноцветными лампочками. Но как-то внезапно деревья стали обглоданными и желтыми. И Наташа поняла, что это не елки, а кактусы, и с сожалением проснулась – ей хотелось досмотреть сон, узнать, что будет дальше и куда бабушка ее везет...

На самом деле она проснулась оттого, что на нее смотрели. Открыв глаза, она увидела сидящего на скамейке перед ней немолодого господина с маленькими очень черными и лоснящимися, будто подкрашенными, усами, как у Чаплина, и красивой сединой, тоже как у актера. Наташа еще успела подумать, что это следующая серия сна и что, по-видимому, в Мексике и сны тоже снятся во многих сериях. Она улыбнулась – самой себе. Но господин, который внимательно изучал Наташу своими черными, навывкате, умными глазами, тоже улыбнулся, отнесся, наверное, сонную Наташину улыбку на свой счет.

– Где я? – спросила у него Наташа.

– Добро пожаловать в страну ацтеков! – внушительно отвечал господин на чистом русском языке, впери в нее черный взгляд. Но ответ не понравился Наташе: выходило, что это не она сама, как заправский конквистадор, добралась до этой страны, а этот вот незнакомец ее сюда привез – так по-хозяйски он себя вел. И вообще: в нем было что-то театральное, выпендриваемое. *Выпендривается*, объяснила себе Наташа дочерним языком. Ей отчего-то этот господин показался неискренним. Отчего он так ловко шпарит по-русски, коли мексиканец?

– Буэнос диас, – задиристо сказала Наташа, понимая, что, кажется, проснулась. И просто представилась: – Наташа..

– Виктор Карерас, – сказал господин. – Адвокат, дипломат, писатель...

Все ты врешь, подумала Наташа, *еще и писатель. Ишь, какой павлин*. И странно, что он представился так неофициально, без отчества, подумала она, но тут же сообразила, что в Мексике, должно быть, нет отчеств. Да и она не назвала своего – Ардальоновна. И представилась еще раз:

– Наталья Брезгина. – Помедлила и добавила: – Историк, доцент.

– Прощу, – сказал сеньор Карерас и повел рукой.

– Спасибо, – сказала Наташа не без вызова.

И они пошли вон из храма, и новый знакомец деликатно поддерживал Наташу под локоток.

Глава 20. Виктор и Сольвейг

– Что ж, – говорила Сольвейг О’Хара, разглаживая Наташину бумажку на стеклянном журнальном столике, посередине которого стояла разрисованная загадочным серым орнаментом огромная черная керамическая миска с земляными орехами. – Далеко он забрался. Это на самом севере, детка, ближе к американской границе. А разрешения для посещения северных мексиканских штатов у тебя наверняка нет.

– Нет, – согласилась Наташа, вспомнив вопрос в агентстве, который ей задали и который ее так удивил.

Они втроем сидели в гостиной апартаментов Сольвейг в небоскребе, расположенном на холме в одном из самых фешенебельных районов мексиканской столицы. Стена гостиной была стеклянная, и город был виден, как в телевизоре. Помимо миски с орехами на столе были, конечно, и рюмки, и лимон, и соль, и бутылка золотой текилы. Текилу ведь можно пить всегда, *до, во время и после*, – это Наташа уже усвоила. Одно было плохо: сейчас она на текилу смотреть не могла, ее мутило и, кажется, расстроился желудок. Должно быть, давала о себе знать та мутная и вонючая вода, что принес ей бармен. Ох, если б он заранее знал, что она *руссо*, принес бы, наверное, минералки...

Но как ни дурно было Наташе после пережитого в Дакторис Колониа, сейчас она отдыхала. Хотя и чрезмерно велика была гостиная, по-иностранному огромный экран плоского телевизора и кудрява береза в кадке, стоявшей на пластиковом полу, в квартире Сольвейг было прохладно и уютно. Забавно, думала Наташа, чтобы отвлечься от неприятностей с желудком, у нас наоборот – в кадках растут как раз кактусы, а березы – на свежем воздухе.

– Русской сеньоре полезна была бы неделька на океане, прежде чем пускаться в дампасы, – сказал Виктор. – Вы, Наташа, как бы это поделикатнее выразиться, несколько зеленого цвета. Не сердитесь, но вы, кажется... как это по-русски... испили нашей водопроводной воды?

– Да, – призналась Наташа. – Испила. И воды, и вашей текилы.

– Ну, детка, текила еще никому не вредила, – вмешалась Сольвейг. – Виктор, возьми у меня в спальне лекарство. Ты знаешь, там, в верхнем ящике тумбочки... Что ж, я не успела тебя предупредить, у нас никак невозможно пить воду из-под крана... – Но как только Виктор вышел бесшумной походкой, Сольвейг положила свою полную руку с фиолетовым маникюром на руку Наташи и сказала, понизив голос почти до шепота: – Виктор очень влиятельный и полезный человек, детка. И очень добрый. Будь с ним поласковее.

Виктор принес лекарство, Наташа по настоянию Сольвейг выпила сразу две таблетки, и ей показалось, что стало легче. Хотя с такой скоростью таблетки никак не могли помочь. – А теперь, – сказала Сольвейг, – оставь адрес у меня, я сверюсь с картой и уточню твой будущий маршрут на север. Если хочешь, приляг – тебе было бы полезно чуть подремать...

– Нет-нет, я пойду. К себе в отель. – Наташа хотела сказать это решительно, но сама поймала себя на том, что прозвучали ее слова как-то жалобно.

– Понимаю, детка. Постарайся заснуть. Имей в виду, у тебя завтра перелет на Косумель. С наступающим!

И ведь правда – Новый год, подумала Наташа.

И все трое чокнулись.

– Как говорят русские: с Новым годом – с новым счастьем! – сказал Виктор. Он говорил по-русски так тщательно и точно, что в этом слышалось что-то искусственное и намеренное...

Когда он довез ее до отеля, Наташа еле держалась на ногах. Виктор довел ее до дверей номера. Склонился было, чтобы поцеловать руку, но тут Наташа пошатнулась. Она сделала отстраняющий жест, ввалилась в

номер и упала на кровать. Виктор тихо прикрыл дверь. Наташе было так плохо, что, перед тем как заснуть, она успела подумать:

«Ну хорошо. А если бы я умерла? Если бы меня просто больше не было на свете? Они бы справились без меня, ведь так? Обе уже взрослые, почти взрослые, и у них есть хороший, добрый отец. А я бы спокойно умерла – в конце концов и это можно пережить... Надо бы позвонить им, я обещала Володе позвонить, едва прилечу, да, позвонить и рассказать...»

Но, как звонить отсюда, она не знала да и не могла бы при всем желании даже набрать номер: у нее не шевелились ни руки, ни ноги. Да и что бы она могла рассказать?

– А я умерла, исчезла, пропала, – твердила она шепотом, понимая, что у нее повысилась температура и, кажется, начинается бред. Но вскоре она все-таки заснула. Хотя по мексиканскому времени не было и пяти часов дня. И проснулась только ранним утром дня следующего – посвежевшая, бодрая и, как это ни было нелепо, в предвкушении праздника и неведомых подарков. Конечно же, Господи, ведь сегодня Новый год!

И тут же раздался звонок. Это была Сольвейг.

– Ты готова, детка?

– А что, уже пора?

– Виктор сейчас заедет за тобой. Он будет через десять минут. И ответит тебя в аэропорт.

– Но у меня же трансфер.

– Не валяй дурочку, детка, – сказала Сольвейг с мягким нажимом. – Виктор не такой человек, чтобы просто так – как это по-русски – транжирить свое время. Отказываться нельзя. Желаю тебе счастливого праздника. И хорошего моря на Косумеле. Это райское место, поверь, ну да ты сама там быстро освоишься, – прибавила она несколько игриво, как показалось Наташе. – Будь счастлива и не глупи. Позвони мне из отеля. Твой маршрут на север будет совсем готов, – прибавила она опять не совсем по-русски и как бы заговорщицки. – Целую, детка!

Сольвейг дала отбой, а Наташа подумала, как ей все-таки везет. Вот так, случайно, в самолете она обрела такую заботливую подругу. Которая в случае чего придет на помощь, которая приняла близко к сердцу ее проблемы. Ведь одна бы она не справилась. Да, путешествие началось на диво удачно... И Наташа сплонула через левое плечо и постучала по тумбочке.

Глава 21. Неужели остров

Так Наташа никогда не жила.

Так богато и комфортабельно. И так бездельно.

Кроме двери в коридор, была и вторая – она выходила в сад, где стояли плетеные столик и пара стульев с подлокотниками. А на столике – скромная вазочка со свежими неведомыми цветами. Наташа вышла в сад и уселась в кресло. Прямо над ее головой и перед ее глазами на ветках неведомых деревьев висели какие-то спеющие плоды, лимоны не лимоны, апельсины не апельсины. Наташа, воровато оглянувшись, сорвала один, ковырнула крепкую кожу – плод разломился с живым хрустом, и Наташе на пальцы пролился зеленоватый сладко-горький сок.

Прямо из этого садика можно было попасть на широкий белый песчаный пляж с небольшими летучими барханчиками. По пляжу изредка проходили загорелые мужчины с золотыми цепочками на волосатой обнаженной груди и в цветастых шортах до колен. Улыбаясь, они показывали большие хищные белые зубы. Женщин видно не было. Там, за пляжем, с отчетливым звуком прибоя плескался искрящийся океан; в воздухе пахло лавровым листом и гвоздикой. И апельсиновым сиропом. Таким, наверное, если Наташа умрет, будет ее рай.

Наташа думала о том, как это странно: не такие уж большие усилия по преподаванию русской истории позапрошлого века могут быть так вот чудесно конвертируемы и вознаграждены. В конце концов она потратила не великие суммы на такое вот неземное удовольствие. На родине за те же деньги можно снять лишь неуклюжий номер в ближнем Подмоскowie с отсутствующей горячей водой, пахнущим вонючей дезинфекцией туалетом и неработающими розетками. К тому же в столовой тебя наверняка обхамят, потому что пузырек горчицы полагается один на пять столов. А попросив себе дополнительный, ты навлечешь на себя шквал здорового гнева, после которого никак не запихнуть в рот голубцы из прошлогодней капусты... Наташа собралась было пофилософствовать на тему, отчего мы, коренные обитатели своей земли, не умеем пребывать на ней в свое удовольствие, отчего у нас повышается настроение только в случае, если мы испортим настроение окружающим согражданам? *Обломаем им кайф*, на дочернем языке... Но думать о далекой сейчас родине почему-то совсем не хотелось. Хотелось жить настоящим.

Тут Наташа вспомнила, что у нее в расписании курортной жизни как раз сейчас запланирован завтрак. После которого она выйдет в город – кажется, он называется Сан-Мигель – и купит купальник. В этом сезоне в моде закрытые, она прочитала в *Cosmo*. Но с голым животом. И хорошо, если на груди будет подложено чуть поролон. Пусть купальник будет василькового цвета, фантазировала Наташа. И две-три густо-синих вертикальных полосы. Именно вертикальных, тогда она будет казаться стройнее. Она станет стройнее, а потом нырнет в океан. У рифа Паланкар, что в проливе, отделяющем остров от материка, где, сказал ей Виктор, когда вез в аэропорт, можно разглядывать под водой прекрасных цветных рыб и куда не заплывают акулы. Да, и не забыть соломенную шляпу. И крем для загара. Хватит ей шести дней, чтобы приобрести этот золотистый оттенок кожи, которым всегда отликает ее первый дачный загар, когда поздним маем она сажает цветочную рассаду?

Наташа наметила себе эту программу, уже выйдя на тенистую застекленную веранду, где прямо из пола росли пальмы и где был накрыт шведский стол с огромным блюдом красно-оранжевых апельсинов посередине, сложенных пирамидой. Она нацелилась на хрустящий круассан, на персиковый джем, на половинку авокадо и на бразильский растворимый кофе. Никакого масла, никакой ветчины! Быть может, только чуть козьего сыра... Здесь было уютно, скатерти белоснежны, улыбчив коренастый пожилой метрдотель в черном, как у пастора, сюртуке, застегнутым под горло, – *потик*, подумала умиленная Наташа, – и даже гул столовой не отвлекал от мечтаний. До тех пор, пока Наташа не поняла с некоторым даже ужасом, что вокруг нее звучит преимущественно русская речь.

Прочие постояльцы отеля были, возможно, немцы, возможно, французы, австрийцы или чехи, они ели свой завтрак неслышно, почти молча, лишь изредка тихо переговариваясь, и даже их маленькие дети вели себя вполне чинно, не мазали джемом скатерти, не протыкали ножами апельсины и не ползали под столами между чужих ног. Соотечественники же были, как сговорившись, бездетны и перекликались так громко, будто заблудились, пойдя по грибы. Кажется, иностранцев, несмотря на обилие детей, живет на белом свете все-таки много меньше, чем нас, русских, подумала Наташа... Не допив кофе, она сбежала в поселок.

Наташа решила отойти подальше от моря и от набережной с рестораничками и нарядными сувенирными киосками и, лишь когда обнаружила на веревках, протянутых поперек узкой улочки, непременно для простой мексиканской жизни, как она уже убедилась, разноцветное белье, умерила шаг и стала разглядывать витрины лавчонок. Такой ее вдруг обаял демократизм – быть может, из неосознанного протеста против буржуазности апартаментов Сольвейг и золотых аксессуаров Виктора. Впрочем, Наташа ведь всегда оставалась провинциалкой.

В лавочках за ничтожные деньги продавались пляжные вещицы, грудились банки и тюбики с самыми разными кремами – для загара, от загара, после загара, – а по углам виднелись какие-то дешевые сувениры, маски и перья. И в каждой в углу стояла коробка с грудой перепутанных туфель, сандалий и шлепанцев, и черным фломастером на картоне было выведено 10, – наверное, нужно было долго рыться, чтобы найти в этой свалке подходящую пару... В одной лавочке Наташа заметила на прилавке несколько раскрашенных маракас. Наташа выбрала именно эту лавочку еще и потому, что в витрине стоял на правой ноге маленький золоченый ангел с крыльями: изящную левую ножку ангел по-балетному оставил назад, а правой рукой протягивал, приподняв над правым крылом, золотой лавровый венок. Будто хотел дотянуться и увенчать Наташину голову. Здесь были прикуплены и цветастые шорты, и маечка с американской надписью на груди *Shut up*, и купальник, и шлепанцы, и крем, и – главное достижение – широкое соломенное сомбреро с цветными ленточками. Когда Наташа расплачивалась, она заметила, что хозяин был как будто разочарован, и только позже догадалась, что он был расстроен тем, что покупательница и не думала торговаться... Ну вот, она стала курортницей и, примеряя шляпу, очень понравилась себе в мутном зеркале, загаженном мухами.

Риф, впрочем, Наташа не стала искать, а устроилась на пляже отеля, напротив собственного номера. Она взяла *из дома* шезлонг, установила его под большим бело-красным зонтом с надписью *Marlboro*. И, пока мазала себя кремом, все озиралась вокруг, не в силах смириться со всей этой красотой, но и зная, что все это ей не снится, потому что была, мы знаем, реалисткой.

По пустынному пляжу носилась стайка мелких беспородных бродячих собак. Судя по их игривости, они тоже были довольны курортной жизнью. Наташа следила за ними: молодая сучка во все лопатки улепетывала от навязчивых женихов. Поровнявшись с сухим деревом, сучка прыгнула на нижнюю ветку и мигом забралась наверх, как кошка. Ухажеры же чинно расселись в кружок вокруг ствола. Тут Наташа заметила, что чуть поодаль полулежит на песке, опираясь на локти, парень и пристально смотрит на нее сквозь большие пляжные зеркальные очки. Сомнений не было – Наташа ему понравилась.

Наташа отвернулась, встала и независимо пошла к кромке воды, показывая бедрами. Парень тоже поднялся. И краем глаза Наташа заметила, что под плавками между ног у него виднеется неестественно внушительный бугор. Боже, неужели при взгляде на ее фигуру он сразу так возбудился? Наташа порозовела, чуть испугалась и, даже не потрогав кокетливо ножкой воду, побежала вперед по мелководью, а потом упала в воду животно. Вода была почти горячей. И Наташа поплыла, то и дело ныряя, но никаких рыб не увидела – у нее не было маски. Да и не очень-то смотрела на них, потому что гадала о том, как могла она на расстоянии так понравиться этому статному красивому смуглому мексиканцу. Простодушная Наташа не знала, что парень этот – из пляжных жиголо, которые продают себя состоятельным немолодым иностранкам. И что в плавки у него заложена специальным образом сложенная ткань – для объема... Но, выйдя на берег, Наташа парня уже не застала: он был разочарован, потенциальная клиентка то ли несообразительна, то ли не одна и скорее всего – судя по самому дешевому и неподному прикиду – не имеет денег.

Что ж, подумала несколько разочарованная Наташа, вытираясь полотенцем и погружаясь в кресло, *так и буду сидеть, и никто мне не нужен*. Она прикрыла глаза и подставила лицо солоноватому мягкому ветерку, чуть ошутимыми порывами доносившемуся с океана. *И никуда не пойду, буду отдыхать*. Собственно, идти ей было ровным счетом некуда. Разве что на обед. И Наташе неожиданно, уже сейчас, не прошло еще и полдня ее *отдыха*, стало скучно. Потому что в течение многих и многих лет у нее не было ни минутки, когда б она ничего ровным счетом не делала. И еще потому, что тот парень не дождался, пока она наплавается всласть... *Я здесь теряю вре-*

мя, сказала она себе. По привычке она чувствовала, что ей непременно нужно куда-то торопиться. *Ведь мне еще столько предстоит...* Знала бы Наташа, насколько на сей раз она была права.

Глава 22. И отель

Потому что после обеда в *салоне* – так называли обитатели отеля *пиано бар*, отделенный стеклянной стеной от столовой, – Наташа обнаружила наряженную елку. Конечно, это была искусственная елка, но с ярким серпантинном, огромными гламурными шарами, перевитая гирляндой разноцветных лампочек. В укромном месте, на основании веточки, у самого ствола, Наташа обнаружила даже кокетливого зайчика на прищепке-ноге, а под елкой – Санта-Клауса в красном зипуне, с белой бородой и с мешком за плечами. *Наверное, он прибыл сюда по туру, как и я*, подумала Наташа и разве-селилась.

Она зашла сюда выпить кофе и съесть мороженого. И нашла на столике извещение, написанное по-английски, что вечером здесь состоится встреча Нового года – подарок администрации *дорогим гостям*. Впрочем, дорогими, по мнению Наташи и судя по цене на кофе, были не постояльцы, а сами хозяева.

Но так или иначе – это было к месту. Наташа тут же принялась продумывать, в какое именно платье ей следовало бы нарядиться. У нее было одно вечернее, но интуиция ей подсказала, что здесь, на курорте, это будет скорее всего перебор. Так и не приняв решения, она сообразила, что потихоньку подсмолит, во что оденутся другие отельные дамы. Тогда и решит.

С собой в бар Наташа захватила путеводитель по Мексике на английском языке, позаимствованный в большом стеллаже в холле. Здесь было много красивых, с золотым тиснением разных справочников, альбомов и описаний – дорогих, с цветными иллюстрациями, по-немецки, по-английски, по-французски, даже по-польски, но вот по-русски ничего не было. Однако национальная гордость Наташи не слишком пострадала, потому что на одной из полок, как бы в компенсацию, она обнаружила произведение своей соотечественницы Полины Дашковой на немецком языке под оксюморонным названием *Русская орхидея*. По нашей русской привычке Наташа слегка удивилась, как все это богатство постояльцы еще не сперли.

Наташа принялась листать путеводитель и обнаружила, что Мексика – весьма большая страна, крупная на севере, где над ней нависли толстым задом, грозя придавить, США, и с носом крючком вниз налево, который будто принохивается к маленьким Белизу с Гватемалой. Еще больше удивило Наташу, что знаменитая на весь мир американская Калифорния, с серфингом, постаревшими хиппи, гомосексуалистами, Голливудом, вилами Беверли-Хиллз и губернатором-терминатором, который, как утверждал ее аспирант-грузин, непременно станет президентом, на самом деле вовсе не американская – США досталась лишь маковка полуострова на севере, – а принадлежит в основном Мексике...

Когда Наташа вернулась в номер, она обнаружила в вазе огромный букет алых роз. Она было решила, что розы тоже – от администрации, но заметила записку. Это была большого формата карточка, на которой был нарисован тот же, такой знакомый Наташе, увитый новогодней гирляндой кактус. Мигом у нее задрожали руки и задрожали глаза: *как он меня нашел, как, как?..* Но из текста на обратной стороне она с разочарованием уяснила, что розы ей прислал Виктор. Его подпись стояла под фразой, написанной по-русски и с витиеватыми росчерками: *уверенный, что вечер удался хорош*. Говорил Виктор по-русски лучше, чем писал.

И тут же резко – Наташа вздрогнула – зазвонил телефон, как-то неприятно дребезжа и сипло подренькивая. Она взяла трубку.

– Наташа? Вас ждет обед в ресторане на втором этаже отеля *Эльсинор*. – И раздались гудки.

Удивляясь самой себе, она вдруг заволновалась, заторопилась, заметалась. Конечно, это был Виктор, но какая-то сумасшедшая, нелепая, невозможная надежда притаилась в ее колотящемся сердечке: а вдруг это *он*? Могла же Сольвейг дать телеграмму – адрес-то у нее, – мог же Валерка прилететь... *Ну да, спрыгнуть с парашютом*, сакрастически оборвала она себя, продолжая верить в несбыточное... И уже через четверть часа в вечернем платье, *дыша духами и туманами*, как они с Нелькой это называли когда-то, Наташа входила в роскошный зал ресторана – с фонтаном посередине, – чуть недовольная собой, что пришла чересчур быстро. *Скажу – проголодалась*, наивно решила Наташа.

Виктор встал ей навстречу, он был ослепителен. Таких мексиканцев надо помещать на обложки туристических проспектов или живьем пускать по залам туристических фирм. На нем был бежевый, цвета глины, пиджак без нагрудного кармана – у нас такой китель иногда носил депутат Маслаковский, автор Указа. Пиджак имел по бортам два ряда крупных декоративных медного цвета пуговиц, не предполагавших застегивания. На брюках, которые лежали густыми складками на лакированных медного же цвета штиблетах, были коричневые лампасы, что делало их обладателя чуть похожим на швейцара. Под пиджаком – того же, что и костюм, цвета, глухо застегнутый жилет, под жилетом – белоснежная накрахмаленная сорочка, а вместо галстука – шелковый красный шарф, повязанный бантом. Виктора можно было рассматривать, как танцора диско: скажем, пуговицы на пиджаке были неодинаковые – чем выше, тем крупнее, пуговицы на жилете были сгруппированы по три, и между каждой тройкой оставался зазор, а по алому банту были рассеяны мелкие какие-то беленькие пиктограммы. Он протянул Наташе смуглую холеную руку со скромным золотым перстнем с печаткой на среднем пальце. Сраженная этим театральным шиком, Наташа тоже протянула руку – для поцелуя. Виктор склонил голову – волосы *соль с перцем*, ровный пробор, и за время довольно долгого поцелуя Наташа уловила волнующий горьковато-томный запах его духов. Она осела на подставленный стул. Официант выдернул из серебряного ведерка потную бутылку шампанского, которое тут же запенилось в Наташином бокале.

Глава 23. Виктор

– И что же все это значит? – выговорила Наташа, поперхнувшись шампанским, которое оказалось очень сухим и ледяным. А Наташа ведь любила с общежитских еще пор – полусладкое.

– Наш друг поручила мне вас развлечь, – отвечал кабальеро.

– Что ж, постарайтесь, если получится, – нагло вато бросила Наташа, несколько уязвленная тем, что Виктор всего лишь выполнял поручение Сольвейг, а вовсе не подчинился собственному романтическому порыву.

Он сухо продолжил:

– Вот вам разрешение на пребывание на севере. И вот карта с вашим маршрутом – Сольвейг просила вам передать.

Наташа развернула карту: это был очень четкий план, нарисованный от руки. И приписка: *помни, индейцы тафуама не говорят по-английски*.

– Спасибо. Но отчего такой... такой мексиканский принц слушается старую чужую женщину, как еврей родную маму?

– Я многим обязан ей, – просто сказал Виктор. – Однажды в Москве она спасла мне жизнь. Ну, вы понимаете, дипломатические миссии зачастую сопряжены с риском... Старая история, как-нибудь потом можно будет вернуться к этой теме... Но не хотелось бы... – Он взглянул на Наташу, как бы проверяя, понимает ли она его.

Как ни далека была Наташа от этих сфер, ей хватило сообразительности понять, что за миссия была у Виктора в России. *Шпион, этого мне еще не хватало*, сказала она себе.

– Скажите, Виктор, только честно, отчего Сольвейг так носится со мной? Она, конечно, весьма... необычная женщина. Но в конце концов мы едва знакомы... – Наташа вспомнила, как Сольвейг, внешне такая снисходительная, всплеснула руками и воскликнула по-испански, когда увидела Наташу, которую Виктор нашел в храме, на пороге своего дома *аве Мария, гратиа плена*, что Наташа перевела по-русски *слава Богу*...

– Ну-у... – протянул Виктор и достал золотой инкрустированный какими-то цветными камушками портсигар. – Вы позволите?

– Курите на здоровье, – процедила Наташа, начиная не на шутку злиться. Потому что она привыкла все понимать, ценила ясность и точность, иначе не надо и думать заниматься наукой. А тут один туман. И небезопасный туман.

– Ну, во-первых, вы ей нравитесь... да. – Появилась и золотая зажигалка, и Наташа невольно загляделась на отполированные, овальные, розовые с фиолетовым оттенком ногти Виктора. – Но это, конечно, не все, – продолжал он. – Думаю, вы подкупили ее своей историей... Знаете ли, к старости люди делаются... как это сказать... сентиментальны.

– К старости делаются глупыми и эгоистичными! – отрезала Наташа, вспомнив свою свекровь Фиру, на которую самым странным образом Сольвейг внешне была чуть похожа.

Виктор, казалось, не услышал ее. Он затаился, выпустил ароматный дым и продолжил:

– А Сольвейг к тому же осталась добра. Так вот, нечто похожее на ваш случай было у Сольвейг в молодости.

– На мой случай?

– Ну в некотором роде. Наверное, она тоже хотела бы увидеть своего первого мужа.

– И что же ей мешает?

– Он умер молодым много лет назад. На ее руках. Точнее, положил голову ей на грудь, обнял ее за шею, вздохнул – и умер.

– Ужасно, – сказала Наташа, притворно хлопая глазами. Но и подозревая, что ее, как выразился бы Валерка, *парят*.

– Они ходили в одну и ту же школу. На Чистых прудах. Вы москвичка?

– Нет, – ответила Наташа с запинкой. – Но живу в Москве последние двадцать пять лет.

– Москва – красивый город, – дежурно заметил Виктор. – Что будете есть? Может быть, для начала что-нибудь рыбное?

– Да... что-нибудь легкое... на ваше усмотрение...

Виктор повернулся к официанту, который так и стоял у них за спиной. Тот позвал метрдотеля... Красива ли Москва? Наташа не любила этот город. Как хорошо встать спиной, наконец, к кондитерским храмам Василия Блаженного и павильонам ВДНХ, к чудовищным византийским сталинским высоткам, к мелкому дурно одетому люду, вечно ждущему троллейбуса по всему грязному Садовому кольцу, к пирогам с капустой, ко всей этой никакой не социалистической и не капиталистической, а торгашеской и мешанской Москве, о чем говорит и ее новая архитектура... А лицом повернуться на юг, к чарующей и пышной, пылающей Мексике, барочной, а никакой не готической, как отчего-то пишут в Советском энциклопедическом словаре. Мексика – родина мира, так, кажется, говорила Сольвейг Наташе в самолете...

Перед их столиком стоял метрдотель. В каждой руке у него было по чудовищу. Кажется, это были огромные лангусты. Чтобы продемонстрировать, что они еще живые, метрдотель ловко нажимал им на глаза – и твари поднимали и опускали плоские зазубренные хвосты.

– Который глядит на сеньору? – спросил Виктор.

– Этот вот... Нет, тот.
– Гриль? Или духовка?
– Г-гриль, – ответила, запнувшись, Наташа, – но я же такого не съем.
– Как это говорят русские – запросто. – И Виктор что-то сказал метродотелю.

Тот повернулся и понес прочь этих еще живых морских гадов, раскрашенных природой в серо-зеленые с красным тона. И тут Наташа вспомнила, что утром вдоль пляжа, где она нежилась в шезлонге, длинной вереницей проплыли рыбацкие лодки. Может быть, именно они и поймали Наташе на обед лангуста?

– Сеньора будет запивать лангустов шампанским? Или спросить белого вина? Советую попробовать нашего калифорнийского...

– Валяйте, попробуем. И знаете что, Виктор, перестаньте надо мной подтрунивать. И зовите просто – Наташа.

– С удовольствием. И вы еще не знаете – с каким.

Глава 24. С Новым годом

Им подали большую деревянную подставку с соусами в изящных розетках, уксусом и оливковым маслом, им принесли две дюжины запеченных устриц и белого калифорнийского вина – на закуску. Устрицы были восхитительны, соусы очень острые, а холодное калифорнийское отдавало на вкус Наташи крымским мускатом.

Потом дошла очередь до лангустов, и Наташа удивилась, как скоро они были приготовлены. Тут за столом состоялся хирургический семинар – так показалось Наташе: Виктор учил ее есть этих чудовищ. Собственно, с панцырем и клешнями Наташа справилась самостоятельно: отец с детства брал ее на Шарташ ставить верши на раков. Но на отдельном блюде им подали гору мелких конечностей, а также груды милых и сверкающих инструментов, похожих, как показалось Наташе, на гинекологические: щипцы, ланцеты, иглы разных размеров, совочки и миниатюрные ложечки, как для варенья.

– Это искусство, но доступное искусство. Никак не сложнее, чем есть палочками рис, – говорил Виктор, показательно манипулируя инструментами.

Наташа вынуждена была признать, что, хоть и бывала в китайских ресторанах, но всегда просила подать нож и вилку. Тогда Виктор попросил ее взять в руки щипцы и повторять за ним его движения. У Наташи получалось неважно...

Потом они ели барашка на вертеле. Потом еще что-то, Наташа уже не помнила, поскольку объелась. На десерт они решили перейти в бар. Расслабленная вкуснейшим обедом Наташа тут же согласилась на *маргариту*, и ей подали коктейль в огромном бокале, напоминающем вазочку для мороженого. Из бокала торчал неведомый бумажный цветок – на самом деле это была коктейльная трубочка... Подобревшая и размякшая Наташа, естественно, стала говорить о своих детях. Но прежде осведомилась:

– А у вас дети есть?

– Я уже дед, – улыбнулся Виктор.

– А я еще нет.

– У вас это называется бабушка. Да, бабушка.

– Как ваша жена.

– Моя жена умерла. Я вдовец...

Наташа было прикусила язычок, не зная, говорить ли слова сочувствия. Лишь подумала: вот отчего он так носится со мною, просто *он – одинок, он очень одинок...* Она было заколебалась, проводить ли мучительный для любого мужчины показ детских фотографий, но Виктор перенес этот сеанс

стоически, вежливо восхищаясь красотой Наташиных дочек. Как факир-шарлатан, Наташа пропускала все снимки с Володей – сама не зная отчего. Виктор, конечно, заметил ее манипуляции, однако не подал вида.

– Они у меня умные. Много умнее своей матери, куда мне до них, – несла Наташа хмельную ахинею, но Виктора, казалось, это даже трогало. Он лишь скромно заметил, что новые поколения неизменно теснят старших, и с этим уж ничего не поделаешь.

– Младшая, представляете, с детства была настроена... как бы это сказать... на лингвистику.

– Быть может, она станет писательницей, – поддакивал Виктор.

– Однажды, ей было лет пять или шесть, она спрашивает меня: зачем папе перочинный ножик, если у него нет перьев? – И Наташа сама рассмеялась – как ей казалось, обворожительно. – Или вот: она услышала по телевизору, как вертолеты назвали винтокрылыми машинами. И спросила: почему они крылые, если крыльев у них нет?

Тут Виктор озоботился, чтобы маргарита была повторена, поскольку Наташа, не заметив, высосала предыдущую до дна..

– А старшая так и вовсе говорит на каком-то неведомом мне языке. Вы вот можете мне сказать, что такое супер-пупер? Ну супер она употребляет через слово по любому поводу. Но что такое пупер?

– Наверное, это лишь для рифмы, – предположил Виктор...

Они еще поболтали – как раз под вторую Наташину маргариту, – а потом Виктор, взглянув на часы, предложил:

– Давайте поднимемся в ваш номер.

– Зачем? – насторожилась Наташа, несколько даже протрезвев.

– Вам надо принять душ и приготовиться к празднику. Потому что сегодня я приглашаю вас на новогоднюю fiesta мексикано.

– На мексиканскую фиесту?

– Именно. С карнавалом и фейерверками...

– Ура! – захлопала в ладоши Наташа, ловя себя на том, что с Виктором она и впрямь ведет себя, как глупенькая маленькая девочка. Когда в последний раз она могла себе такое позволить? Быть может, с Юшей, но как же это было давно!

Дверь номера открылась – там горел свет. И – екнуло Наташино сердечко – на кровати лежало немыслимой красоты шелковое платье: голубое с тремя вертикальными синими полосами. *Как он догадался, как он мог догадаться?* Она обернулась, и на глазах у нее были слезы. Но Виктора в номере уже не было.

Наташа еще не успела толком примерить платье, опасаясь, не будет ли оно узко ей в бедрах, как раздался звонок.

– С Новым годом, Наташа, – сказал голос Виктора в трубке. – Я жду вас через час в холле...

Глава 25. С новым счастьем

Они устроились сбоку полукруглого амфитеатра, где каждый ряд столиков стоял чуть выше предыдущего и был отгорожен чем-то вроде циновок так, что соседней не было видно. Хоть и было слышно. Эстрада, увитая цветочными гирляндами, тоже полукруглая, оказалась внизу, почти под ними. На столике их уже ждали закуски и шампанское в серебряном ведерке со льдом.

Больше всего Наташу поразил темп, в котором все вокруг как-то разом закрутилось. Тенями скользили официанты, но не в черном, как в ресторане, а в каких-то национальных одеждах – быть может, это были легкие стилизованные пончо. Невидимый оркестр заиграл увертюру. Потом на эстраде оказался очень смуглый черный господин, конферансье, по-видимому, который стал что-то очень быстро говорить. Наверное, его шутки

были уморительны, потому что за невидимыми соседними столиками то и дело громко смеялись мужчины и, повизгивая, вторили им женщины. Вслед за мужчиной на сцене оказался кордебалет и принялся за канкан... Наташина голова уже кружилась от ветра с моря, от запахов южной ночи, от текилы и бурной музыки. Тем более что дамский канкан сменили молодые люди, и, глядя на то, как зажигательно и сексуально они двигаются, Наташа – к собственному удивлению – ощутила волнение очевидно плотского толка. Во времяпряного выступления ансамбля гитаристов совместно с арфистами Наташа и вовсе разволновалась, махнула еще шампанского и не сразу заметила, что на ее руке лежит ладонь Виктора. Руку она убирать не стала. Потом был ксилофон, на котором играли одновременно четыре человека: *маримба*, шепнул Виктор, но Наташа не поняла, к чему относится это слово. И тут Наташа обомлела: под эту томную мелодию она когда-то целовалась на танцплощадке с совершенно незнакомым парнем. Это была Ла Мамба. И Наташа склонила голову на его плечо...

Странно, насколько плохо она помнила дальнейшие перипетии этой новогодней ночи, настолько чуть не до слова могла повторить то, что шептал ей на ухо Виктор. А говорил он – о России. О том, что там, в снегах и дипломатических заботах, ему очень помогла одна русская женщина. Звали ее, конечно же, тоже Наташа...

У Наташи было чувство, что ей рассказывают сказку, причем знакомую: свирепое КГБ охотится за мексиканским рыцарем плаща и кинжала по заветным улицам неприятной русской столицы; и прекрасная русская женщина, без памяти влюбленная, пренебрегая смертельной опасностью, дарит себя шпиону. Что-то среднее между «Доктором Живаго» и Ле Карре. Но эта мелодрама звучала так ностальгически в вихре мексиканского карнавала, приуроченного к тому же к новогодней ночи, что казалась упоительной. Сейчас довольно чопорная Наташа с удовольствием услышала бы какие-нибудь пикантные подробности, но сказки Виктора были и патетичны, и сентиментальны... Наконец, Наташа шепнула:

– А где же вы встречались?

– О, это было так нелегко. У меня в отеле было невозможно. И нельзя было снять гостиницу. Она принимала меня у себя... как это называется... в коммуналке... Но страсть приходилось сдерживать, хоть мы и заводили громкую музыку...

О, это все мы проходили, подумала Наташа, вспомнив давнего коммунального соседа своего мужа, тогдашнего лейтенанта, но вслух лишь восхитилась отваге своей тезки. Потом она вдруг на удивление явственно вспомнила Валерку и обрадовалась, что встретятся они совсем скоро... Виктор говорил и еще что-то о своей снежной королеве, но Наташа уже была в забытии...

Она проснулась в своем номере. Жалюзи были сомкнуты, и тихо журчал кондиционер – Наташа уже привыкла к этому постоянному мексиканскому звуку. Она нашла себя одетой на неразобранной постели. Ее дивное новое платье оказалось задрано и нещадно помято. И под ним ничего не было.

Ее охватил гнев. Конечно, вечер был на славу, но ведь чем дело кончилось: такой идальго, с горечью думала она, а изнасиловал женщину, которую сам же напоил до бесчувствия. Права была Женька, все мужики... Наташа не подумала эту свежую мысль, потому что в номер постучали. Она еще ничего не успела ответить, как вошел Виктор.

Она попыталась приподняться, но голова закружилась, номер чуть покачнулся, и ее едва не стошнило. Она опять откинулась на подушку, только сейчас осознав, до чего ей плохо.

– Вот, – сказал Виктор, – выпейте.

Сил на препирания у нее не было. Она с трудом приподняла голову и глотнула из длинного стакана что-то холодное и отдаленного знакомого вкуса. Струйка побежала по подбородку и капнула на шею.

– Я уезжаю сейчас же, – только и сказала Наташа и опять заснула.

Глава 26. Поехали

Наташа продремала и всю дорогу до материка – Виктор эвакуировал ее морем, – тем более что паром покачивало. У стоянки автомобилей в *Макдоналдсе* Виктор пытался накормить ее хоть чизбургером, но она с отвращением отказалась, хоть и согласилась беспринципно выпить в соседнем баре ставшую непременной *маргариту*. Наташа презирала себя, но еще больше презирала его, лощеного придурка – *а еще шпион*. Поэтому за все это время они не перемолвились ни словом. Потом Наташа опять закемарилась.

Очнувшись она только, когда машина замедлила плавный ход, преодолевая горный подъем, и завилась по серпантину. Наташа повертела головой – шея затекла – и была поражена красотой, стоявшей вокруг. Дорога петляла между нависающими скалами, но иногда справа открывался вид на долину, где по склонам стояли золотого цвета сосны. Наташа хотела было спросить, где они находятся и куда едут, но вовремя спохватилась, что она с ним не разговаривает.

И тут заговорил он:

– Сеньора не хочет узнать, отчего на ней ночью... как это сказать по-русски... де-ли-кат-но... убьют нижнее белье?

Наташа покраснела и ответила:

– Не хочет. Говорите.

– Сеньора собиралась нырнуть в бассейн в холле отеля и решила переменить свой бальный костюм на купальный.

Он врет, решила Наташа, но все равно ей стало невероятно стыдно. А что, если это действительно было так? И ей захотелось его убить. А это, говорила же Сольвейг, в Мексике стоит совсем недорого.

– Несколько молодых американцев там уже плавали, и сеньора, надо думать, хотела присоединиться...

Боже, я снимала трусы в холле? После этой мысли Наташа уже не сомневалась, что убить Виктора необходимо. Хоть у нее и мелькнула справедливая мысль, что в такой ситуации спутнику женщины бывает за подобное ее поведение, мягко сказать, неловко. *Ну и пусть, все равно*, подумала Наташа. И захотела еще текилы. Ей не пришлось в голову, что подсознательно она всегда мечтала повторить хоть один из восхитительных подвигов Витьки Шипицына, на что ее жизнь никогда не оставляла ей ни единого шанса...

– И что вы хотите этим сказать?

– Я всего лишь подумал, что вам это будет интересно. И внести некоторую ясность... как это, избежать двусмысленность. Впрочем, я вас не виню, вы женщина, обычно пьющая мало...

Он бы еще меня винил – сам же и напоил до скотского состояния, скотина такая; убить – мало. Однако Наташа вслух ничего не сказала, не обратив, впрочем, внимания на тавтологию. И вдруг поняла, что мотор слышен тише и тише, а потом будто и вовсе выключился. Они ехали по краю какой-то цветущей долины у почти отвесных гор; внизу текла бурная горная речка, прыгающая, сверкая, по валунам, но и ее слышно не было. Наташа хотела сказать, что так быть не могло, у нее нет привычки купаться в фонтанах, тем более без трусов – и попыталась сделать это. Но не услышала своего голоса. Она погрузилась в полную тишину. *Ну вот, я оглохла от их текилы*, сказала себе Наташа, *может быть, это еще пройдет... может быть, это временный симптом, с похмелья... и потом Валерка ведь врач...* Она подумала об этом и поймала себя на том, что за время ее путешествия уже привыкла думать о Валерке так, будто он был рядом. И, быть может, был рядом всегда. Впрочем, хоть она и была очень огорчена, мысль о том, как гинеколог будет лечить ее уши, чуть развеселила ее. И еще она подумала, что в такой тишине выстрела бы никто не услышал. Впрочем, у нее ведь не было пистолета. *Забыла дома*, как наверняка сострил бы Валерка.

Долина расступалась, и звук мотора постепенно возвращался. Они еще немного поднялись вверх и свернули на вполне горизонтальную поверх-

ность. Но было странное чувство, что она – в самолете: у нее заложило уши. Она поковыряла в них детским жестом, как после купания.

– Мексиканское нагорье, – сказал Виктор, – три тысячи метров над уровнем моря. Скоро мы выедем на трассу сто два.

– И что? – глупо поинтересовалась Наташа.

– Эта трасса ведет на север, – скупно ответил Виктор. – Прямо на Лос-Мочис.

По трассе они ехали долго, пока не приехали в неприглядный городок. Виктор свернул на эстакаду, проскочили мост, потом скользнули под другой и оказались на площади перед низким зданием, над которым развевался флаг. Не тот – с орлом и змеей, а другой, тоже трехцветный, но на среднем голубом поле – целая картина в прихотливой желтой рамке с красными загибами: тут тебе и горы, и головы, что ли, собак или быков, и какие-то зеленые растения, похожие на стручки, – хорошо было не разглядеть.

Виктор аккуратно поставил машину на разлинованное место для парковки, сказал:

– Подожди здесь.

И исчез. Он долго не возвращался, и Наташа соскучилась, потому что смотреть на площади после фиесты мексикано было ровным счетом не на что: то пройдет какой-то индеец в сомбреро, то ветер хлопнет флагом на флагштоке.

Наконец, Виктор вернулся.

– Здесь, на вокзале, есть туалет и бар, – сказал он. – Я купил твой билет до Чиуауа. – Кажется, он сегодня стал хуже говорить по-русски. – Поезд примерно через полчаса. Но это необязательно, – загадочно прибавил он.

– Что значит – необязательно? – не без вызова спросила Наташа.

– В Мексике поезда редко ходят по расписанию. Ты не потеряла карту? Помни, в Чиуауа тебе надо пересесть на местный автобус... В поезде тоже комфорта немного. Как говорят у вас в Европе – плацкарт.

– Нет, карту я не потеряла, – сказала Наташа, которой стало страшно. Ведь *индейцы тараумара не говорят по-английски*. Она жалобно посмотрела на Виктора, которого только что намеревалась убить. *У меня осталось времени вытти последний глоток текилы*, вспомнила она – надо было надеяться – не к месту.

– Я дальше ехать не могу, – мягко сказал Виктор, наверное, поймав ее жалобный взгляд. – Как бы это сказать: у меня на севере нет друзей. И много врагов...

Ага, значит, он *шпионил и на наших*, сообразила Наташа, и за это ЦРУ его не любит. Но это, конечно, она – вместе с дочками и мужем – насмотрелась разных шпионских видео. Ей действительно захотелось в туалет.

– Я пойду, переоденусь в шорты. Жара несусветная, – сказала Наташа.

– Этого я не советовал бы тебе делать, – сказал Виктор серьезно.

Наташа своенравно дернула плечом и удалилась, взяв с собой и сумку, и чемодан.

В туалете ужасающе воняло. Над единственным железным отверстием, *очком*, называл это Валерка, сидела на корточках средних лет индианка с задранной чуть не до головы юбкой – край подола она придерживала подбородком. Быть может, у нее был понос. Она посмотрела на Наташу жалобно, будто извиняясь. Ни о каких шортах и речи быть не могло... Когда Наташа снова вышла на площадь, Виктора нигде не было. Как и его автомобиля.

Глава 27. Неужели сама

Наташа беспризорно побродила по вокзалу, пока не нашла табло. Нужный поезд действительно в нем значился: Чиуауа. Почти так зовут китайскую лохматую собаку с лиловым зевом, если вставить пару *x* – когда-то та-

кая была у одного из Алкиных женихов... Здесь же был и сувенирный киоск. От страха и досады неизвестно на кого Наташа купила в нем красную ленту с узкими тесемочками на концах. И повязала ее на свою русую голову, почувствовала себя увереннее, но еще не вполне мексиканкой. И отправилась на поиски своего перрона.

Это, как выяснилось, тоже было не так сложно: перронов на этом вокзале было только два. Когда она оказалась на нужном, пустой поезд как раз подкатил задом – его с головы подпихивал тучно дымящий паровоз. Поскрипев и подергавшись, поезд остановился.

Наташа вошла в вагон, но номера места в ее билете указано не было. Она села, как пришлось, в среднем купе, не отделенном, как и в сортире, дверями от коридора. Села к окну, лицом по ходу. Она поставила свой небольшой чемодан на лавку к стенке, чтобы опираться на него локтем, – предосторожность, чтоб не сперли: в ней заговорило крестьянское, от бабушки Стужиной, – а сумку решила держать на коленях. *Если появятся симпатичные соседи, подумала она, то на каком языке я с ними смогу заговорить?*

Однако никаких соседей до самой отправки так и не появилось, хотя по коридору то и дело ходили какие-то люди, гортанно перекрикиваясь, – Наташе они напоминали цыган, что шастают по подмосковным электричкам. Но ничего купить ей не предложили. Впрочем, Наташа боялась обращаться, хотя, конечно, ей было очень любопытно. Она опасалась встретиться с этими мексиканскими цыганами взглядом, как будто ехала незаконно. Некоторое ощущение своей преступности не оставляло ее, и тот факт, что в сумочке у нее лежало официальное разрешение, никак не успокаивал. Недолгое пребывание в этой стране породило у нее ощущение, что порядки здесь напоминают российские. Только люди значительно вежливее. И если местные милиционеры – должно быть, они зовутся полицейские – ее спросят в лоб, куда, а главное, зачем она едет, она не найдет, что ответить. *К мужу?* Но ведь только она одна знает, кто действительно на этом свете – *на этом том свете*, отметила Наташа, – есть ее настоящий муж.

Поезд дернулся, набрал ход, довольно прытко выбрался из грязных пригородов, больше похожих на деревню, завешанную сохнувшим разноцветным тряпьем, – Наташа не уставала дивиться этой мексиканской частной чистоплотности при том, что вокруг, в общественном пространстве, все было так грязно, – и покатил было кукурузным полем. Но тут же заступал по мосту над довольно глубоком оврагом – каньоном, наверное, – унырнул в черный туннель, и над окном включилась настолько тусклая лампочка, что при ней не только читать, но и разглядеть лица попутчика было бы нельзя. *Разве что заниматься любовью*, ни к селу ни к городу подумала Наташа. И, как всякая женщина, мыслящая в этом отношении много конкретнее, чем всякий мужчина, подумала *но с кем же?*

Когда поезд, наконец, снова вышел на свет Божий, Наташу отвлекли виды. Поезд опять шел как бы по горе, а внизу теперь были видны буйно разросшиеся леса листовенного свойства. Наташа подумала, что они напоминают уральские – своим буйством и дикостью. Интересно, растет ли в них на солнечных полянках земляника... И тут Наташа, безусловно, снова заснула бы, разжала руки и неизвестно, осталась бы при сумочке, но в дверях началась какая-то толкотня. И в купе вошла старуха-индианка, толкая перед собой небольшую козу.

Коза, по-видимому, была совсем молоденькая и симпатичная, она умильно двигала розовыми губками и смотрела умными черными глазами из-под белых бровей. Наташа вежливо улыбнулась сначала козе, потом старухе и поняла, что опять засыпает. Она успела подумать, что старуха с козой не украдет у нее ничего, сунула сумку под бок и все-таки заснула.

Глава 28. Другой вид транспорта

Перед отправкой автобуса, который должен был везти Наташу из старинного города Чиуауа дальше на север, она отказалась сдавать свой чемодан в багажное отделение, которое помещалось в боку автобуса под грязной откидывающейся крышкой. Водитель лишь покачал головой и ухмыльнулся, но возражать не стал. Зато Наташа показала ему свою заветную бумажку, и он кивнул, сделал жест: мол, проходите. Дело в том, что Наташа страшно боялась сесть не в тот автобус.

Она хотела было втиснуть чемодан под ноги, но кресла стояли слишком тесно, поэтому Наташа пересела на заднее сидение, а чемодан поставила к стенке, на пол.

Она была так возбуждена приближением к цели, что почти не смотрела на город. Заметила лишь, что этот – даже более американский, чем все виденное: все вывески здесь были по-английски. За площадью, где высился непременный, как кактус, собор с голубями, автобус, поплутав, пробился сквозь бесконечные заводские кварталы с прямыми дымящими трубами и выехал, наконец, на шоссе.

В салоне было грязно и страшно душно – кажется, никаких кондиционеров здесь не было предусмотрено. Коз никто не вез, но, судя по лицам и одежде, ехали в автобусе крестьяне, может быть, пастухи, потому что от них слегка паховало хлебом. Кое-кто из пассажиров достал какую-то снедь, но едва у одного в руках оказалась бутылка, как шофер, видно, заметив ее в зеркало, что-то громко крикнул, и бутылка исчезла.

Наташа испытывала такое волнение, какого давно с ней не случалось: в последний раз что-то подобное она чувствовала перед защитой диссертации. Но в том-то и дело, что тогда в ее руках было защищаться, а сейчас она доверилась судьбе... Она сомневалась и всячески корила себя. За последние дни Наташа так уверилась в правильности своей авантюры, а теперь говорила себе *куда, зачем, зачем...* Сейчас, в этом вонючем автобусе, Наташе казалось, что она и здесь Валерку не найдет, как не нашла его в Мехико. И уже уговаривала себя: *ну ничего, ничего, надо только убедиться, а деньги ведь есть, и есть в Москву обратный билет...* Она уже представляла, как, сидя на уютной кухне Алки, она будет потягивать мартини – Алка пила только мартини с кампари и соком, – и рассказывать о своих невероятных приключениях. Нет, не о том, конечно, что не нашла никакого Валерки, – Алка не знала о цели ее поездки, и никто не знал и не узнает, только Сольвейг, но это не в счет, – а о головокружительном приключении на карибском острове и о фиесте мексикана...

Автобус затормозил, потому что слева остановился встречный автобус, точно такой же. Наташе хорошо было видно, как из чужого автобуса вышел точно такой, как их, водитель, и тут же появился и Наташин. Они перекинулись парой слов, растегнули ширинки и, стоя плечо к плечу, помочились на обочину. Потом стукнули друг друга по плечу и громко крикнули *адьес, амиго*, и каждый поехал своей дорогой. И Наташа подивилась такой традиции, решила, что и об этом расскажет Алке, поделится своими этнографическими наблюдениями...

Ехали уже около двух часов, а Наташу никто не окликал. Люди выходили и входили, причем никаких обязательных остановок не было, как у московского маршрутного такси. На Наташу шофер не обращал никакого внимания. Она совсем уж было собралась напомнить о себе, как автобус остановился, открылась задняя дверь, и шофер показал ей знаками: мол, приехали. Наташа засуетилась, подхватила, стала искать свой чемодан, но никакого чемодана там, где она его устроила, не было. И вообще нигде его не было. Наташа дернулась вперед, заглянула под соседние сидения, но тут водитель нетерпеливо загудел. Да, чемодан исчез. Ошарашенная, еще не вполне понимая, что произошло, Наташа, прижимая к груди сумочку, вышла на дорогу. И вскоре осталась одна среди кактусов и желтых полей.

Глава 29. Неужели пешочком

Вот тут-то Наташа и решила больше ничего не бояться. Будь что будет. Терять без чемодана ей было больше нечего. Ведь в чемодане было ее новое платье, в котором она хотела предстать перед Валеркой, используя на манер свадебного наряда. И нужды нет, что подарил это платье другой. *Какое это имеет значение.* Как говорит ее старшая дочь отцу, пеняющему ей за мотовство, *кого волнует чужое горе.* Наташа как-то не подумала, что у нее, помимо пропавшего чемодана и сохранившейся сумочки с деньгами, паспортом и билетом на самолет, остаются еще неувядаемая девичья красота, русая головка, неплохое белое тело и жизнь. *А тараумара не говорят по-английски...*

Сверившись с картой, Наташа смело пошла мимо стены кактусов вперед по разбитой, источенной дождями глинистой дороге. *Так бесстрашно по этой земле некогда ходили конкистадоры,* опять думалось ей. При том, что она весьма туманно представляла себе историю завоевания Мексики.

Наташа шла и размышляла о том, что *так* она впервые в жизни встретила Новый год – на другой половине Земли, вверх ногами. И, наверное, это никогда уж не повторится... Она попыталась вспомнить, были ли в ее жизни раньше столь необычные встречи Нового года, и по всему выходило, что была только однажды – тогда, на даче с Валеркой, когда она стала женщиной. *Тогда вверх ногами,* подумала Наташа саркастически. И если теперь добраться *до него* под Новый год не получилось, то, во всяком случае, она была совсем близко, в *его стране.* И уж на Рождество они будут вместе непременно. И Наташа прикинула, что до православного Рождества осталось еще дня четыре. *Дойду же я до него за эти четыре дня...* Так недавнее ее малодушие вдруг сменилось на столь же необоснованную решимость.

Внезапно подул прохладный ветер – как-то сразу, одним порывом. Тут же небо стало темнеть. Дело, действительно, шло к вечеру. Чтобы развлечь себя, Наташа стала прикидывать, сколько ей предстоит пройти. По рукодельной карте Сольвейг этого было никак не определить – масштаб там указан не был. По-видимому, прежде всего нужно попасть в какую-то деревню – она значилась в Валеркином адресе, – а там спросить, где живет синьор Адамски...

Теперь дорога шла вдоль русла высохшей реки, на другом, более низком берегу стояли деревья. За спиной послышалось какое-то тихое дребезжанье, испуганная узкая блестящая зеленая ящерица мелькнула у Наташиных ног и скрылась в расщелине на обочине. Наташа обернулась. По дороге очень медленно, чуть ли не со скоростью ее шагов, приближался мул. Наташа не сразу поняла, что мул запряжен в телегу, а в телеге сидит возница. Решив пропустить гужевой транспорт, отступила на обочину.

Мул поравнялся с ней и остановился. Он лениво посмотрел на Наташу черным выпуклым глазом с красным белком и снова принялся отмахиваться от мух измочаленным, в навозе, хвостом. На повозке на груде соломы сидел индеец – совсем без перьев, но в каких-то лохматых обносках, которые, наверное, когда-то были пестрым пончо, – и курил короткую трубку. Лицо у него было вполне индейское, то есть коричневого цвета, а вовсе не красное, как было ошибочно написано в далеком Наташином детстве у Фенимора Купера.

– Хай, – сказала Наташа, – хау ар ю.

Индеец вынул трубку изо рта. У него был несколько потусторонний взгляд. Он сказал, помолчал:

– Ку томас, гринго?

Наташа виновато пожала плечами.

Индеец вынул из соломы бутылку с мутной жидкостью, зубами ловко вытянул пробку и протянул бутылку Наташе. Несомненно, это была текила. Наташа, перехватив сумочку под мышку, приблизилась к повозке, взяла бутылку и сделала из горлышка глоток. Текила оказалась на редкость

противной – конкурировать с ней могла лишь та, которую налили Наташе в баре на окраине Мехико. Она задохнулась. Но мужественно виду не подавала, а только помахала свободной ладошкой у рта. И вернула бутылку.

– Салуд, – сказал индеец и тоже приложился.

Он заткнул пробку и подвинулся, предлагая Наташе сесть. Но не дал руки. Наташа прыгнула в повозку, находчиво сообразив, что скорее всего в этой стране индейцам не велено прикасаться к белым женщинам. Ну без особой нужды...

Не проехали они и ста метров, как со стороны реки, с того берега, где были деревья, послышался выстрел. Потом еще один. Наташа поняла, что стреляют из охотничьей двустволки, – отцовские еще уроки. Она вздрогнула, но не от испуга, конечно, а от неожиданного чувства узнавания.

– Доктор, – сказал индеец, а мул и ухом не повел. Никто не заметил Наташиного полуобморока: индеец вновь курил трубку, а мул мерно плелся вперед.

По дороге еще дважды прикладывались к бутылке, индеец – по алкоголической привычке, Наташа от последнего волнения. Показалась впереди деревня... Так, верхом на муле и немножко навеселе, Наташа достигла цели.

Глава 30. Неужели муж

Индеец, ни о чем Наташу не спрашивая, ехал по деревенской улице. Индейцы жили, вопреки Наташиным представлениям, вовсе не в вигвамах, а в хижинах, крытых тростником. Некоторые дома были на сваях. В пыли копошились коричневые дети, а перед каждым домом сидел мужчина и курил трубку. И почти перед каждым стояла бутылка. Ни одной женщины, как всегда в этой стране, видно не было. И, как обычно, было видно, что на задах сушится разноцветное тряпье.

Они ехали по улице, и жители следили за ними бесстрастно. Деревня оказалась довольно большая, и улица была длинной, будто испытывала Наташино терпение. Жизнь стала иссякать, между хижинами образовывались все более широкие пустыри, и мул остановился.

– Доктор, – показал индеец рукой с зажатой в кулаке трубкой.

Он показал на точно такую, как и все остальные, деревенскую хижину, вот только сбоку была раскинута широкая брезентовая палатка с марлевыми окнами, а на флагштоке рядом болтался белый флаг с коряво нарисованным на нем красным крестом.

Наташа соскочила на землю, мул тут же тронулся, и Наташа не успела поблагодарить возницу. Впрочем, она тут же о нем забыла. Прижимая к груди сумку, пошла к хижине, не слишком твердо ступая. На пороге стояла очень красивая индианка лет тридцати. Она была одета в скромное европейское неприталенное платье, а ее блестящие черные волосы были гладко зачесаны и схвачены серебристым обручем. Непроизвольно Наташа провела рукой по волосам – на месте ли ее красивая красная мексиканская ленточка.

«Да, – подумала Наташа, ступая все медленнее, – она очень красива... Очень красива...»

И тут индианка улыбнулась.

– По-жья-луйста, Натьяша, – сказала она. – Велкам.

Наташа пошатнулась и, быть может, упала бы, коли та ее не подхватила бы...

Наверное, минуту она была без сознания, потому что не помнила, как оказалась в доме в неустойчивом кресле-качалке – *кресле-кончалке*, вспомнила Наташа и улыбнулась. Было полутемно – свет шел лишь от небольшой керосиновой лампы. Индианка сидела напротив за столом и вовсе на Наташу не смотрела. Она что-то писала, и Наташа увидела на правой ее

руке серебряное украшение: четыре колечка, цепочками прикрепленных к браслету. Точно такое было на руке у Сольвейг. И Наташе показалось, что есть какая-то связь, как бы одна линия: свердловская цыганка, Сольвейг и эта красивая индианка...

Хозяйка подняла глаза и улыбнулась. У нее были замечательные зубы – белые и крупные.

– Валерий вайт ю. Сей-час он пиф-паф. – И она смешно показала, как Валерка стреляет из ружья.

Наташа подумала, что это первый мексиканский дом, в котором ей не предложили текилы, но тут дверь открылась и на пороге предстала фигура. Это был, несомненно, Валерка, но совсем другой. Он стал еще суше и поджарее, однако от него исходила физически ошугимая сила. Он был в пончо, на голове красная бандана, за спиной ружье, с толстого кожаного ремня свисали две окровавленные птицы.

– Это утки? – спросила себя Наташа, опасаясь опять потерять сознание.

Индианка подошла к мужу, помогла ему освободиться от ружья и патронташа, взяла мертвых птиц.

– Здравствуй, – сказал Валерка, – как добралась? Мы тебя ждали.

Только не плакать, попросила сама себя Наташа и ответила:

– В Москве все хорошо.

– Москва, Москва... – Валерка присел на лавку у двери и стал снимать сапоги. – Это где-то в Европе. Где-то не доезжая Уральских гор...

Вот и исполнилось, думала Наташа, внутренне плача, *все исполнилось, как должно было быть, как говорила Сольвейг, и я пришла домой. А что до того, что меня встретили так просто, так ведь мы и расставались...* Кажется, после всего перенесенного Наташа была не совсем в себе.

– Да, ты приехала вовремя, – говорил между тем Валерка. – Еще несколько дней – и ты могла бы нас здесь не застать. Мы были бы уже там, за Рио-Браво-дель-Норто... Кстати, вы тут без меня познакомились?

Нет, он очень изменился, не внешне, нет, думала Наташа, его слушая, *он стал другой, но все равно – тот же...*

– Натя-ша, – представилась индианка и протянула Наташе руку в серебряных украшениях.

Глава 31. Вторая жена

Пошел уже третий день, как Наташа жила в Валеркином доме. И в первую же ночь индианка уступила ей свое место в постели, и, как ни устала Наташа, это была ночь радости.

Наташа решила ничему не удивляться. В конце концов, она приложила столько сил, чтобы оказаться в этой самой Мексике *вниз головой*, на *другой стороне* Земли, и было бы очень глупо и невежливо ждать, чтобы здесь все было, как *на той*.

В доме не пили текилы, не пили чая и кофе. И вскоре разъяснилось – почему. По вечерам после ужина все трое садились вокруг стола, Валерка надевал очки и при свете керосиновой лампы читал однотонным голосом:

«Ибо вот, если человек злого характера приносит зло, он делает это неохотно; а потому это вменяется ему так, как если бы он удержал свой дар; а потому у Бога он считается злым человеком... А потому злой человек не может творить добро, так же, как и не принесет он доброго дара»...

Это и ежику понятно, как говорит моя младшая, думала Наташа, и ей было хорошо, *только отчего так витиевато*.

«Ибо вот, горький источник не может приносить хорошей воды; так же, как и не может хороший источник давать горькой воды; а потому человек, будучи слугой дьявола, не может быть последователем Христа; но если он следует Христу, то не может быть слугой дьявола»...

Ясное дело – не может, думала Наташа, украдкой подглядывая за Наташей-второй, которую, как выяснилось, на деле звали Люсия, но Валерка *посвятил ее в наташи*, как он объяснил. Люсия слушала, держа спину очень прямо, и огонек лампы иногда прыгал в ее черных глазах. Наташу удивляло ее напряженное внимание, поскольку по-русски Люсия не понимала, и Наташа предположила, что та просто слушает музыку Валеркиного голоса, пока не поняла однажды, что Люсия умеет спать с широко открытыми глазами и держась при этом прямо, как лошадь.

«И потому будьте осторожны, возлюбленные братья мои, чтобы вам не судить как зло то, что от Бога, или как добро от Бога то, что от дьявола»...

Возлюбленные братья слушали изо всех сил, хоть Наташа и удивлялась про себя, понимая, что кощунствует, *что это за галиматъя*. Люсии было проще. Наконец однажды Наташа не утерпела и спросила:

– Валерочка, это что, из Библии?

Валерка снял очки, устало потер переносицу, вздохнул и сказал:

– Нет, Наташка, Мороний.

– Кто-кто?

– Мороний. Ангел Мороний. Он послал мормонам их книгу. И мы должны ее знать, если хотим быть мормонами.

– А мы хотим? – поинтересовалась Наташа с деланным простодушием.

– Нас никто не спрашивает, Наталья. Запомни, тебе было откровение...

– Мне? Ах, да, конечно, было.

– Вот. И мне было, и ей, – показал он на спящую с закрытыми глазами Люсию. – А мормонами нам нужно стать потому, что там, в Солт-Лейк-Сити, братьям по вере много легче получить грин-кард. И потом, нам с Люськой помогут подтвердить наши дипломы. К тому же у них разрешено двоеженство... – Он подмигнул Наташе, сделал паузу и спросил: – Ты с нами?

И Наташа, в глубине души уже будучи готовой к такому повороту дела, просто ответила:

– Да.

...Через несколько дней темной ночью мексиканские контрабандисты за небольшие деньги в долларах переправили всех троих на другой берег Рио-Гранде.

Эпилог

Проект Указа не прошел в Думе во втором чтении и принят не был. Но Наташа скорее всего об этом так и не узнала. Впрочем, ей это было бы уже ни к чему.



Зов

Памяти В.Ходасевича

Отчетливо слышу далекий
измученный голос земли:
Забудь обо мне на Востоке,
На Западе звезды взошли...

И этот безумный, истошный
покою мне зов не дает, –
навек останусь восточным.
Но кто это в мире поймет?!

Зачатый в Синайской пустыне,
рожденный рабом на чужбине,
одной поклоняюсь святыне –
дарованному Языку!

Изверившийся, некрещеный,
причастьем святым обойденный,
с клеймом иноверца рожденный -
Язык не предаю языку...

Во сне и наяву

Купалось солнце в океане
за линией береговой...
И чмокал мох, как веник в бане,
под неустойчивой ногой.
Во мху гнездились ягод царство:
морошка, клюква и шикша.
Идешь и ешь все эти явства,
уж еле ноги волоча.
И лишь дыханье океана –
бескрайний ледяной прибор,
соленый ветер окаянный –
грозит погодой штормовой.
Такой запомнилась Камчатка:
тройной немислимой ухой,
играющая с нерпой в прятки
своей Авачинской губой...

Камчатка, милая Камчатка,
солдатка на передовой!
Как баржа, полная взрывчатки,
вдоль линии береговой...

Играй, прекрасный небожитель!
 Неси по миру красоту,
 не забывая ту обитель,
 где Бог вдохнул в тебя мечту.

Все начиналось с Музыки...

В.Гафту

Все начиналось с Музыки...
 Она
 мне приоткрыла тайну песнопенья.
 С ног сбившая, несет меня волна
 по вольному бездонному
 теченью...

Я приобщился к поведенью волн,
 той Музыке приверженный любовно.
 Так тянет к небесам повозку вол
 и чувствует, что в мире все условно.
 И не желает состраданья он, –
 Творец творцу не даст отдохновенья.
 Та Музыка сбьлась, как вещий сон,
 как высшее небес предназначенье!

Тане

В тот дальний год високосный,
 что нынче, как сон, прошел, ,
 красивой, светловолосой
 тебе я стихи прочел.
 Ты молча
 в березы смотрела,
 чуть голову наклоня,
 а мне одного хотелось –
 чтоб ты поняла меня.

То первое стихотворенье
 молитвой было моей,
 как первое прикосновенье
 к девичьей душе твоей.

Прошли незаметно годы,
 берез тех теперь уж нет –
 и только сквозь все невзгоды
 читает тебе поэт...



Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ

Два рассказа

ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе....

А. Пушкин

Говоришь, про любовь? И чтобы кончалось, как положено: словами «жили долго и счастливо и умерли в один день»? Попробую – но не обещаю. Уж как получится. Ну слушай.

Солнце плавилось в витринах, люди густо шли вверх по течению, а я, изо всех сил размахивая руками, гребла вниз от Пампушки (памятника Пушкину) к Охотному ряду, который тогда еще был замужем и звался проспектом Маркса. Я два месяца как развелась, положив конец бесконечно-му тягостному выяснению, где была – с кем спала, и чувство свободы так и распирало меня изнутри.

Между тем навстречу мне двигался некто опознанный мною по яркой светловолосости и длинной худобе, как Петруша, мой однокашник и друг алкогольно-школьных лет. Может, пока не поздно, нырнуть в магазинчик, смешаться с толпой? А то начнется обычное в таких ситуациях «а у нас в квартире газ – а у вас»? Но Петруша уже брал меня за руку таким привычным жестом, словно вышел в этот весенний денек не по каким-то своим делам, а исключительно на встречу со мной.

– Есть у тебя день до вечера? – спросил он.

Фамилия его была Петров, потому в компании звался Петрушей. Только его мама говорила: Витенька. «Ой, Ляленька, здравствуйте! А Витенька сейчас во Франкфурте, через недельку должен приехать, я передам, что вы звонили...» Но разговоры все эти начались после, а пока что:

– Пойдем, – сказал он, – я тебе картинки свои покажу.

«Какие картинки? Порнографические, что ли?» – подумала я рассеянно, и уже свернула, и шла вместе с Петрушей туда, куда он уверенно меня направлял.

Он снимал квартиру в одном из переулочков, выходящих к Страстному. С блещущей и плещущей улицы мы шагнули в гулкий прохладный подъезд, где пахло тем особенным, чем пахнут старые дома. Точно так же пахло в том, не существующем теперь, доме моей бабушки, куда меня привозили на долгие летние гостевания с жареной картошкой по утрам и чтением Оскара Уайльда на ночь. Петрушино жилище имело вид необитаемый и в то же время уютный. Рассохшийся шкаф в коридоре обрадованно скрипнул и сбросил нам под ноги пачку журналов.

– Не мои, – прокомментировал Петруша и повел меня пить чай.

И тут у меня начинаются сложности. Как описать то, что происходило дальше, я не знаю. «Он посмотрел» – «я посмотрела» – «он сказал» – «я сказала»... Да мы и не говорили почти. И тишина стояла для городской

квартиры невероятная. Дело было, наверно, в толщине стен, в которых терялось маленькое грязное окошко, едва пропускавшее пыльный свет. Мы сидели в полумраке, притихнув, затеяв странную игру, пытаясь не издавать звуков, неслышно наливать чай, одними глазами спрашивать: «Сахару?», ставить чашку на блюдце, чтобы не дай бог не звякнула. В тот день я так и не увидела Петрушиных картинок. Зато я с удивлением обнаружила, что мое тело, которое последние два года глухо молчало, обладает пронзительным и сладким голосом, и живет, и жадно вдыхает. Кровать в комнате стояла вплотную к подоконнику, и казалось, что дерево за окном тянется прямо от наших голов, плавно вознося ветви вверх, в уже невидимую высоту.

Я вышла на улицу в разливающиеся сумерки, исполненная мучительной нежности и благодарности, которую никак нельзя было выразить ни словами, ни как-нибудь еще, разве только повторить все еще раз с самого начала.

Сосисочная через дорогу была еще открыта, и добрая тетка, сказав: «Мы вообще-то закрываемся», – поддалась на мои уговоры и положила на картонную тарелочку шесть толстых шкворчащих сосисок. А есть мне их пришлось руками, сидя в огражденном одиночестве детсадовской площадки, чья калитка очень кстати оказалась незапертой. Близко были видны купола Высокопетровского монастыря, небо над ними быстро утрачивало цвет, обретая взамен черную глубину, и сосиски я доедала, уже едва различая в темноте собственные руки...

Повод позвонить был – картинки-то он мне не успел показать. Как следует покопавшись в домашнем хламе, я отыскала школьных времен записную книжку с замызганными листками. В ней имелся среди прочего адрес неизвестного Саши с пометкой «Н.С.Т.» (в смысле – «не стоит»), и практически поверх него был написан Петрушин номер.

Мы с ним учились в параллельных классах. К концу восьмого, когда всем понадобилось срочно выяснить, кто сколько может выпить за вечер, частенько оказывались в одной компании. Петруша был худ, высок, впрочем, при этом начисто лишен пресловутой подростковой нескладности, и необыкновенно светловолос – настолько, что моя подруга Нина, кратковременно влюбленная в него, долго обсуждала со мной вопрос: а не делает ли он это с помощью перекиси? – и однажды спросила об этом самого Петрушу. Он неожиданно обиделся и на следующий день пришел остриженный наголо, длинноносое лицо его стало печально-некрасивым.

Затем отрастающий белесый пух послужил доказательством тому, что цвет его самый что ни на есть натуральный.

Еще Петруша славен был тем, что ровно в десять говорил «ауфидерзее-ен, киндер» и отправлялся домой, даже если веселье было в самом разгаре. Нина быстро простилась со своей влюбленностью, потому что мы с ней всегда досиживали до того времени, пока не расходились все. А какой интерес быть влюбленной в мальчика, если тебя не провожают домой и не целуют в подъезде со слепой лампочкой возле лифта, на дверях которого написано заботливо утолщенными буквами «ЗАРЭ НАВСТРЭЧУ» (необъяснимый акцент)?..

В начале десятого класса нас осталось трое нерадивых, не вступивших доселе в комсомол: я с Ниной из «Б» и Петруша из «А». С толпой девятиклассников мы притопали в отполированный райком, где по неприятно чистым паласам прохаживались рано начавшие полнеть молодые люди в костюмах. Нас всей толпой завели в просторный зал, а потом явился отглаженный комсомольский босс и принял нас экзаменовывать по истории КПСС. На вопросы неуверенно отвечали самые бойкие, мы с Ниной сидели тихо-тихо, тщательно сливаясь с массой. И вот прозвучал вопрос, на который не последовало ответа. Босс, напрягаясь лицом, повторил. Зависла нехорошая тишина. После длинной паузы комсомольский начальник с

гневым удовольствием сказал: «Вы не можете ответить. Значит, вы не готовы. Когда подготовитесь, придете еще раз, и тогда поговорим. А сейчас можете идти». Все сидели. «Вы что, не понимаете? Можете идти. Идите!» Мне стало противно и стыдно, не за то, конечно, что мы чего-то не выучили, – кто же в здравом рассудке будет тратить время на всю эту комсомольскую лабуду? – а вот за то именно, что мы смиренно сидим. А он может орать на нас и чувствовать себя в полном праве. Я толкнула Нину, глазами показывая на дверь. Нина пожала плечом и вытянула ноги: брось, подождем. Комсомолец покраснел и еще повысил голос: «Уходите! Уходите все!» И тут мы увидели, что в дальнем конце ряда поднялся Петруша. В полной тишине было слышно, как он пробирается через ноги сидящих. Он обогнул ряды, неторопливо прошел мимо красносуконного стола, не повернув головы, и вышел вон, заботливо затворив за собой дверь. Босс вдруг успокоился. «Ладно. Тогда следующий вопрос».

Самое забавное, что Петруша получил-таки новенький комсомольский билет. Его «личное дело», или «карточку», не знаю уж, как это называется, никто не вынул из общей стопки, и все бумаги автоматически прошли по инстанциям. Классная дама сказала: «Витя, почему вы не получаете комсомольский билет?» «Какой билет? – удивился Петруша. – Я же...» «Билет вам выписали! – сказала дама строго. – Съездите и заберите!» Петруша забрал.

Было у меня еще одно воспоминание, но неизвестно, был ли светловолосый мальчик из него именно Петрушей или кем-то другим. Чем младше дети, тем больше среди них беленьких ангелочков. А потом они взрослеют, линяют, темнеют. Это воспоминание относилось к концу первой четверти четвертого класса. На улице ливня лило, и я тоскливо мыкалась по школе в поисках места, где можно пересидеть ненавистную физру, не слишком рискуя, что засечет «зауч», происходивший от слова «заучиться», или, хуже того, директриса Крыса Николавна, толстая злюка в темно-сером костюме, которая на заискивающее ученическое «здравствуйте, Раиса Николаевна» неизменно грозно вопрошала: «А почему ты...» – и дальше следовал неотвратимый разнос за то, что ты без сменной обуви, с мытой головой или «с неприглядным жестом лица», как она однажды выразилась. Услышать от нее «А почему ты не на уроке?» было бы совсем уж неприятно, поэтому я высмотрела себе темный угол под лестницей на первом этаже, подальше от кабинета директора и от учительской. Однако в укромном мраке уже сидел мальчик. Я решила смириться с непредвиденным соседством. Не стоило искушать судьбу, таскаясь по этажам, да и лучшего места все равно не найти.

– Привет, – завела я светскую беседу. – Ты что прогуливаешь?

– А какой сейчас урок?

– У меня физра, а что у тебя, я как раз и спрашиваю.

– Да нет, по счету, – сказал мальчик и пояснил: – Я здесь с утра сижу.

«Странный какой», – подумала я, но говорить этого не стала, мало ли какие у человека дела.

– Третий.

– А-а... Тогда алгебру.

Оттого что посреди тихой школы, где всюю шли уроки, мы сидели вдвоем, как на необитаемом острове, и разговаривали шепотом, чтобы нас случайно не засекли, настроение у меня сделалось доверительным. И я вдруг рассказала незнакомому мальчику, что боюсь умереть, даже не то чтобы умереть, а перестать быть. Вот всё есть – такое ясное, отчетливое, а потом – хлоп – и совсем ничего. Страшно.

– Знаешь, – сказал мне мальчик, – а ты попробуй думать, что проживешь триста лет. Все – по шестьдесят там, восемьдесят, ну сто – самое большее. А ты – триста! Я так думаю, мне помогает.

Потом прозвенел звонок и я ушла, а мальчик остался. Больше я его почему-то не видела. Может, и не хотела. После внезапно откровенных разговоров всегда становится немножко неловко.

А теперь я смотрела в клетчатую тетрадку, прикидывая, что значит эта торопливая петля в конце – 8 или 5. Вполне возможно, что его родители так там и живут. Можно позвонить, спросить. Я еще немного поразмыслила и решила этого не делать. Если мы не сообразили обменяться телефонами, значит, не судьба. Было очень-очень-очень хорошо. Спасибо. Не будем жадничать.

Мы встретились через полгода. Мелко моросил дождь, оставляя на коже маленькие звездчатые точки. Я топталась возле «Тургеневской» в раздумьях: то ли мне пойти в метро, то ли еще раз поискать «Ремонт сумок», который я видела здесь в прошлый раз, а теперь он провалился сквозь землю или просто упорно не желал показываться мне на глаза. Прошел мимо мальчик, спросил, который час, – я показала на серый уличный циферблат на столбе. Растопыренная тетка с сумками толкнула меня и тут же обругала: «Стоит посреди дороги!» Я высунула язык. Еще раз посмотрела на время – половина третьего, даже если найду окаянный «Ремонт», так там наверняка обед, ну так что, в метро? Тут кто-то сзади дернул меня за рюкзак. Я обернулась, но проворный негодяй снова оказался у меня за спиной и дернул посильней. Черт побери! Я, свирепея, крутанулась вокруг себя – и увидела хохочущее Петрушино лицо.

Мы целовались на улице, и уже никто нас не задевал, а, наоборот, как-то почтительно обходили. Петрушина куртка пахла мокрой шерстью, и у меня был день до вечера, и мы поехали к нему сушиться, греться, пить чай и любить друг друга под дрожащим в сплошном дожде деревом.

Петрушины картинки оказались громадными акварельными листами, лежащими в специальной папке. Шероховатая бумага была вся покрыта сплетениями набегающих друг на друга линий. Первый раз, увидев их, я испугалась – я ничего не смыслю в абстрактном искусстве. Что же сказать? Но тут, пока я смотрела, вдруг линии сдвинулись под моим взглядом, и я увидела два обращенных друг к другу лица. Левый профиль был нежен и юн, осенен светлыми локонами, правый – старческий, глаза его смотрел пристально, от носа к губам сбегала резкая складка. Ощущение было странное. Так, бывает, среди дня внезапно вторгнется в сознание картинка из сновидения минувшей ночи, и, протомившись несколько мгновений бесплодными усилиями, вдруг ловишь в сосредоточенном фокусе центральный образ и с облегчением разглядываешь его, но по краям все-таки что-то расплывается, движется и так и уходит обратно в глубину памяти, не найдя окончательно подходящей формы. На другом листе мой уже наученный взгляд почти без труда различил пожилую даму в шляпе, едва удерживающуюся на угрожающе перекосившемся стуле. Потом была еще лягушка с человеческими руками. Было в этих картинках что-то, что звало вернуться к ним, проверить, всё ли на месте, не изменилось ли что-нибудь, не возникло ли новое.

Я таки позвонила Петрушиным родителям и без труда получила его номер. Так что теперь я могла звонить, проситься на чай, проситься на картинки и т. д. Спустя полгода я поинтересовалась:

– Почему ты никогда мне не звонишь?

– Потому что я радуюсь, когда ты звонишь!

Личностью он был загадочной. Я почти ничего про него не знала.

– А как ты зарабатываешь на жизнь?

– Разве ты налоговый инспектор? – спросил Петруша и ненатурально, зато смешно изобразил испуг и добавил: – Я не зарабатываю, я просто живу себе.

Иногда он пропадал. Тогда я звонила его маме.

– Ой, Ляленька, как я рада вас слышать! А Витенька в Гамбурге, месяца через полтора вернется, звоните, Ляленька, а то приезжайте, мы с вами чайку попьем, поболтаем, а?

Я пила чай у Петрушиной мамы, рассматривала многотомные фотоальбомы с упитанным карапузом в главной роли.

– А это ему три годика здесь, а это мы на даче в Барвихе, видите, Ляленька, такой толстенный, так хорошо кушал всегда, а потом как стал расти, вытянулся. Ой, Ляленька, я так по нему скучаю, но у него своя жизнь, он взрослый, я понимаю.

Петруша возвращался. Вдруг обрывалась в трубке привычная густая протяжность гудков, и ласковый Петрушин голос говорил: «Лялька! Ты!» К жизни возвращался смысл, и древо снова возносилось над нами, а из цветной пуганицы выглядывала милая собачья морда или маленькая девочка с прыгалками в руке. Квартира была уже другая, с мягкой мебелью, но и в ней витал все тот же нежилой и гостеприимный дух, многошумный тополь загораживал окно своими ветвями...

Я решила думать, что Петруша не человек, а явление природы, как дождь. Конечно, ты хочешь дождя, но его нет, и поделаться ничего нельзя, можно только ждать или исполнять ритуальные танцы, можно бить в бубен и выкрикивать заклинания. Иногда Петруша говорил: «Слушай, ко мне сегодня нельзя, – и у меня все внутри падало. – Хочешь, пойдем гулять?» – и всё возвращалось на свои места. Город раскрывался, как волшебная книжка, мы болтали, шли на концерт, пили на продувном ветру кофе из пластмассовых стаканчиков, и я ни о чем не спрашивала. Зачем? Вот же он, со мной: можно руками трогать и глазами смотреть. Мы целовались в метро, иногда метро закрывалось. «Неважно, – говорил Петруша, – дойду пешком».

Я старалась устроиться так, чтобы у меня была своя собственная нормальная жизнь. У меня получалось. Когда среди этой нормальной жизни мысль выхватывала воспоминание о каком-нибудь Петрушином жесте, возникало чувство, какое должно быть у яйца, когда оно выпадает из расколотой скорлупы на пышущую сковородку и блеклая слизь белка начинает превращение в лакомую белую плоть.

У меня в голове застряла случайная Петрушина фраза, сказанная даже не мне, а кому-то по телефону, о женщинах, которые становятся неприятно навязчивыми. Я по мере сил старалась этого избегать.

...И вот наконец – не скажу «когда я почти перестала ждать» – разве можно перестать ждать? – после шестого гудка я уже собиралась положить трубку и тут услышала Петрушино «Алло?»

– Боже мой, наконец! Я так рада! Можно, я к тебе приду?

– Прямо сейчас? Я вообще-то сам только что приехал.... Ну приезжай, если хочешь.

Я приехала.

– Что-нибудь случилось? – спросил Петруша, посмотрев на меня.

– Ничего. Я просто страшно соскучилась. Страшно, зверски соскучилась по тебе... – Глаза у меня были на мокром месте.

– Ляля, послушай, давай сядем. Ляля, ну не надо так...

– Что не надо?

– Не надо так из-за меня расстраиваться.

– Да я не расстраиваюсь, я радуюсь.

– Ну и радоваться так не надо. Ляленька, ты чудная, замечательная. Но у меня своя жизнь, понимаешь?

Я не хотела ничего понимать, я понимала только одно: что я сейчас завою в голос, – поэтому я сказала:

– Ладно, все хорошо, я приехала, я тебя повидала, и все хорошо, а теперь я пойду, ладно?

– Ну, – сказал Петруша, – смотри сама.

И я ушла, радуясь тому, что лето и, значит, не надо долго одеваться в коридоре, а можно сразу выйти и самой закрыть за собой дверь.

Вот и вся история. Ты, может быть, удивишься, почему здесь так мало о том, что мы делали, когда были вместе. Не знаю. Наверно, я могла бы рассказать, как мы говорили, смеялись, как Петруша рисовал мелками на асфальте для меня – прямо посреди Арбата и какой-то дяденька достал птерку, поискал, куда положить, не нашел и, спрятав денгу обратно в кошелек, пошел своей дорогой. Возможно, мне даже удалось бы найти слова, чтобы рассказать, как мы пели, гуляли, занимались любовью наконец. Но все равно не удастся передать то щемящее блаженство, которое охватывало меня, когда я была с Петрушей. Время было настоящим, я – живой, город вокруг сиял... Тогда ты спросишь, почему же я ушла? А как раз поэтому. Потому что мне было мало этих наших счастливых встреч. Я хотела, чтобы все время было настоящим, всегда! Чтобы ночью заснуть вместе, а утром вместе проснуться. Чтобы уйти на работу, а вечером ужинать вместе. Чтоб была не его жизнь и моя жизнь, а просто жизнь. И чтобы мы ее жили долго и счастливо и умерли в один день.

НАДОЛГО... НАВСЕГДА

Уже четвертую неделю мучает меня один сюжет. Началось с ерунды. Ехала в метро после долгого дня, голова устала, ноги гудели. На «Кропоткинской» освободилось место, я села и сразу задремала. И привиделся мне довольно высокий, худой, поджарый господин, тут же выскочило и имя: Владимир Ильич Ленский. Он оказался преподавателем чего-то художественного, пожалуй что на факультете графики, но на «Лубянке» было мне идти на пересадку на «Кузнецкий», я встrepенулась и про Ленского благополучно забыла. А через пару дней к нему как-то незаметно притерлась женская фигура, светловолосая, невысокая, в таком задрипанном пальтишке, для сегодняшней Москвы нехарактерном. И теперь они появлялись почти все время вдвоем: то в длинных гулких коридорах РХЛИ (Российский художественно-литературный институт, в просторечии, разумеется, «Рыхли» или даже «Рыхляк»), где девица поджидала Ленского после занятий, то в рыхлевской кафельно-алюминиевой с претензией на стиль модерн столовой, то просто на улице, где она сиротливо жалась к его плечу, отчаянно стараясь, чтобы постоянно встречавшиеся на позднеоябрьской дороге лужи не разлучили их. В тот момент, когда она сидела дома – она жила тогда у своей московской тетки, владевшей двухкомнатной квартирой в Чертопольском переулке, соответственно, в двух шагах от «Рыхлей», особнячок был симпатичный, но старый, и канализация в нем оставляла желать лучшего, но речь не о том – она сидела за столом, пытаясь создать наилучший графический вариант сочетания имени и фамилии, инициалов и фамилии, в общем, чего-то такого, что могло бы сгодиться для подписи будущих шедевров, в этот момент я заглянула ей через плечо и увидела странное словечко «Константьяна», а пониже «Татьяна Константинова» с причудливым росчерком на последних «а». Вот как, стало быть, звали мою героиню, студентку второго курса на тот момент.

Между тем уже выпрастывались из небытия и спешили на страницы моего воображения другие люди и предметы. Вслед за все-таки всплывшим – вследствие размышлений о дряхлости канализации (которые неизбежны для всякого, кто живал в московских особнячках дольше двух недель) – слесарем Сан Тимофейчем с чемоданчиком, длинным железным прутком, хроническим покашливанием и хронически же грязными ботинками, показалась на заднем плане оставшаяся в тишайшем сереньком Подольске Танина мама (сестра московской квартировладелицы), учительница рисования в средней школе, где ее уроки прогуливали все кому не лень, сказала «Просыпайся, Тусенька» (а вот и выяснилось заодно детское, сладкое, спальное имя девочки, которую в школе звали исключительно по фамилии). Школа была другая, не та, в которой работала мама. В свою мама

ее не взяла, объяснив, что к дочери относились бы иначе, чем к другим детям, что у нее были бы привилегии, а это по отношению к остальным ученикам некрасиво. Наверно, у мамы была тихая мания величия, проявлявшаяся в том, что она всю жизнь отказывалась от каких-то мифических «привилегий», которых ей скорей всего никогда и не полагалось. И вряд ли ее так уж отличало школьное руководство и учителя-сослуживцы, чтобы выделять тихую девочку-ежика из толпы таких же, как она, среднестатистических, добротны и немарко одетых учащихся. Судя по тому, что г-н Константинов, предполагаемый отец, никак не дал о себе знать и ничем своего существования не выдал, он исчез из жизни Таниной мамы задолго до того, как я увидела ее заботливо подтыкающей одеяло восьмилетней дочери.

Здание школы с забранными решеткой – во избежание воровства – окнами первого этажа проплыло, как квадратный корабль, и растаяло. Вслед за ним, не проявившись до конца, растаяла «дача» – дышащий на ладан дом под Подольском, в котором коротала остаток вечности Тусина бабушка. Тут я буквально на секунду увидела старушечью мордашку в седых букольниках и лужайку, на которой из доски, положенной на камень, сооружено подобие качелей – но все это слишком буколическое, слишком книжное, так что, по всей вероятности, это плагиат из каких-то детских сказок (Гримм? Перро?), прочитанных в детстве не то мне, не то Тусе на ночь.

Дальше я вижу востроносу Консантинову с обильно политой лаком укладкой и в нелепом нарядном платье на выпускном вечере, неторжественную часть которого она проводит, подпирая стену. Она разглядывает шевелящиеся в полутьме ноги танцующих, контуры кленовых ветвей, вставленные в квадратные окна актового зала, и в конце концов безо всякого сожаления покидает школьное празднество за руку с мамой: опять же «во избежание» возможных неприятностей администрацией школы принято решение выпускников отпускать домой только в сопровождении родителей.

Дальше – выход Тусиной тетушки. Она – дама с каким-то смутным артистическим прошлым... Муж ее – тенор... то ли баритон. Не Большой, конечно, но все-таки Станиславского музыкальный театр... Однако много лет назад умер... или нет, сбежал, не вернулся с первых же подвернувшихся гастролей, женился там на какой-то венской шлюшке, оставив все же жене своей законной, Анне Станиславовне, квартиру в Чертопольском, где она и согласилась приютить племянницу Тусю, тем более что РХЛИ, куда той поступать, вот, в двух шагах, на пересечении с Пречистенкой...

И через год после поступления, поварившись среди столичной молодежи, потаскавшись вслед за сверстниками по всяким тусовым местечкам, добросовестно попытавшись по очереди прижиться сначала в задымленной сине-огненной джазовой «Дикой курице», потом в задымленной, но уже попсово-прозападной, крем-содовой «Полукошке» и, несмотря на количество выпитого и скуренного, все-таки оставаясь повсюду не вполне ассимилированным элементом, на втором курсе Туся повстречала В.И. Ленского. Повстречала прямо за вертикальной деревянной кафедрой, вызвавшей почему-то у нее ассоциацию со средневековым пыточным шкафом (изображенным довольно подробно на странице ученика по истории средних веков – симпатичная эта штучка была устроена таким образом, что по мере закрытия двери в тело несчастного, загнанного в шкаф, вонзались вделанные в дверь железные штыри), куда новый преподаватель культурологии влез, дабы оповестить своих слушателей о том, каким образом тщательное начертание иероглифов способствовало возвышению образа мыслей китайца той эпохи, когда жестокие монгольские правители с обретыми головами, повелевшие китайским подданным носить длинные, словно у женщин, волосы, в знак того, что перед монголами они уже как бы и не мужчины, теряли былую власть, и надвигалась эпоха Цинь... или

что-то в этом роде. Туся слушала заворуженно, внимая не столько сюжету, сколько переливам преподавательского голоса, шепотно-приглушенного на западный манер, содержащего доверительную хриповатость...

Ленский был человек особенный, со всем положенным столично-бомондовским шиком, по молодости живывал в Парижах, бывал знаком и с Пабло Хуаном, и с Федором Толстым, и с другими тамошними знаменитостями, служил в редакции «Нового русского слова», даже работал одно время беби-ситтером у Паломы Пикассо, благодаря чему имел собственную, хоть и крошечную, но все ж таки на Елисейских Полях мансардочку. Вернувшись на родину, он сразу же написал книгу, одно название которой занимало три строчки, короче говоря, для подольской одаренной девочки показался разве что не ангелом в крылах шелестящих. Так что естественнейшим образом, едва увидев его – в темно-сером костюме-тройке, со стразовой булавкой в шелковом галстуке, лениво перебирающего интеллигентскими пальцами стопку бумаги в поисках какой-то особенно изысканной цитаты, – Татьяна обомлела и влюбилась. Поняла она свое новое состояние не сразу, поначалу приняв все сопутствующие симптомы – учащенное дыхание, дрожащие руки и то, что она называла «головокружение в коленках», за признаки обостренного интереса к транскультурным параллелям. Преподаватель, проникшийся встречной симпатией к стриженому ежику, в котором прозрел родственную, одинокую душу, не могущую нигде сыскать подходящей компании не потому, что люди не те, а потому, что такое ее призвание – шествовать по жизни «сам-по-себе», раньше понял, что «дело пахнет керосином», но к тому моменту, когда он ясно осознал, что за его благосклонностью мэтра, обращенной навстречу взволнованной студенческой жажде знаний, стоит не одно только сочувствие («Бедная девочка среди мегаполиса, понятно, она ко мне тянется, вероятно, в этом есть какая-то доля влюбленности, но ее вполне допустимо использовать, чтобы привить интерес к предмету, нельзя человека отталкивать, это оставляет глубокие раны, а она одарена и чувствительна, ее надо побережь сколько возможно...»), было уже поздно. Уже и его начинало сперва потряхивать, а потом и крупно трясти, когда странное это существо, именовавшее себя Константьяной, оказывалось поблизости и останавливало на нем свой взгляд, глубоко внимательный и при этом лишенный определенного выражения, как взгляд животного.

Константинова, марая неоттирающимися кляксами пальцы, начала в страшных количествах создавать черночернильных драконов, затейливых, с вязаными витиеватыми хвостами. Они летали, раскрывая языкастые рты, над крышами Чертопольского переулка, кружили в небе, зависали над куполом надвратной Зачатьевской церкви, долетали до вдетой в лед Москвы-реки, гадили на голову бронзовому Петру и снова возвращались к ложноготическим шпилям «Рыхлей», откуда выходили Таня и Владимир, направляясь по Остоженке к «Парку культуры», а оттуда в ЦДХ, увлеченно обсуждая мирискусников, нежного Сомова, недооцененного Бакста, обманывая себя этими разговорами, нелегально прижимаясь друг к другу под порывами раннедекабрьского ветра.

Потом драконы, постепенно приобретая серо-зеленый окрас, обрстая желтым песком и голубым небом, начали перерождаться в ящериц, выползающих греться на камни и сидящих часами неподвижно, глядя в никуда; Таня всерьез заинтересовалась возможностями обычных цветных карандашей; Москва пережила очередной Новый год, наступил февраль, и случилась странная и неизбежная неожиданность. Таня отправилась с Анной Станиславовной на закрытый концерт-репетицию, куда звали только знакомых, ну и еще кой-каких знакомых знакомых, в числе которых они, собственно, и оказались, после концерта был такой, тоже тихий и закрытый, прием, парти, вечеринка для своих в буфете, и там-то и обнаружился в углу примостившийся на банкетке, с блюдцем, используемым в качестве пепельницы, в одной и с сигаретой в другой руке, занятый разглядывани-

ем гостей больше, чем общением с ними, Ленский. У Анны Станиславовны был какой-то свой интерес, ей, к слову сказать, было всего сорок пять, так что нечего удивляться, что она отправилась в составе небольшой группы, пожелавшей продолжить трапезу, в предложенный кем-то ресторан, а Таня осталась предоставленной самой себе, немедленно подседа к Ленскому, и они с головой окунулись в свой бесконечный разговор о влиянии среды на четверг, молока на воду и других чудесах нашего мира. Новым было то, что в толпе празднующегося и уже успевшего заметно поднабраться люда они вдруг почувствовали себя ближе, чем на продувной набережной, в выставочных залах и уж точно – чем в аудиториях «Рыхлей». Было что-то заговорщицкое в том, как они устроились вдвоем в углу, болтая на свои темы, рассматривая и иногда комментируя происходящее вокруг. Они утратили свои социальные личины, перестали быть «преподавателем» и «студенткой», а стали просто парой людей, или даже просто парой.

Некто закричал громко, перекрывая общий гул, предлагая отправиться в квартиру некой богемной подруги, которая жила неподалеку. Толпа в ответ на зов задвигалась оживленнее, пульсируя, словно видимая на приборном стекле микроскопа инфузория-туфелька накануне деления, затрепетала ресничками и ложноножками и наконец отпочковала от себя стайку готовых к отправлению.

Подруга была Ленскому более или менее знакома, так что и он, и Таня двинулись вместе со всеми, по дороге упрочивая знакомство с немного нервной, но добродушной Верой, которая, полыхнув рыжей взбученной головой, больше никогда не вернется на эти страницы, да и появилась-то на них, только чтобы – после того как разбредутся все гости, а кто не разбредется, отправится спать в этой огромной, восьмикомнатной, что ли, квартире – произнести следующую фразу:

– Я вам постелила там, в маленькой.

Из чего становится понятно, что им отведена на двоих одна комната.

Таня и Владимир сидели вдвоем, все никак не могучи закончить свой разговор, на кухне, потолок которой пропадал высоко во мраке, образуя домашнее подобие беззвездного свода небесного. На столе стояла длинная красная свеча – не из романтизма, просто в квартире не было света, так что посещать ванную комнату с вычурным газовым нагревателем тоже приходилось, вооружившись одним из подсвечников, имевшихся, к счастью, в изобилии. Беседа длилась, покуда стойкий фитилек-поплавок не погас наконец, захлебнувшись синенькой точечкой огонька в лужице расплавленного стеарина. Кухонное небо опустилось, темнота обняла их, и они, взявшись за руки, как напуганные дети, пошли тихо-тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить остальных, навстречу своей судьбе.

Между тем Владимир был женат, чего, собственно, и не скрывал, и Татьяне стало это известно раньше, чем дело дошло до постели, но позже, чем это известие могло что бы то ни было изменить. Таня влюбилась безвозвратно. Ленский отвечал ей взаимностью, но как человек безусловно порядочный, русско-интеллигентный, да к тому же еще и пьющий, не мог он оставить верную жену ради романтического приключения. К тому же не предполагал, чтобы молодая талантливая девушка была бы с ним особо счастлива... Попав в первую с головой накрывающую волну влюбленности, он, не то чтобы выплыв, но по крайней мере не утонув, решил, что не надо поддерживать уровень этого наводнения, поэтому на звонки, записки и приглашения Тани (дабы не травмировать юную душу) отвечал, но умышленно не делал никаких шагов со своей стороны.

Константъяна маялась, как от больного зуба, но речь шла не о зубе – ни вырвать, ни залечить это не удавалось. Она несколько раз устраивала себе «принудительный секс» с дяденьками, прилетавшими на ее молодость, в надежде, что ее это отвлечет, но процедура заполняла ее мысли не боль-

ше, чем чистка картофеля. Сверстники шарахались от нее, как от зачумленной, – видно, на ней лежала невидимая печать «любовь-до-гроба». Разбитным мальчишкам с курса это было ни к чему, и, слегка полюбоществовав и пошмыгав мимо нее, они быстренько откатывались к более благополучным и менее обреченным.

Ленский твердо пообещал себе, что не позволит своим увлечениям влиять на семейную жизнь. Таким образом его чувство долга было удовлетворено. Татьяна повторяла про себя, что он свободен от любых обязательств по отношению к ней, но чувствовала себя скверно и продолжала совершать бесполезные усилия, которые будто бы могли помочь ей выбросить его из головы. На самом деле она заставляла себя страдать, чтобы за страданиями по своему выбору скрыть боль, которую причинял ей ее возлюбленный и с которой она ничего не могла поделать. Раз она не звонила ему (на спор с собой) полгода. Они бегло здоровались, сталкиваясь изредка в гулких институтских коридорах, и больше нигде и никак не встречались (курс культурологии был завершен, шел последний учебный год, впереди маячили диплом и вольная жизнь). Вечерами она не могла рисовать, не могла выносить Анну Станиславовну и тащилась в «Полукошку», где с помощью джин-тоника создавала иллюзию собственного равнодушия, достаточно устойчивую, чтобы заполночь подняться на второй этаж по лестнице с характерным подвальным запахом старого дома, пробраться в свою комнату и быстренько эмигрировать за границу сна. Затем она вполне благополучно сдала экзамены и ушла на дипломную работу, так что даже летучим встречам пришел конец.

Спор с собой был только о том, что она сможет не звонить, поэтому она могла с чистой совестью гулять по треугольнику Остоженка – Чертопольский – Пречистенка, а вот обходить многогранник «Рыхляка» с задним двором, заваленным бумажными рулонами и терракотовыми останками скульптур, позволялось не больше одного раза в заход, но Ленский не попадался ей на глаза, не звонил, не появлялся всеми доступными человеку способами. Чистый лабораторный эксперимент прошел успешно, Татьяна сделала все положенные выводы, и минута в минуту, как окончились назначенные полгода, она сказала себе: «Смогла!». И тут же взялась за холодную пластмассовую трубку телефона-стекляшки. Ленский оказался на кафедре, собственно, он-то и поднял трубку. Она успела подзабыть его голос, к тому же плохо расслышала, торопясь пропихнуть жетон во внезапно сузившуюся щель, потому сказала: «Можно ли попросить Владимира Ильича?» Но по тому, как что-то обвалилось и похолодело внутри, уже поняла, что это он и есть, раньше, чем услышала старавшееся быть нейтральным: «Да, это я, я слушаю...»

Какие там забытые книги, важные конспекты, недовыясненные вопросы! Ветер, холодный, но уже пахнувший чем-то неуловимо мартовским, забирался к ним под пальто, а они стояли, прильнув друг к другу, прижавшись, она уткнулась носом в его кашне, шелковое, слишком легкое для такой погоды, а он боялся, что она замерзнет, и говорил голосом жалобным и просительным: «Пойдем, ну пойдем же...» В той же квартире, где они были впервые вместе, которая теперь пустовала, сделав Ленского поливателем цветов и обладателем золотого ключика, они легли прямо на пол, наспех подсунув под себя какие-то сомнительной чистоты простыни, отысканные в стенном шкафу. Две их души тут же взмыли в небеса, счастливо пронизав все потолочные перекрытия и вспугнув с крыши стайку удивленных голубей, а тела примкнули друг к другу и начали заново знакомиться, принюхиваться, пробовать друг друга на зубок и на коготок и рассказывать истории на языке, который известен только зверям. Когда же души вдосталь накувыркались среди вспененных облаков и ослепительного солнечного сияния, они вернулись в свои обиталища, свежие и похорошевшие. Таня, улыбаясь смущенно и удовлетворенно, потянулась и отправи-

лась на знакомую кухню, выудила из духовки знававший лучшие дни кофейник. Любownikам, усевшимся за стол, человеческий язык вновь оказался доступен, и, хотя слова с непривычки были немного странными на вкус (или тому был причиной произведенный в антикварном сосуде напиток?), они могли наконец обменяться вопросами «А ты-то всё это время как...?» и длинными, подробными ответами на них. И, как обычно, под конец пришлось самое важное или, наоборот, совершенно излишнее, как бы то ни было: Ленский скрепя сердце вытолкнул из себя наружу давно заготовленную на такой случай фразу:

– Я не могу уйти от Даши.

Туся без звука смотрела на него и даже не моргала, и он заторопился продолжить, пока не угасла собранная решимость:

– Я никогда не оставлю ее... У нее не может быть детей, она болеет, пойми, это было бы подло, и ты не знаешь меня совсем, ты не смогла бы со мной жить, поверь...

Туся выслушала его многословную тираду, по мере ее продолжения оживая, приходя в себя, и, когда слова иссякли, ответила:

– Хорошо. Я всё понимаю.

И даже пожалела его, на мгновение почувствовав, будто это она была многоопытным наставником молодежи, а он – бедным мальчиком в мегаполисе.

Так был сделан ею шаг из юности во взрослую жизнь, да настолько стремительно, что на миг у нее захватило дыхание: она поняла, что «любит» вовсе не значит «поступает, как я хочу». Любит значит любит – и ничего больше. Еще, может быть, значит: поступает, как сам считает нужным. В любви вовсе не другого открывает человек, но самое себя – насколько хватит смелости...

Она делала какие-то разовые заказы для книжек, вела занятия с детьми в Доме пионеров (переименованном в Дом молодежи), в общем, не стремилась ни к деньгам, ни к славе. Они с Ленским встречались, целовались, занимались любовью, пили чай. Иногда ей приходило в голову, что выпадет им не день-два, а скажем, недели две или месяц – и, возможно, страсть ее насытилась бы и она смогла бы дальше жить без него достаточное время для того, чтобы завести «другие отношения», или как там это у людей называется? Но месяца не выпадало, отпуска Владимир Ильич исправно проводил с семьей – женой и тещей, а Константьяна слонялась по дикой и безлюдной Москве, дивясь бессмысленности всякой жизни вообще и своей в частности.

Все-таки она попробовала завести «отношения» – с режиссером районного театра, для которого делала декорации. Режиссер был очкаст, экс-прессивен и в целом забавен. Татьяна понимала, что у него нет никаких недостатков, которых не было бы у ее возлюбленного. Но все равно! Как-то не получалось отдаться режиссеру всей душой. Вернее, когда Татьяна отдавалась ему, душа оставалась тут же, при теле, не желала взлетать в поднебесье и надоедала своими рефлексивными выкладками. Словно невидимый комментатор пристраивался над ухом и начинал свой репортаж: «Сейчас мы видим, как Иван Данилыч снимает штаны. Штаны не новые, но аккуратно поглаженные. Вот мы видим живот Ивана Данилыча. Ничего себе живот, вполне в форме, даже кой-какой загар на нем имеется. Вот Иван Данилыч снимает очки и кладет их на край стола – это чтобы потом их сразу найти. Он подходит к Тане. Таня! Не лежите, как бревно. Приподнитесь, пожалуйста, навстречу своему партнеру и сделайте: ах!» Таня регулярно делала всё, что положено, и вроде выходило неплохо, однако Иван Данилыч почему-то затосковал, повадился ходить к психотерапевту и скоро начал говорить о том, что Татьяна его использует, потом о том, что он ее использует, потом, что это нечестно по отношению к ним обоим, и наконец заявил, что ему невыносимо иметь обязательства по отношению к

ней, он не может от них отделаться, потому что как честный человек он как бы обязан на ней жениться. Татьяна, постепенно привыкавшая к мужским монологам, выслушала и эту речь, посмотрела, как на дужках режиссерских очков отблескивает молоденькое апрельское солнышко, потом посмотрела за окно на зыбкую в неокрепшем свете землю и сказала, что никаких обязательств у него перед ней нет и не было, а если даже и были, то сейчас точно – нет.

– А как же постель? – спросил режиссер.

– Забудь, – сказала Таня внятно. – Постельный вопрос можешь считать закрытым.

– Ты не обидишься?

– Не обижусь. – Татьяна улыбнулась, режиссер расстроился, умолк и принялся разглядывать потолок.

Татьяна давно перестала видеть в своем Ленском возвышенного и удивительного человека. Знала, что он капризен, подвержен припадкам дурного настроения, что время от времени он хандрит и напивается, что у него драные кальсоны и не всегда чистые носки, и с ужасом понимала, что это ничего не меняет, что она не может отказаться от этого человека и, видимо, не сможет никогда. Она перестала пытаться от него уйти и стала сухо и расчетливо думать, как его получить.

Только очень наблюдательные и одновременно склонные к легкой мистике (качества, сочетающиеся чаще, чем принято думать) люди знают, что мысль, пусть даже невысказанная, но настойчивая, воздействует на внешние обстоятельства подобно руке невидимки, тронувшей маятник. Медленное поначалу его раскачивание оживляет часы, и вот ход стрелок убыстряется, и наконец исторгается из глубины томительный, но отчетливый бой. Иван Данилыч неожиданно процвел, отысканный однокурсником, ныне занятым телевизионным бизнесом, и в скором времени из режиссера районного театра превратился в популярного ведущего популярного театрального обозрения. Согласно американским опросам, при первой встрече люди в очках воспринимаются как на 15% более умные, чем те же самые люди без очков. Так что и золотые дужки, забавлявшие Татьяну в свое время, тоже содействовали росту рейтингов. Свою бывшую подругу Иван Данилыч не забыл. Чувство ли некоторой вины было тому виной (пардон за каламбур), или ему хотелось, чтобы его нынешнее покровительственное к ней отношение стерло из памяти ощущение «превосходящей силы противника», которое неприятно кольнуло его во время их последней беседы, но он всячески ее «продвигал» на ТВ. Результат, как принято говорить, превзошел ожидания. Эскизы студийного оформления для передачи «Вечер с Коренко» удовлетворили придирчивое руководство телеканала, и Константинова получила заказ. Наверно, она была и впрямь небесталанна. Столы, прежде надежно защищавшие гостей студии ниже пояса, исчезли, вместо стульев явились легкие кресла, и теперь любопытный зритель мог увидеть, что у киношной примадонны щиколотки толщиной, как у доярки Дуси, а уверенный лицом политик нервно утрамбовывает пол носами квадратных ботинок. Впрочем, это для тонких ценителей, а для всех остальных решающим фактором оказался цвет. Цвет! В этом была главная находка. Вместо синего фона, который почему-то так любят на телевидении и благодаря которому лица у людей на экране становятся, как у речных нимф в сумерках, Татьяна предложила радикальное сочетание: серебряный и песочный. Это было празднично без вульгарности и rispetабельно без пошлости – в общем, стильно. Коренко, в двубортном небрежно расстегнутом пиджаке, выглядел, как премьер-министр европейского государства средней величины. Дальше – больше: Константинова получила еще два заказа. Один на «Новость дня» и следующий... впрочем, неважно. Важно, что в итоге она получила деньги. Деньги! Субстанция, прежде ей практически неведомая, оказалась у нее в руках, суля

возможности, доселе скрытые. И пусть профаны скажут, что таким поворотом в судьбе Константинова обязана одному лишь сочетанию случайностей! Но нам-то, наблюдательным мистикам, ведомо, что эти случайности все как одна есть следствие невидимой причины, мысли, однажды возникшей, а затем надолго завладевшей уставшим от любви воображением женщины.

Начав получать регулярно пачки симпатичных зеленых купюр, Татьяна как сумасшедшая ринулась по магазинам, наслаждаясь впервые открывшейся возможностью рассматривать сначала вещи, а уж потом ценники. Иногда она даже позволяла себе и вовсе знакомиться с ними не визуально, а на слух – бестрепетно отсчитывая у кассы названную сумму. Еще забавный факт из тайной биографии героини – она повторила подвиг Энди Уорholла, да, того самого, всемирно известного творца тиражированных портретов Мэрилин Монро и консервированных супов «Кэмпбелл». На заре его карьеры преподаватель спросил юное дарование: «Что интересует тебя больше всего?» «Доллары», – не задумываясь ответил юный Энди. «Ну вот это и рисуй», – ответил учитель заранее заготовленным советом. И Энди нарисовал доллар, а продолжение вы уже знаете. Так же поступила и моя Татьяна, правда, уже не на заре карьеры, но, как известно, лучше поздно, чем никогда, – и она скопировала двадцатидолларовую купюру в масштабе 20:1, посмеиваясь над своей затеей, но с той же добросовестностью, с какой относилась к любой работе, и повесила у себя над кроватью на месте, где раньше висел траченный временем гобелен с изображением идиллической водяной мельницы в обрамлении плакучих ив. Анна Станиславовна только подняла брови, узрев это нововведение, и тут же вышла, сочтя за благо оставить стремительные перемены без комментариев.

Но уже недолго оставалось до поры, когда из гостеприимного Чертопольского переулка Татьяна перебралась в съемную комнату в Кривоколенном, а потом купила и эту комнату, и еще две оставшиеся, и квартира перешла в полную ее собственность. Благодаря этому обстоятельству ее встречи с Ленским стали проще: больше не надо было ждать, пока кто-нибудь из знакомых подкинет ключи, – но не стали более частыми. А мысль, ждавшая до времени своего часа, выплыла из глубины со всей первоначальной отчетливостью. «Если я не могу без него жить, – думала Татьяна, – остается только придумать, что сделать, чтобы жить с ним». И – пожалуйста, тут же возникла дама, с которой этой идеей можно было поделиться: Иришка-мартышка, маленькая актрисочка из труппы Иван Данилыча. Вовремя позвонила и спросила: «Как дела?». И уже сидят они в ресторане, пьют «Мартини», заедают устрицами. Это, конечно, Татьяна ее пригласила. Еще одно развлечение людей, поправивших свое состояние – кормить друзей бедной юности. У Мартышки-то откуда деньгишки? Ведь она-то осталась верна Большому искусству, не променяла театральных подмостков на голубой экран (куда, впрочем, ее и не позвали).

Стало быть, ужинают они в ресторане «Золотая рыбка» (или «Gold fish», так тоже можно). Весь интерьер – опять же произведение Татьяны. Голдфишермены увлеченно жуют и болтают, наблюдают диковинных рыб в просторных аквариумах. В динамиках, умело укрытых развешанными по стенам золотыми сетями, лениво проворачивается музыка. Мартышка легко хмелеет, громко смеется и трясет мелкими кудряшками. Вид у нее несерьезный. Самый тот собеседник, чтобы выслушать повесть вечной любви. Но по ходу разговора Мартышка трезвеет и беспечность на ее лице сменяется отражением мыслительных усилий. К концу истории она выступает с предложением радикальным и неожиданным.

- А ты найми меня, – предлагает она.
- На какую работу? – удивляется Татьяна.
- Я знаю, как тебе заполучить твоего Ленского.
- Колдовать собираешься?
- Нет. Я по-настоящему.

– И что ты думаешь делать?

– Ну зачем тебе знать? Важно, что в конце он будет лежать у тебя на блюдечке с голубой каемочкой или, скажем, на диване с газетой. Или ты передумала?

– Нет.

– Тогда вот скажи мне, сколько ты готова денег вложить в свою безумную страсть?

Вот такой вопрос. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Любовь не купишь, но предпосылки для любви с помощью денег создать можно. Разговор приобретает деловой характер, и вскоре вступает в действие Великий План.

– Володя дома?..

– Скажите, пожалуйста, Владимир Ильич скоро придет?..

– Ой, он обещал перезвонить, а разве он не из дома звонил?..

– А почему вы спрашиваете, вы ему что, не доверяете?..

– Аня, а что?..

– Передайте, пожалуйста, что Зина звонила...

– Ира...

– Маша...

И даже так:

– Меня зовут Валентина. А вы, простите, кто? Да? Владимир никогда не упоминал, что он женат.

Что стоит профессиональной актрисе изменить голос? Ничего не стоит. А телефон – он на самом деле бомба. Бомба замедленного действия, которая тикает и скоро взорвет семейную жизнь Даши Ленской. У нее складывается впечатление, что ее мужу звонят целые орды любовниц. Ее мама, всегда смутно недолюбливавшая зятя, наконец может в открытую подливать масла в огонь. Ленский между тем пьет. Жена тревожится, устраивает сцены – Ленский пьет еще больше, приходит еще позже. И даже не с Татьяной проводит он эти вечера – потому что ее вообще нет в Москве, она улетела в любимый Париж и гуляет там по нему, знакомится с сыном Пабло Хуана, с дочерью Паломы Пикассо, обедает в «Максиме»... А в Москве осень, грязь, грустно.

Тем временем Великий План развивается, наступает второй этап. Теперь Мартышке одной не справиться, и она делится частью Плана со своим бойфрендом, как это теперь называется. Бойфренд Костя – Мартышкин коллега и непревзойденный Дед Мороз. Помните объявления в газетах: «Дед Мороз и Снегурочка принесут Вашим детям подарки, поздравят и развеселят. Звоните прямо сейчас»? Так вот это он и есть – с Мартышкой на пару. Если человеку не совестно дурачить маленьких девочек и мальчиков, почему бы ему не подурочить и взрослую уже девочку? Да за милую душу. И Дед Мороз меняет амплуа на героя-любовника. Он знакомится с Дашей Ленской и принимается за ней ухаживать. Его действия просты и эффективны. Он даже не пытается делать что-то новое. Он просто звонит Ленской, в отсутствие мужа набивается в гости и каждые пятнадцать минут повторяет «Я тебя люблю» и «Ты лучше всех». Остальное время он беседует на интересующие его темы. Интересует его всё – от Французской революции до грузинской кухни. И, кстати, он отлично готовит. На разбитой «шестерке» они выезжают на пикник, он варит кашу в котелке и жарит шашлык на палочках, а вокруг вздыхает подмосковная роща, шелестят на деревьях последние листочки, а у костра тепло – особенно когда тебя приобнимут ласково и укроют тебе ноги пледом... Нет, в Косте немало доброго. Наконец-то и в Дашиной жизни есть место романтике! Тайные встречи – разве это может не взволновать?

И Даша наконец задумывается, не напрасно ли она продолжает убивать время на мужчину, который хоть и был ей когда-то дорог, но с тех пор

много чего утекло, а тут еще эти непонятные женщины... И чем пытаться вернуть чего не вернешь, не лучше ли?.. И жизнь в доме Ленских становится совершенно невыносимой.

Твердящий о своей любви Костя не предпринимает никаких дальнейших действий. Как можно? Ведь чувства его так сильны и возвышенны! Он влюблен безумно, страстно но не может подвергать риску семейную жизнь своей возлюбленной.

– Ведь ты не уйдешь от мужа ради меня? – произносит Костя ключевую фразу, заглядывая Даше в глаза и прикладывая усилия одновременно к тому, чтобы голос звучал как надо и чтобы не чувствовать себя подонком, потому что Даша вздыхает и говорит, сама себе удивляясь:

– Мне кажется, мы с моим мужем давно ушли друг от друга...

И Великий План достигает третьей стадии. Костя уговаривает Ленскую уйти от мужа, в доказательство серьезности намерений покупает на ее имя двухкомнатную квартиру в новом доме в Новых Черемушках (деньги, разумеется, не его, а Татьянины, но об этом Даша не подозревает). И, подумав, даже не один раз подумав, проплакав несколько дней почти целиком и посоветовавшись с мамой, Даша соглашается. И Ленский соглашается. Как порядочный человек, он не может препятствовать счастью своей жены. «Как дай вам Бог любимой быть другим», – да еще двушка в Черемушках. Аргумент неоспоримый.

Разводы, сказал Оскар Уайльд, совершаются на небесах. А в загсе земном ставят печать в паспорт. Шлеп-шлеп – и кончено: больше вы друг другу не муж и жена, а чужие люди, поставьте подпись вот здесь, целоваться не обязательно.

Сюжет исчерпан. Почти. Костя с Мартышкой под мышкой отправляются на Кипр купаться в синем море. Даша Ленская остается одна в новой квартире, грустит о внезапно исчезнувшем романтическом возлюбленном – и заодно о муже, от которого она отказалась ради своей любви (как ей теперь представляется), вешает занавески, заводит кошку (с Ленским она не могла завести кошку, потому что у него аллергия) и в скором времени выйдет замуж за... но это уже другая история. А Ленский, помыкавшись недолго по оставленной квартире, не находя на привычных местах ни вареных макарон, ни чистых рубашек, перебирается к Татьяне. Там его ждут и макароны, и бифштексы, и рубашки, и тапочки, и новый пентиум, и новый BMW в гараже, и кожаный диван в кабинете (наконец-то!).

И вот тут, как сказал поэт, мы героя нашего оставим надолго... навсегда. Потому что вот она, последняя сцена, которую я вижу в своем воображении. Татьяна, ей тридцать пять, она сидит на кухне (Ленский в это время где-то в своем кабинете, окутанный клубами дыма, увлеченно пишет статью для вестника РХЛИ), модные белые шершавые стены, очень лаконичная кухня, переходящая в гостиную, все очень достойно... Она неторопливо убирает со стола, смахивает крошки, идет по направлению к своей комнате, но останавливается в коридоре перед большим зеркалом. Татьяна смотрит в зеркало. Я вижу отражение: волосы давно отросли, нет больше ежика, они гладко забраны назад. На лице выражение покоя, как у человека, который сделал трудное дело и имеет полное право отдохнуть. Но даже с такого близкого расстояния я не могу разобрать в зеркале, где видны все морщинки, складочки, даже припухлость на губе, где через день обязательно появится лихорадка, – я не понимаю: счастлива ли она? Как не знаю вообще, к счастью ли стремится человек, оно ли ему нужно? И если да – то зачем?



Три стихотворения

Загадка

...А он уже – двойная дата хроник.

Анатолий Имерманис

Зимой, под выходной,
В шуршанье снежных пчел,
Узнал я стороной
О том, что он прошел,
Единые дары
Рассеянно влача
Для звуковой норы
И логова луча;
И не был в жизни он,
Теперь уже быллой,
Нимало обделен
Ни искрой, ни золой –
И потому попасть
Не дал себе труда
Ко времени и в масть
Нигде и никогда;
И был не чужд вранья
В надежде на успех, -
Кому обязан я
Едва ль не больше всех.

Вблизи него привык
Оправдывать своих,
Не веровать в ярлык
И не судить чужих,
И не тонуть в пустом
Стремленье угадать
Заранее – на ком
Споткнется благодать.

Не помнит ни следа
Не только Млечный путь.
Ну разве иногда
Помстится что-нибудь...

Потусторонних схем
Перебирая хлам,
Слегка утешусь тем,
Что, может быть, он там,
Откуда горний свет

Струится в дольний мрак
И где бродячих нет
Ни кошек, ни собак,
Где память – только сон,
Летящий налегке
Под листьев перезвон
Вдоль фонарей в реке,
Где отголоски книг
Дотлеют на ветру –
Про мыслящий тростник
И прочую муру...

Когда-нибудь смогу,
Чего пока не смог, –
Еще одну строку
Вписать в мартиролог.
Да незачем спешить
Ни к свету, ни во мрак,
Затем что жизнь прожить
Никто не знает – как,
Затем что не хочу
Гневить судьбу свою:
Пока живу – молчу.
Когда умру – пою.

Начало века

– Что ты делаешь?
– Я только пишу...

Акутагава

Следя комету, мчащую к Земле,
Не успеваешь загадать хоть что-то.
Распахнутая книга на столе.
Акутагава. «Слово идиота».
А дальше, от Балтийской топи блат
До скальных волн Кавказов и Уралов,
Неистошим усталый хит-парад
Импровизированных идеалов.
И разум гонит вскачь – или взашей! –
Причуды мысли, на расправу скорой
Со смыслом и природою вещей –
Как содержимым комнаты, в которой
Лишенное отчетливых примет –
Объема, звука, запаха и цвета –
Пространство, облепившее предмет,
Увы, бессмертной самого предмета.
Привыкнув чувствам верить, мудрено
Уверовать в измену чувства меры,
Как будто застят крыльями окно
Не то архангелы, не то химеры.
Но с бессознательностью правоты
Закона взеземного притяженья
Движенья слов не терпит суеты –
Как всякого иного движенья...
Когда одышка умеряет прыть

И прожитым со всем, что есть, повязан,
Тогда поэтом можешь ты не быть.
И ничего другого не обязан.

Вариации на городскую тему

М.Б.

Чем город менее знаком,
Тем больше кажется знакомым.
И первых впечатлений ком
Непрост, как блин, который комом,
Как реализм без берегов,
Беспутный путь варяга в греки,
Блужданья томика стихов,
Заблудшего в библиотеке...

Но легче пуха и пера
И отсветов закатной меди
Маячит краткая пора,
Как говорится, veni, vidi:
Разгадывать его слова,
Исследовать его повадки,
Пока латунная листовка
Позванивает на брусчатке,
Пока ритмичен гул, пока,
Венозные струя чернила,
Несудоходная река
Его с остатком поделила –
И тот ничтожный островок,
Где даже дом не уместится,
Лишь дух перевести помог
Неперелетно-слабой птице...

А прочее давным-давно
На чет разрознено и нечет,
И приживаться мудрено,
Где утро дню противоречит.
И выбирать одно из двух,
Быть может, вовсе и не надо,
Затем что воспаленный слух –
Подельник въедливого взгляда.

Опять кружится голова
От предвкушенья неудачи,
Хотя, по мнению большинства,
Все обстоит совсем иначе, -
Хотя с каких-то там высот
Никто не худший и не лучший,
И значит, если не везет,
Неплохо бы, на всякий случай,
Смирять молитвой и постом
И дух, и плоть равно ретиво...
Но привлекает с возрастом
Совсем иная перспектива –
Совсем другая маята,

Проклюнувшаяся неслабо –
От той, что чуть не прожита,
До той, что быть и не могла бы.
Она не стоит ни гроша
И не по-здешнему красива,
И до чего же хороша
Бессмыслица ее порыва! –
Когда с гурьбою и гуртом
Посмертная бродяжит слава...

Не говоря уже о том,
Что большинство всегда неправо.



Находка

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

Меня нашли осенью 1961 года на просторах казахской целины Юрий Константинович Арди и Вася Ананченко, корреспонденты «Последних известий» Всесоюзного радио.

И они так меня потом иногда и называли, «находка».

Точнее говоря, вся эта история произошла в студии Петропавловского радио в Северном Казахстане.

Они были там, в Петропавловске, в командировке, а я приехала туда на одни сутки из глухого райцентра Булаево, взять клише в областной типографии (из цинковых так называемых клише делались фотоснимки для органов печати, старинная технология). В Булаево я выпускала «районку» – номер газеты, посвященный работе строительного отряда МГУ на целине, в данном районе Североказахстанской области.

Был сентябрь. Все студенты отряда уже уехали в Москву с песнями, деньгами и сухим пайком, исхудавшие, черные, жилистые, все повально в тельняшках и парусиновых штанах (флот по-шефски выделил обмундирование б/у). В Булаевском районе остались возведенные белыми студенческими ручками многотонные стены зернохранилищ (из природных каменных глыб), саманные домики, кошары – их потом приехали достраивать «под крышу» армяне-шабашники. (Не знаю, доделалось ли это или все ушло под глубокие снега, когда кампания по приобщению студентов к простой жизни эков была завершена.)

И еще на целине осталась я – печатать газету об университетском стройотряде, которую всю сама написала под разными фамилиями.

И вдруг далекому корреспонденту Казахстанского радио занудилось, опоздавши, сделать вдогонку какой-то материал о нашем строительном отряде. Он позвонил в Булаевский райком, где я в унынии сидела одна со своей гитарой.

О, ночи в казахстанской провинции! Пустой кабинет с койкой, телефон в коридоре, повсеместный лай собак, тьма египетская, ветер гремит по крышам, все.

Звонок! Кто это в такую поздноту?

– Але, девушка! Мне бы кого-нибудь из студенческого отряда!

– Все уехали уже.

– А вы? Вы кто?

– А я делаю здесь газету об отряде, заканчиваю...

– О! Вы-то мне и нужны! Вы можете приехать ко мне в Петропавловск на радио выступить? Как жалко, упустил, я был в командировке, так хотелось их записать, так сказать, под песни у костра.

– А я завтра еду как раз к вам в Петропавловск в типографию за клише.

И у меня как раз гитара.

Он помолчал – как видно, оторопел от такого совпадения.

– Ну вот! Да вы что! А переночуете у нас, жена вас накормит.

Назавтра областная типография должна была выдать мне последние клише фотографий, а затем предстояло напечатать весь тираж и сопроводить его в Москву.

Белые мухи носились над одноэтажным городишком Булаево, долгие и глубокие лужи рябили как в шторм... Дул сильный, ледянящий, настоящий предзимний степной ветер. Я пробиралась на вокзал с гитарой. Из верхней одежды у меня были бордовый прорезиненный плащ китайского производства и большой головной платок, похожий на оранжевое вафельное полотенце. Под ними матросская тельняшка. Внизу – парусиновые матросские клеша и зеленые ботинки. Что-то немыслимое. Все, кроме военно-морского обмундирования, покупала в разное время мама. Доставала. Я плакала над этими обновками, но делать было нечего. Носила. И в таком виде поехала в столицу Северного Казахстана, навстречу своей судьбе.

А вот как я там оказалась, на целине.

Весной, когда уже пора было заканчивать университет, я пыталась устроиться на работу. Но меня не взяли ни в газету «Неделя» (где уже принятый на работу мой однокурсник в ответ на все вопросы о штатном местечке запел и выдвинул ящик стола, в котором загремела, перекатываясь, пустая коньячная бутылка. А я намек не постигла и ушла после слов «Ты в уме ли, старуха, какое там, сам еле-еле...»), ни в «Крокодил» (туда, в отдел писем, уже зачислили мальчика с нашего курса, Колю Монахова, который потом прославился, публикуя фразы из народных писем под рубрикой «Нарочно не придумаешь»). В отдел сатиры и юмора радио меня тоже не взяли – работники даже скромно посмеялись, переглянувшись между собой, едва я ввалилась и на вопрос ответила, что хотела бы у них работать, еще бы они не засмеялись! Там в то время вкалывали Владимир Войнович и Марик Розовский!

Почему я пыталась устроиться в такие странные места – потому что только что защитила творческий диплом по сатире и юмору, там были фельетоны и рассказы (и на защите этого диплома схватились два преподавателя – председатель комиссии говорил, что не смешно, а оппонентка закричала, что смешно, вы че! Сцепились они по поводу моего комментария к письму, пришедшему в журнал «Крокодил». Человек прислал мед. справку, выданную гражданину Н., что такой-то Н. пришел в амбулаторию «на своих ногах». Я отвечала на письмо в таком духе, что хорошо, что Н. пришел не на своих руках. И вот начался этот длительный спор: смешно или нет? В результате стороны помирились, мне поставили четверку, и я, довольная, отчалила).

А на работу я так и не устроилась.

И в этот тяжелый жизненный момент я услышала, что от университета едет на целину стройотряд, куда-то в степи Казахстана. И у меня возник хитроумный план: поехать с ними туда, это вообще бесплатная дорога на край света, когда еще предоставится такая возможность туда добраться!

Данная идея с отъездом казалась мне решением всех моих вопросов.

Тогда были такие времена. Трудно – езда за туманом и за запахом тайги, на ту сторону Урала, по маршруту, кстати, воров и убийц, которые как раз тоже в свои времена отправлялись туда же по Владимирскому тракту (нынешнее шоссе Энтузиастов, московское начальство знало, как назвать братьев по духу) и дальше, к Тихому океану, три года шли пешком (как описывал Чехов в своем отчете о командировке под названием «Остров Сахалин»), чтобы ступить на грузовой пароход во Владивостоке и затем переправиться на каторгу, на тот остров, в тогдашний ГУЛАГ... (Книга Чехова, его научный отчет о поездке через всю Сибирь на Сахалин, написана была безо всякой страсти и обличения, скучно, тяготно, однако это и был

настоящий первый «Архипелаг», и именно там и был показан подлинный социализм без собственности, не хуже платоновского «Котлована»: каторжане получали дом и землю, но поскольку это было не «ихово», государственное, то они тут же пропивали все, в том числе и арестантские халаты, и брели за пайкой хлеба и приварком что ни день, инстант по четыре часа в одну сторону, без дороги, сквозь сахалинскую тайгу, на кухню. Они никогда ничего не сеяли, вообще ничего не делали. Спали на голом полу. Единственная шутка у Чехова на всю книгу – что аборигены-рыбаки носят арестантские халаты каторжан «из щегольства».)

Не вдохновило автора это путешествие по России...

Тоска, видимо, его брала или предчувствия донимали.

Великим русским писателям даром эти поездки не проходят – Радищева вообще посадили за очернительство после одного путешествия из Питера в Москву.

Чехов никакого пафоса и обличения не допустил – и правильно сделал. И его «Остров Сахалин» поэтому мало кто прочел.

Надо сказать, что к решающему моменту, к окончанию моего университетского обучения, к последнему госэкзамену, я подошла совершенно распутившись. Это бывает со студентами. Я перестала учиться. Диплом на тему «О природе юмора», опомнившись, наваяла за одну ночь накануне последнего срока сдачи, в нем было двенадцать страниц теории и полтора десятка моих заметок из «Крокодила». Вообще за пять лет учебы я не только ничего нового не узнала, но и подзабыла все то, что прочла к окончанию школы. Нас на факультете все время натаскивали как будущих идеологов, подвергали чтению бесконечных ленинских трудов о партийной печати (люди как «винтики общепролетарского дела») и его же, Вовиных, книг насчет какого-то эмпириокритицизма, затем шел диамат, истмат, диабаз и гранит марксистской философии, зачем-то теория коммунистической печати (что сие означало?), плюс какие-то попытки научить грамотно писать, практикумы по правке текста, то есть вставить вместо трех точек нужный падеж или предлог.. При том что у нас на курсе прочно сидели асы с национальных окраин, которые в диктантах на одну страницу делали по 38 ошибок (личный рекорд студента из Баку). Они-то потом и становились главными редакторами местных газет. В том числе у нас имелись и два неторопливых монгола, которые так и не успели за пять лет записать ни одной лекции...

А ведь научить человека выражаться грамотно почти невозможно. Еще иностранца насобачить – полбеды, он зубрежкой возьмет. И спроса с него не будет. Но исконно русского человека «с Калининграда» и «с Тирасполя», с исковерканным от рождения люмпенским окраинным языком, именно что ни к селу ни к городу (как в пословице «пошел по языку да свой потерял»), – научить правильно писать в университете на нашем факультете не могли по определению! Несмотря на блестящих преподавателей стилистики. Потому что главным делом была преданность идеям партии.

Так что из нас готовили непрофессионалов, идеологически выдержанных профанов...

И все это происходило при наличии великой литературы, отметим. Одновременно!

Каково было идеалистам, воспитанным на высоких образцах, влезать в кусачие робы пролетариев умственного труда, лжецов на зарплате!

Как-то, много позже, профессор Асмус уважительно спросил А.А.Морозова, переводчика «Симплициссимуса», в доме творчества в Переделкине (когда я перед тем на скамейке в парке изложила им очередную главу польской книги о барокко и сарматах, меня попросили вкратце перевести): «А что она заканчивала?» «Журналистику». «Бедная»...

И вот последний госэкзамен, гос, я как раз и заканчиваю университет. Теория и практика советской партийной печати плюс зарубежная коммунистическая печать. «Партсовпечка» по-нашему.

Господи! Я не могла себя заставить готовиться к этому экзамену. Вечером накануне я, однако, пошла, спотыкаясь, в Ленинскую библиотеку хоть что-то подчитать. Хоть в энциклопедиях. Не знала же ничего!

Надо было судьбе послать поперек моей дороги хорошего дружка Юрку. Он шел со своей мамашей именно по этому же переулку, но в противоположном направлении. То есть навстречу мне, которая брела, полная сомнений, к неведомому источнику знаний относительно коммунистической печати (дяденьки педагога так и не соорудили никакого учебника по данному вопросу).

– У меня сегодня день рождения, привет! – заорал Юрка, а его маленькая мамаша-рентгенолог просияла и кивнула. – Пойдем к нам?

– Правда! – закивала его мама. – Пойдемте, Люсенька!

– А пойдемте, – сказала я.

И вернулась домой с последним метро, вот как.

Затем утром я явилась на госэкзамен с понятным опозданием. У двери толпились однокурсники, впившись утомленными глазами в тетрадки. Поздно было даже просить что-то почитать. Они сами явно выклянчили драгоценные конспекты у отличниц. Отличницы давно сидели в аудитории.

Я заглянула туда. Ого! Комиссия будь здоров, во главе с нашим однокурным деканом. И молодой Засурский, основатель кафедры зарубежной коммунистической печати. И какие-то тетки-дядьки. Человек семь.

Я тут же зашла. Мне было терять совершенно нечего. Как во сне, в полном бетонном спокойствии взяла билет. Села. Поглядела. Нет! Ничего я не знаю о коммунистической печати Японии! И возникновение и зарождение партийной печати Сибири в эпоху революции тоже не вызывает во мне никаких чувств. Колчак? Врангель? Какое отношение они имели к партийной печати? А только эти имена да еще фамилии казненных в топке паровоза героев (то ли Лазо? То ли, наоборот, Щорс?) приходили в мою бедную головенку. Но партийная печать? Как они там могли все эти кошмарные вещи освещать?

Я встала и вышла на лобное место перед комиссией. Она была еще довольно свежая, неутомленная. Сидел лысый, с искусственной рукой, с какими-то тоже не совсем одинаковыми глазами, оба были подозрительно ненастоящие, наш декан. Он был суров, как герой фильма ужасов. На факультете («на факе» по-местному, народ говорил: «Пошли на фак») вообще ряд педагогов резко отличался от остального народа фантастической внешностью. Один преподаватель диамата, стоя в полный рост, доставал бровями как раз до края стола и иногда так и смотрел, невидимый, оттуда. Мы с подружкой Веркой как-то залетели в пустую аудиторию, Верка, приподняв юбочку, стала поправлять чулок – и о ужас! Прямо на столе вдруг загорелись укоризненным огнем два глаза в увеличивающих очках! Преподаватель задрал голову!

Мы с ней обе имели незаслуженную тройку по этому предмету...

Ладно. Я стояла в вольной позе перед государственной комиссией. Потом промолвила нехорошим тоном (не без развязности):

– А я не знаю билета.

Они оживились, зашевелились. Такое приключение! Вежливо предложили взять еще.

– И этого билета не знаю. Вообще ничего не знаю.

– Ну хорошо, – встревоженно сказал дяденька справа. – А вот как Хрущев назвал журналистов? Вот как?

Тетя в центре вдруг откинулась и незаметно для комиссии стала мне подсказывать, шевеля губами. Где там! Мне было уже не до мелочей.

– А не знаю я, – оголтело произнес мой рот.

Они смутились. Я, как закоренелый преступник, уже закусила удила. Вообще дело начало смахивать на судебное.

– Подручные партии! – с горьким укором ответил за меня дядя.

– А, – как бы вспомнила я. Разумеется, мне была знакома эта формулировка. Вообще-то подручными в дни моего детства обычно называли в журнале «Крокодил» помощников палачей. Ренегат палач Тито и его подручные.

– Ну вот, – покачал головой дяденька. Мол, что же ты так-то?

Помолчали. Никто не знал, как и когда меня гнать в шею. Ужас витал над аудиторией. Сзади меня напряглись лучшие силы курса, первые ряды отличников.

Тут я неожиданно для себя сказала очевидную пакость:

– А мне это не пригодится.

Пауза. Они не верили своим ушам. Выпускница говорит, что ей не пригодятся знания, приобретенные тут! В стенах университета!

– Что вам не пригодится? – задал наводящий вопрос дяденька справа.

– Ничего! Зарубежная печать!

Засурский выпрямился:

– Как это?

Дело его молодой жизни! Изобретение пылко полиглота!

– Да я еду через три дня на целину, – заявила я со всей силой здорового рабочего класса, – на стройку работать! Надо изучать жизни! Прежде чем писать!

Часть комиссии нехорошо задумалась. Теперь как это так – вдруг взять и влепить двойку будущему рабочему стройки! Идеологически-то она верно схватывает! Да и Засурский тоже хорош! Зачем дуракам-студентам его зарубежная печать? Кто это читать-то будет? Пусть она коммунистическая, но ведь это же на других языках! Их же никто не знает! Закорючки какие-то японские, индийские! Что в них понятного-то? Филькина грамота это все! Коммунистическая-то да, но ведь хрен знает, что они там пишут! И проверить некому!

И потом (явно размышляли они) – можно наказать нерадивого студента, исключив его из университета и сослав на годок проветрить мозги в какую-нибудь многоэтажку на стройку, но эта-то сама туда – и горделиво причем – лезет! И учит нас!

Тогда я этого не понимала совершенно, однако демагогические приемы, видимо, были усвоены мною за пять лет учебы четко. Вот у меня коммунистические принципы! На целину, на стройку! В гущу! А не у вас тут в Москве!

Старым духом повеяло, чистками, рабочими ассоциациями пролетарского чего-то (рапповщиной). Превосходством рабочего класса над гнилой интеллигенцией. Письмами в ЦК, мало ли. Они все друг на друга строчили.

С такими людьми, наверно, только так и можно было разговаривать.

И я тут же весьма пышно удалилась вон из аудитории. Сердце мое трусливо билось.

Народ, подслушивавший за дверной щелью, расступился в ужасе, как перед еретичкой. Я прошла в пустом пространстве, как-то преступно улыбаясь, проследовала через весь коридор и затаилась где-то в закутке.

Все, мне конец.

Что меня ожидало? Диплома не дадут, на работу без него никуда не возьмут, ни в какую районную даже газету, жить нам будет не на что, а через год все равно придется сдавать опять тот же самый «гос»... Будь ты неладна, коммунистическая печать Японии.

Спустя время в коридоре забегали, созывая всех на объявление оценок.

Прошла опять в пустоте, села в аудитории отдельно.

Мне объявили тройку!

Я захохотала от неожиданности. Этот смех странно и кощунственно звучал в серьезный, даже торжественный момент окончания университета.

Комиссия попрачала глазки и горько смотрела врозь, мимо меня, как многоглавый Змей-Горыныч, упустивший зайца на ту сторону реки. Ясно было видно, что они с огромным удовольствием влепили бы мне именно сейчас заслуженную двойку. Но что делать, пролитое не соберешь!

После окончания университета у меня имелось пять рублей, и я их, придя через три дня в назначенное утро к университету на Ленинские горы, сдала командиру первого попавшегося автобуса на питание, доехала с ребятами до товарной станции, залезла в телячий вагон на нары и начала приводить в действие план дальнейшей жизни. Я собиралась поработать на стройке в Северном Казахстане со студентами, а дальше, когда они уедут, остаться в степях и тихо переезжать из города в город, писать для местных газет, продвигаясь к Тихому океану, по маршруту Чехова. Жить же на гонорары. Изучать настоящих простых людей! Почему-то мне именно это казалось самым важным.

Так что я действительно уехала, как грозились. И действительно вкалывала на стройке разнорабочей, грузчицей. Таскала камни как на каторге, под палящим солнцем, полные носилки, ноша на двоих при пятидесяти градусах жары, без бани (два раза за два месяца), с солоноватой водой из бочки, без почты и с коричневыми макаронами на завтрак, обед и ужин – как в какой-нибудь Италии, с той только разницей, что в Италии эту слипшуюся массу не сдабривали бы кусками вареного бараньего сала. Макаронникам такая кухня и не снилась!

Через месяц мы закорявели, заплошали, пошли какими-то нарывами, даже устроили забастовку, то есть кисло сидели у своего недостроенного амбара, похожего на вконец разрушенный римский Колизей, и не работали. Можно было это квалифицировать как преступление и всех, весь курс, показательно выгнать из МГУ и из комсомола – но нашему командиру, аспиранту-математику Беленькому, это и в голову не пришло. Он был чужд идеологии. Он был просто хороший человек. И вместо этого он отвез нас на грузовике в совхозную баню, дал денег купить пряников и карамели (думаю, что это были собственные средства аспиранта Беленького), а также мы смогли приобрести тетрадки и конверты, зайдя в канцтовары как в рай. Сразу после бани и канцтоваров, как только мы были готовы ехать обратно, на нас налетел ливень, степь прямо на глазах зазеленела, а дорога немедленно обратилась в глубокое болото, и мы ехали промокшие, заляпаные по брови после баньки, стоя в кузове, веселье, и пели песни.

Еще через неделю такой жизни меня белым днем обнаружили (лежащей на полу за печкой в вагончике по причине болезни) командиры сводного отряда, приехавшие на машине из районного центра (я была единственный журналист с дипломом МГУ на территории, как тогда шутили, равной трем Франциям). Они вежливо смотрели на пол, где я в духоте валялась с высокой температурой, и предлагали сменить участь: уехать в Булаево и начать делать газету о стройотряде университета. Я сначала сочла это предательством, а потом, через два дня, когда они опять приехали, согласилась (все равно все скоро закончится) и стала спешно выздоравливать.

Это была чудная жизнь! Свобода! Просторы! Я начала ездить из отряда в отряд, брала интервью, собирала песни, смешные случаи, байки. Единственно, что я не посетила ни разу, – это стан факультета журналистики. Почему-то будущие коллеги были мне поперек горла.

Я добиралась на редких попутках, иногда лежала в высокой траве посреди степи в ожидании грузовика, под высоким небом, в звенящем просторе. Ничего нет прекрасней степи. Ничего. Даже море короче, быстрее обрывается. Я запомнила на всю жизнь восход солнца над черным паром – лиловая, густо-фиолетовая вспаханная сырая земля и оранжевое большое

солнце, которое выпрастывалось, жидко дрожа как желток, выскакивало, еще ничего не освещая, а именно «озаряя», – а на дороге стоял грузовик, с него прыгали наземь доярки в красных от рассвета белых халатах, и накапывало стадо, посреди которого ехали на лошадях пастухи и орали что-то шуливое по-немецки, как орут мужики встречным бабам, из чего я поняла только лихое «доннер веттер!» А доярки, идеально чистенькие, даже накрахмаленные, румяные и здоровые, со смехом восклицали: «Гутен морген», – это были ссыльные, сосланные в степи немцы Поволжья...

Но потом, когда стройотряд уже уехал в Москву и я готова была двигаться по стране дальше, к Тихому океану, сведущие люди в районной газете сказали мне, что гонораров районки не платят, а штаты везде заполнены членами партии, даже снять койку будет не на что – да и печатать мои статьи вряд ли кто захочет. Так они мне говорили. Действительно, газетенки не интересовались творчеством. Я почитала тутошнюю подшивку. Это был нескливаемый ужас. Местные редакторы публиковали бодрые вести с полей, интервью с председателями совхозов и всякую идеологически выдержанную хрень из «тассовок», материалов агентства ТАСС, при том, как я теперь понимаю, находясь под сильным прессингом обкома и райкома, на самом дне партийного океана. Такие рыбки без боков, сплюснутые, сильно пьющие. Ибо чем дальше от центра, чем больше вокруг пустого пространства, тем теснее живет человек. Он на виду. Ему меньше простора. Больше давят сверху. Мне было там не выжить.

У меня той весной, перед окончанием университета, была еще одна надежда найти работу – мой незнакомый отец. Он был профессором философии (марксистско-ленинская этика, атеизм) и членом редколлегии журнала «Наука и религия». Мог бы помочь. После долгих поисков я нашла моего папу ровно в том же дворе, в котором проучилась пять лет, – его кафедра повышения квалификации преподавателей общественных наук находилась прямо напротив двери моего факультета журналистики. Он знал многое обо мне. До него явно доходили слухи о моем идеологически не выдержанном поведении.

Он испугался и даже привстал, когда я вошла к нему в кабинет. Я видела его перед тем всего один раз в жизни, десять лет назад. Тем не менее мы друг друга сразу узнали: голос крови, видимо. Придя в себя, он повел меня в ресторан-поплавок и накормил. Он спросил в заключение, очень осторожно:

– Чем собираешься заниматься?

– Да вот, – ответила я, – поеду работать на целину, на стройку разнорабочей.

– Правильно! – облегченно воскликнул он. – Так начинаются все карьеры!

Эти мои планы вызвали в нем большое воодушевление. Он дал мне десять рублей.

Я пришла к нему еще один раз, просто так. Соскучилась, может быть. Он заметил:

– Моя жена против того, чтобы мы с тобой встречались. Но я ей сказал: «Ты не знаешь, может быть, она нам пригодится».

И он повел меня в университетскую столовую.

Больше я его не видела, моего удивительно мудрого отца.

Но все получилось именно так, как он сказал.

Такова предыстория моего появления в городе Петропавловске.

На следующий день я, сойдя с местного поезда, управляемого паровозом, уже сидела на петропавловском радио в студии у микрофона, в

теплом и светлом месте, и пересказывала содержание написанной мною газеты (каждая статья шла как «новелла»), а также пела под свою гитару песни стройотряда. Пела, я думаю, не меньше часа, в том числе блатной репертуар типа «Вхожу это я в пивную», любимые песни раздольных казахских степей. Для советского радио это была, как я понимаю, безумная новинка!

Когда я вышла из студии, будучи в тельняшке и белых матросских клешах, а также в зеленых ботинках, вид, возможно, невероятный для радио, даже экзотический, при этом загар как у мулатки и совершенно выгоревшие, цвета соломы, волосы, да еще и в руке гитара – ко мне обратился оживленный, интеллигентного вида, даже какой-то французистый старичок, лет за сорок, и сказал ласково:

– Откуда вы явились такая?

– Из Булаево.

– ?

– Это шестьдесят километров отсюда.

– Надо же, – сказал интеллигентный старичок. – Как интересно. Мы вас слушали. Я – комментатор «Последних известий» Константин Арди.

Из угла кивнул дядя тоже не первой молодости, хорошо за тридцать пять. Он казался утомленным, заработавшимся. Так обычно выглядят после вчерашнего. Я до того посидела на практике в городе Горьком, в сильно пьющем коллективе местной газетки, которую они же сами справедливо обзывали «Горькая правда», и мне уже были визуально знакомы разные состояния человека.

– А это – Вася Ананченко, корреспондент, мы вместе приехали. Вы нам понравились.

Пожилой Вася попробовал улыбнуться. Глаза у него были синие и такого же примерно цвета подлазья. Он сидел нога на ногу, понурившись.

Девушки всегда очень подозрительно относятся к комплиментам. Знаем мы вас, старые дядьки! Я насторожилась.

Старец продолжал хвастливо:

– Эх, вот если бы вы были москвичкой, я бы вас взял на работу на радио!

Я тут же сурово возразила:

– А я москвичка.

– Ну хорошо, – растерялся старичок, – будете в Москве, заходите.

Как бы его поймали на неосторожном обещании.

Возникла тяжелая пауза. Вася смотрел в пол, покачивая головой и ботинком.

Но Юрий Константинович Арди был, вообще говоря, удивительно легким и добрым человеком. И он вышел из положения доблестно:

– Вот вам телефон. – Он засуетился, ища ручку. – Моя жена, Александра Владимировна Ильина, заведует отделом культуры в «Последних известиях».

То есть никаких таких двусмысленностей, жена!

Вася Ананченко зыркнул из своего угла как бы неожиданно трезво.

Посмотрим, говорил он всем своим видом.

Может быть, эта история и должна была иметь продолжение в каком-нибудь местном кабаке, но корреспондент радио тут же увел меня к себе домой, где его жена наготовилапельменей, весь вечер мне со смехом жаловались на тугошнюю жизнь, город, оказывается, все местные называют его «Петродыровск»!

Дети радостно бесились вокруг, а потом мне предоставили комнатку с кроватью, на которой было две перины! Я погрузилась в эту роскошь, но поспать мне не удалось: пришли старожилы-клопы, видимо, попить свежей кровушки. Бедные люди, как мы все тогда жили!

Я выпустила булаевскую университетскую газету, вернулась с тиражом в Москву, а идти на радио все не решалась, месяц просидела дома, сопровождаемая стонами мамы, что нам не прожить на одну ее зарплату, это было чистой правдой, мамы всегда провозглашают горькие истины и этим раздражают своих детей, которые не желают подчиняться обстоятельствам; а затем я набралась духу и позвонила по чудом сохранившейся бумажке Арди.

– Нугде же вы? – сказал женский прокуренный бас (это оказалась сама Ильина). – А мы вас ждем-ждем... Приезжайте немедленно. Арди мне про вас рассказал.

Я, оцепеневшая, приехала, мне велели написать текст о возвращении студенческого отряда (якобы это произошло сегодня, а не два месяца назад), Ильина прочла, кивнула, меня тут же запустили в студию, и вечером, сидя у приемника «Рекорд-59», мы с мамой слушали меня голова к голове, и я не поняла из своего репортажа ни слова... Какой у меня был соблазнительный голос! При этом каша во рту, такое я вынесла впечатление от собственного выступления по радио.

Тем не менее я начала там работать внештатно.

Через два месяца Ильина меня взяла корреспондентом.

Насчет карьеры мой мудрый папа оказался прав.

Моя первая начальница, завотделом культуры, прекрасная Александра Владимировна Ильина, имела суровую внешность Жана Габена, курила «Беломор», басом заступалась за меня перед начальством и на летучках, а в личных беседах строга как карандаш. У нее мужа расстреляли в 37 году, сын погиб на фронте. Дети ее были мы все.

Еще я очень уважала и боялась Павла Осиповича, Пашу Майзлину. Он был завотделом промышленности, при том что еврей и не член партии, дело вообще-то на радио немыслимое, тем более что на фронте, выходя из окружения со своей ротой, он закопал все документы, в том числе и партбилет, а также ордена – и выбрался, но известно, что тогда «наши» делали с такими. Он прошел все круги ада и упорно не желал еще раз вступать в партию, сколько ему ни предлагали, суля даже повышение по службе. Тем не менее его держали на высокой должности: в работе ему не было равных.

Это у нас был цех, заводской цех, поток новостей, без высоких слов, самое непатетическое из всех средств массовой информации. Хотя и тут беспардонно ввали: например, сев всегда начинался у нас «на три дня раньше прошлогоднего», а одну и ту же домну провинциальные корреспонденты, за неимением информации, задували по нескольку раз (а нашего постоянного выражения «пущена третья очередь» вообще никто в стране понять не мог).

Бывало, Майзлин, лысый человек, сидящий за абсолютно пустым чистым и блестящим, как его голова, столом (и это при огромнейшем объеме информации, которая шла через данный приемный пункт), будучи главным по дню, вгрызался в мою информашку, черкал, ноя себе под нос какую-то криво-косую песню, и со вздохом говорил:

– Самое дело, вот дали бы мне тебя месяца на четыре, я бы тебя научил, самое дело, как надо писать.

(Я с воем в душе шла к своей Ильиной предупредить, что меня хотят забрать, она слегка улыбалась прокуренной улыбкой Жана Габена, затягивалась папиросой и хрипло говорила: «И правильно».)

Это все были мои учителя, люди старинной закалки и стальной выдержки. Я состояла при них как подмастерье (не оставляя, однако, усилий по подрыву принятых там норм языка). Вообще я не встречала больше такого дружного, хорошо сколоченного и солидарного коллектива. Выгораживали друг друга, про сбежавшего сообщали: «Портфель его здесь,

вышел, наверное», часто сидели вечерами, слушая байки. Особенно любим был Вадим Синявский. Мне запомнился его рассказ об олимпиаде в Австралии, когда наш журналист проиграл в карты сумму, равную суточным всей советской делегации! Тогда Синявский пошел парламентаром, взяв с собой переводчиков как переводчиков, и миру был явлен вызов на дуэль: кто кого перепьет. Сборная России против сборной мира. Алкогольная олимпиада. На кону был проигрыш нашего газетчика. Спиртное тоже за счет проигравшей стороны. Синявский в этом месте делал паузу:

– Я шел первым номером.

Слушатели восторженно кивали. Еще бы!

– Я обошел их уже на пиве – велел подогреть и перелить в кружку. Он-то пил из такой жестянки ихней!

Раздавался сдержанный смех.

– На водке их первый номер упал сразу под стол.

Аудитория делала вид, что изумлена. Потом следовал понимающий хохот. Все знали эту байку.

Далее шло перечисление напитков. Это была поэма! Пиво, бургундское, шампанское «Вдова Клико»... Ну, виски «Уайт хорс»... Водку наши сами выставили. Советский вклад, «Столичная». Ну и сами понимаете...

– А то!..

Это все была рабочая кость информации, мои старшие.

Но и руководителю нас был напростой. Наш главный, Владимир Трегубов, красавец, много раз женатый, совершенно седой, лохматый, вечно загорелый, просвистывающий по коридорам как торпеда, Вэ Дэ, как мы его звали, – он говорил отрывисто, всегда смотрел поверх головы собеседника, вечно спешил, не вникал в мелочи, не въедался под шкуру, как многие мои позднейшие начальнички; но в один главный момент своей жизни Трегубов основательно поставил точку в собственной судьбе, совершил политическое самоубийство, не желая лгать: на партсобрании, посвященном вводу войск в Чехословакию, он отказался голосовать «за», поднял руку «против». Он был единственным таким самосожженным. Затем его постепенно выжили. Высокий, красивый, умный, интеллигентный, с вечно болтающимися шнурками, он блуждал по вокзалам, приглашал девушек на самопальные экскурсии, водил их по Москве. Один раз (ходили слухи) он даже пообещал кому-то достать ковер... Девушка пожаловалась по месту работы. В дальнейшем он почти нищенствовал и сошел, говорят, с ума...

Весь радиокомитет, все эти отряды профессиональных лгунов, все бурлило в те дни «чешских» событий 1968 года. Я уже работала в радиожурнале. Перед собранием начальство велело запереть дверь. Выступали по собственному порыву. Один наш молодой коммунист пылко сказал, что сам бы всех там пострелял. Мы протянули вверх ручки, одобряя ввод армии. Я не могла себе позволить такой роскоши, как Трегубов, в семье было двое инвалидов, ребенок и я, единственный кормилец.

В тяжелые времена таких собраний, когда надо было поднимать руку, голосовать, я говорила себе: мы разведчики во вражеском стане. Самое смешное, что тогда полно было таких разведчиков, чуть ли не вся страна. Все хором ввали и прятали свои чувства.

Когда я сказала Твардовскому, главному редактору журнала «Новый мир» о том, как голосовала, он мне ответил в том духе, что «знали бы вы, в какие моменты я поднимал руку...» Это было спустя пять месяцев после чешских событий, в январе 1969 года. Твардовский меня вызвал, чтобы сообщить, что не может опубликовать мои рассказы. Ему, по его словам, нечем было бы меня защищать. Вскоре и он был снят с поста и практически погиб.

У жизни не бывает хеппи энда.

Юрий Константинович Арди перед смертью ослеп. Моя крестная Александра Владимировна Ильина погибла типичной смертью курильщицы – сгорела в постели, в больнице. Она уже не могла ходить (облитурирующий эндартерит) и уснула с папиросой во рту... Они с Юрой умерли с разницей в день – он за сутки до нее, один в пустой квартире.

Вадим Синявский умер от застарелого туберкулеза. Мы ездили его навещать в Сокольники, тоже в больницу. Ровный. Спокойный, угасающий человек... Ни для кого не было секретом, что его стремится погубить новый главный редактор, не пускает в эфир.

О них, наших дорогих ушедших, мы говорим с единственным человеком, который знал их всех, с комментатором радио Максом Гинденбургом. Макс мне рассказывает вещи, которых я не могла знать по молодости лет...

К нашим беседам я еще вернусь в конце своих воспоминаний о моем детстве на радио.

У меня была профессиональная беда – я говорила в микрофон при всех обстоятельствах одинаково пискляво. Некоторые мои знакомые, слышавшие меня по радио, даже считали, что я работаю в «Пионерской зорьке»!

Мой крестный, Вася Ананченко, мне стал внушать разные полезные вещи, в том числе Вася сказал, что по радио надо говорить медленно.

– Ты не трещи, находка, – успокаивал он меня.

(Однажды я приволокла запись с литературного вечера в библиотеке – какая-то девушка пела еще более писклявым голоском свои песенки. В процессе записи что-то случилось с моей «крупорушкой» – так мы называли портативный магнитофон. Он весил 8 кг. Я починила механизм кое-как с помощью карандаша и попросила начать все с начала. Девушка дисциплинированно стала повторять. Я была в восторге от ее песен. До сих пор знаю их наизусть.

Александра Владимировна Ильина взяла у меня эту пленку, положила в стол, закрыла ящик и сказала: «Иди пока работай».

Это была бы первая запись на радио Новеллы Матвеевой... Но время еще не пришло.

Правда, ее слава началась очень скоро и останется на века.)

Так вот, один раз Вася решил меня наставить на путь истинный и преподать урок настоящей работы, когда он, крякнув, услышал, что нас с ним посылают освещать какую-то производственную выставку в Манеже.

Я, правда, поначалу оторвалась от своего руководителя, взяла на плечо крупорушку и, перекосившись от тяжести, пошла сама искать себе выступанца. Нашла! Навстречу мне шел какой-то нарядный старик солидной внешности.

Вставу него поперек дороги, я нацелила микрофон ему под нос и звонко произнесла:

– Будьте добры, несколько слов о ваших впечатлениях!

И тут же почувствовала, что меня уносит с его пути, какие-то люди буквально взяли меня под мышки и оттащили в сторону.

Это был сам академик Миллионщиков (до сих пор не знаю, кто такой).

Вася меня больше не отпускал. Он велел мне стать у стены и тут же привел выступающую тетю.

Я опять-таки сунула ей в лицо микрофон как дуло автомата.

В ответ на мой простой вопрос: «Как вам понравилась выставка?», она мудро помотала головой и отстранила опасную штуку от своего лица. Вася стоял рядом и тоже качал головой. Потом он сказал:

– Смотри, как надо!

Он, правой рукой держа микрофон, левой начал оглаживать тетеньку со стороны спины, при этом ласково диктуя, что надо сказать.

Тетенька оживилась, но сразу произнести фразу не смогла. (Ходила же по рукам в старые времена (потом это стало анекдотом) пленка с записью, где корреспондент берет интервью у бригадира, тот читает написанный текст о кормах для кроликов и произносит, что они должны быть «легко усвояемые». Его просят прочесть еще раз. Получается «легко усвояемые». Затем еще один вариант, «легко усвояемые»).

Наша бедняга отвечала на вопрос только «ну».

Вася начинал беседу:

– Вам понравилась выставка? Да не «ну дак»! А просто: «Мне понравилась эта выставка».

– Ну.

– Вам понравилась?.. Фу ты господи! Не «ну», Раечка! (Сеанс поглаживания.) Скажи только: «Мне понравилась выставка». Да?

– Да ну же.

Вполне справедливый ответ: сказано ведь было, чего еще-то повторять.

– Ах ты боже ты мой... Минуту. Так. (Солидно.) Вам понравилась эта выставка? А? (...) Ну что ты все ну! Что это ну?

Потом он ей написал на бумажке крупными буквами слово «да»...

Когда он ее отпустил, то сказал мне:

– Вот ты видишь... Как приходится работать, в каких условиях... И вот как надо!

Следует сказать, что даже сам Леонид Ильич Брежнев (генсек ЦК КПСС, если кто помнит, что это такое было) впоследствии вы-ха-ва-ри-вал настолько заковыристые звуко сочетания, произнося свои странные речи на съездах партии, что фирма «Мелодия», которая обязана была выпускать пластинки с его речами, панически искала подходящих пародистов, чтобы перепроизнести, к примеру, слово «находящихся». Сам Леня Ильич произнес его как «находявших». Среди прочих вызвали на студию и режиссера мультфильмов Эдика Назарова (любимые народом фильмы «Как муравьишка домой спешил», «Жил-был пес» и т.д.).

Эдик мастерски передавал интонации Лени.

Но слово спасти не удалось – оно было произнесено при полном зале собравшихся, при определенных акустических условиях. Не собирать же съезд заново! Не выпускать же на трибуну Эдика! Чтобы он сказал, напрягшись, рыча, вывернувши рот наизнанку, еле ворочая языком, теряя челюсть и как бы стараясь, чтобы не стошнило, слово «находящихся».

Однако самое сильное впечатление осталось у меня от одной благотворительной акции «Последних известий». Это был пик моей карьеры на радио.

В тот раз в космос полетела первая женщина, Валя Терешкова, бывшая ткачиха с образованием типа техникум. Ну и нам, девочкам «Последних известий», доверили вести прямой репортаж с трассы. Решили как бы подбодрить женское племя журналистов. Восстановить пошатнувшееся равновесие между полами, раз девушку пульнули в космос.

Народ согнали встречать своих героев.

Меня поставили на балконе Дома обуви на Ленинском проспекте.

Толпы внизу и до горизонта тихо шумели, шевелились, трясли флажками.

Это было торжество равноправия, видимо. Как говаривал великий остряк Зиновий Паперный на языке полухинди: «Женщина и мужчина бхай-бхай!» (по аналогии с лозунгом «Индия и Россия бхай-бхай!»).

У меня перед глазами плясал мой текст. Другой рукой я крепко зажала микрофон.

В напарники мне выделили Петровича, сурового, пьющего человека из отдела спорта. Мы с ним должны были быть, наверно, как равноправная радиостатуя «Рабочий и колхозница», но мы стояли порознь и рук вверх не тянули, с какой бы стати? Однако наша парочка все-таки представляла собой символ тесного единения спортивной редакции и отдела культуры, то есть самое дикое сочетание, да еще и высунутое на высоте шестого этажа на балкон. Я от волнения ничего не могла рассмотреть на проспекте, как ни шурилась. Петрович, закаленный на футбольных репортажах, зорко глядел вдаль.

В руке его тоже трепыхался текст, но по другой причине (Петрович, видимо, с утра побоялся «поправиться»).

Вдруг по проспекту покатился нестройный отдаленный шум. Послышалось как бы «ура», как перед атакой. Точками на пустом проспекте показались машины. Петрович меня неожиданно сильно толкнул локтем.

Я начала совершенно не по тексту:

– ...Смотрите! Едут наши дорогие!!! Терешкова!!!

И тут же подавилась от умиления и заплакала.

Петрович заткнул мне рот свободной от микрофона ладонью.

Как он справился и каким образом читал текст (утвержденный руководством), который у него был в руке, которой он мне затыкал рот?..

Я потом долгое время с ним первая здоровалась в коридоре. Столько пережито было вместе там, на балконе! Но, по-моему, Петрович меня решил не узнавать.

Вообще-то в «Последние известия» было не устроиться. Мне по крайней мере.

Там работали солидные, известные люди, ветераны, чьи голоса были общенациональным сокровищем. Вадим (Славич) Синявский, любимейший спортивный комментатор страны, хрипловатый интеллигент со слегка блатной, свойской интонацией. Уважаемый до обожания кумир всех болельщиков!

У него, по легенде, пуля вышибла глаз, когда он вел репортаж из Сталинграда в момент взятия в плен Паулюса...

И там начинал молодой Николай Николаевич Озеров, Коля, который в те поры еще оставался артистом МХАТа, но, будучи чемпионом по теннису, работал дополнительно и в спортивной редакции в «Последних известиях». Он был фантастически вежливым человеком и, пробегая по коридору, всегда здоровался со мной первым! Я даже стеснялась его и тоже здоровалась издалека.

И Арди, и Ананченко, и Юра Скалов, его взяли на войну мальчишкой, и всю Европу он прошел пешком как рядовой пехоты... Ему всегда больше всех хлопали на Девятое мая, когда коллектив ненадолго собирался в большой комнате.

Народ там был самый дружный и работающий. Шесть газет «Правда» в сутки – такой объем информации требовал работы на износ.

Радио слушали в СССР повсюду – в каждой почти избушке, в прокуратуре, в военных частях и любой деревне на столбе у сельсовета, в парках, парикмахерских и поездах в каждом купе и еще по коридору трижды, в детсадах, магазинах, поликлиниках, в кабинетах руководства сверху донизу, в комнатах коммуналок...

Была одна программа на всех. «Последние известия» народ слушал, но (как это ни печально) в основном ради погоды и спортивных результатов... Остальные новости были простому, рядовому человеку напрочь бесполезны. Его жизнь не зависела от того, когда что посеяли, собрали и сколько чего и где выпустили. Все равно существование протекало помимо этой не всегда правдивой информации. Вот если бы сообщали, где дают про-

стыни, посуду или сапоги – о! Чайники, диваны, колбасу! Где выкинули в продажу одеяла, колготки, книги Ахматовой! Но нет. Ходыньское поле уstraивать власти бы не разрешили. Этого боялись больше всего...

(Кстати, недавно я услышала, в чем было дело там, на Ходынке, во время коронации Николая Второго, и почему народ повалил на это проклятое поле. Все дело было в неверно понятой новости: по городу сообщили, что в честь коронации всем будут давать по кружке с короной. А народ расслышал «с короной». И за скотиной ринулись все.)

Один интеллигентный заключенный, завлаб института «Искож» (партийная кличка в кругу друзей Майкл), посаженный в 1983 году за то, что после акта списания не уничтожил прошлогоднюю аппаратуру и предлагающиеся шурупы (да ни один хозяин не выкинет гвоздочка! Да еще при тогдашнем дефиците всего!) – ему дали семь лет строгого режима с правом писать одно письмо в месяц за присвоение народного имущества в особо крупных размерах – так вот, он после освобождения рассказывал, что у них динамик в камере находился за решеткой. То есть как бы на воле. И будил всех в шесть утра гимном. Они затыкали данную решетку тряпками. Майкл называл эту побудку «рев стада коров»...

Такое было радио, одно на всех.

Александра Владимировна Ильина заведовала культурой, самым бессмысленным, по мнению руководства, отделом в «Последних известиях». Все эти премьеры, вернисажи, концерты, фильмы и встречи с писателями, а тем более новые книги далеки были от нашего народа, который работал, растил детей, добывал пищу, разговаривал матом, а в свободное время играл в домино и варил самогонку. При этом бабы интересовались, где что дают, школами и больницами, а мужики футболом и домино. И все поголовно воровали с родных предприятий.

Не дашь же в эфир информашку о том, что плотник четвертого разряда дядя Дима Болотин припер из цеха и выкинул через забор другу оргалит, поскольку жена уже его, Диму, достала, что надо сделать полки на кухню, а забойщик мясокомбината дядя Саша Речкин обмотался свининой как обычно и вышел через проходную беспрепятственно, только прохожие глядели во все глаза: идет человек, а за ним кровавый следок капает. У соседей свадьба, Нинку выдают, тетя Валя с первого этажа принесла бутылку своего, попросила.

Я писала хрен знает что.

То есть вначале меня, как рядовую необученную, кинули было освещать работу Министерства сельского хозяйства. Как его освещать? Я отправилась в министерство этого хозяйства, нашла там какого-то немолодого сотрудника с внешностью трагического героя немого кино, тщательно причесанного на косой пробор, с черными подглазьями. В каком-то розоватом даже костюме. Щеголь такой. Он сидел у себя в кабинете, перебирал бумаги и радушно меня поначалу принял. Он заведовал чем-то научно-исследовательским. Фамилия у него была сложная, кончалась на «джи», как сейчас помню. То ли греческая? Поначалу он трагически и как-то значительно на меня смотрел. Но когда он разобрался, зачем я пришла, то начал бурно отнекиваться, протестующе выставлять ладонь, поднимал-опускал ее, как в танце, говорил, что никаких новостей нету, и так меня и отправил восвояси. Но я взяла его телефон и настойчиво ему звонила. А что было делать? Я же должна освещать работу министерства! Что оно, не работает, что ли? Потом, где-то через неделю, он обнаружил новость: изобрели такую штучку, которую опускали в кучу зерна. И если загорался красный огонек, то зерно было плохое! Ура. Я написала информашку под названием «Санитарный светофор». И ее прочли утром в воскресенье. Повторяю: радио у нас было одно на всю страну, и оно говорило везде. Моя подруга прослушала эту интересную новость, позвонила мне и спросила: «Это ты, что ли, писала?»

Больше этот «джи», как я ему ни звонила, ничего найти интересного для меня не мог и даже попрекнул меня, что ему сделали замечание за разглашение информации. (Может, это была вообще липа?)

Как раз тогда наш руководитель Хрущев выдвинул идею послать это министерство в деревню. Переселить ближе к объектам.

И министерство это, от греха подальше, держалось довольно конспиративно.

Затем, когда мой источник информации занялся переселением, меня поставили освещать работу ЦК комсомола.

Помню, я пришла в кабинет, где сидели три инструктора. У стола одной из них стоял спиной ко мне, опершись на стол и нависая над объектом, довольно полненький мужчина. Инструктор буквально делала ему выволочку:

– Вас куда посылали? Вы просили командировку в колхоз. Что вы будете писать портреты передовиков комсомола. А вы мне что принесли? Билет почему принесли такой? Ездили на берег Крыма? Я это оплачивать не буду!

Художник, склоняясь к инструктору, негромко объяснял, что это была творческая необходимость... Что возникает такая определенная тяга... Интуиция ведет...

– А что это она вас ведет вместо колхоза на море?

– Понимаете, природа поиска... – жарко и убежденно говорил художник. – Духовность... Монастыри... Святые места...

Этим он ее доконал, сдал все документы и вышел довольный.

– Новый Афон ему, видите ли, нужен, – устало сказала инструктор. – Так, что у вас?

– Я из Всесоюзного радио, пришла, нет ли каких новостей.

– Вот! Вы видели? Художник этот Илья Глазунов вместо колхоза, куда мы его посылали, поехал на море. Месяц купался. А мы должны платить. Это новость.

Что-то большого потока информации ЦК комсомола мне тоже не принес.

И тут Юра Скалов отказался от освещения работы Союза художников. Говорил, что ему надоело одно и то же. Стоял посреди нашей большой комнаты и, улыбаясь, отмахивался, что не может больше. Я помню этот момент.

(На самом деле, как мне сказал недавно радиокomentатор Макс Гинденбург, просто Юра тяжело заболел. Он все меньше мог ходить, однако и в таком состоянии работал. Потом стали отказывать руки. Он диктовал. Потом и совсем слег.)

Меня послали освещать жизнь Союза художников.

Оп-па! Я и написала вгорячах глубоко лирическую зарисовку с первой же выставки, которую посетила (мне все казалось, что надо улучшать стиль радиоинформации). Это была жуткая история.

Я начала свою информашку словами: «Тихая вода медленных северных рек...» (Остального я не помню, может быть, дальше следовало «неспешная жизнь охотников, дальние костры по ночам»), – после чего шли вполне конкретные дела: вот этому и была посвящена такая-то выставка, и кто автор, и число картин.

И вот диктор (кажется, Высоцкая), разбежавшись после потока новостей о задутых домнах и выданных на-гора тоннах угля, тем же деловым и суровым тоном быстренько начала: «Тихая вода медленных северных рек!..» – и осеклась. Это надо было иначе читать, нараспев, что ли. Бедная диктор! В какое идиотское положение я ее поставила!

Скандала не было, только редактор Нина Скалова мне приватно очень мягко сказала: «Ну ты у нас прям Паустовский какой-то». Было очень стыдно.

Кстати сказать, особо теплого отношения к себе я не чувствовала. Приволок Арди какую-то девушку, кто она? Подозрительно что-то... Пока однажды мне не велели сделать доклад на политинформации. О чем хочу. Некоторое испытание. Я и сделала подробный доклад о Пабло Пикассо. Он ходил в полузапрещенных у нас. А что? Он был же в свое время коммунист и борец за мир!

Я тогда читала польские журналы и нашла там замечательно хитроумное интервью этого удачливого и способного художника. Именно после доклада о Пикассо народ как-то принял меня. Подобрел. Почувствовал, что человек не опасается за свою шкуру, говорит свободно что хочет.

Я трудолюбиво ходила на выставки, в мастерские художников. Посещала и запрещенных лианозовцев, и Васю Ситникова, и одного разудалого подпольщика скульптора. Они принимали меня охотно: а вдруг? Вдруг повезет и будет сказано о них доброе слово по радио? Но чудес не было. Скульптор, правда, больше всего одобрил мой магнитофон и даже что-то намекал, что неплохо было бы мне приходить и записать книгу его воспоминаний. Но мне не понравились его работы и разговоры о том, что он живет с девочками-близнецами, и я больше его не навещала.

Самое жуткое началось в 1962 году, в сентябре. Прошла дискуссия «Традиции и новаторство», на которой (за кулисами) я взяла интервью у Льва Копелева. Практически зрители в Доме актера устроили обструкцию выступившему режиссеру Сергею Юткевичу (его назвали Иудкевичем). Все были в эйфории: оттепель! Открылась знаменитая выставка в Манеже, и вот на нее провокаторы из Академии художеств специально пригласили «левых», и там была выставлена в том числе знаменитая «Обнаженная» Фалька, великого художника.

Но на этом вся оттепель и кончилась. Дело в том, что художники Московского отделения союза перед тем написали «наверх» письмо об Академии художеств. Дескать, жрет много средств, и у других союзов нет никакой академии, а художники в Академии плохие. Что было чистой правдой.

Академия в лице художника В.А. Серова, специалиста по ленинской тематике, пошла в наступление. (У художников была даже песенка на мотив «Когда страна будет прикажет героем»: «Когда страна будет прикажет серовым, у нас серовым становится любой».)

Серов пригласил Хрущева и весь его кагал на выставку «левых». Показали и «Обнаженную» Фалька. Потом ходил анекдот, что на вопрос Хруща: «Эт-то шо?!» последовал ответ, и Хрущ переспросил: «Какая еще обнаженная Валька?»

Короче, власть, увидевши левое искусство, была в справедливой ярости, что и требовалось. Академию оставили. Серова избрали ее президентом. И в каком состоянии она была, в таком и пребывает. Как-то недавно за столом веселая молодежь даже предложила переименовать Москву в «Цереград».

Я брала у этого Владимира гада Серова интервью после избрания его президентом. Я колдовала над пленкой долго. Монтировала. Я все его оговорки, все неграмотности оставила. Все его убогие мыслишки взалел, его нешуточное торжество. Пену у рта.

Без единого слова интервью приняли. Никто не заметил моей хитрости. Даже Ильина (я за ней следила). И страна, выслушав, не содрогнулась. Тогда все руководящие на любом уровне так коряво, косорыло выражались.

(И сейчас тоже. Посмеивались над Черномырдиным, он стал даже героем типа Чапаева. Как-то наш умный народец любит тех, кто кривее и дурее. Опомнились, а он уже миллиардер!)

Оттепель (1962) на этом окончательно завершилась обledenением. На ближайшие двадцать три года.

То есть у нас любые попытки улучшения ведут к ухудшению.

Народу-то было в редакции немного. Спортивный отдел (великие комментаторы Вадим Синявский, Ник. Ник. Озеров), международники (известен был Валентин Зорин, все время яростно выводивший на чистую воду американский образ жизни), а также отдел промышленности с с/хозяйством, это был самый большой и самый анонимный новостной блок (то там задули донну, то сям сев закончили, что-то ввели в строй, перевыполнили, заткнули некий «проран», что-то прорубили, произвели стыковку, залили, ввели, вывели, разрезали ленточку).

Кстати, о радиоязыке. Любимый глагол был «пустить» с разными приставками: запустили, выпустили, спустили со стапелей и пустили в ход. Международники использовали более ядреные формы, например, «распустить» (в смысле парламент), «испустить» (идея испустила дух), «допустить» (непарламентские выражения), и даже «напустить» кого-то на кого-то, и даже имелось словцо «науськивание». Они все время язвили по поводу «военщины», «припешников», «пособников», «подручных» и «марионеток». Им было можно.

Ну и мы были, отдел культуры. У нас язык был самый скромный, никаких красивых и посторонних слов и никаких терминов, народ не поймет. Если выставка – то цифры сколько и тематика о чем, не более того. И наши «сюськи» (информашки) чаще всего летели в корзину.

А гораздо выше находились комментаторы, небожители.

Они до нас практически не снисходили.

Среди них был и упомянутый выше комментатор Макс Гинденбург. Мы с ним здоровались, но особой дружбы не возникало – солидный, ответственный работник и какая-то начинающая девчонка, у которой все как-то не ладится. Вечно я не так пишу... Вечно мои репортажи не пускают в эфир, и я так и говорила обычно, возвращаясь от дежурного по дню: «Меня опять забодали». Десять часов работы насмарку. И ходила плакать в комнату, где грохотали телетайпы...

Потом я ушла в журнал. Меня в «Последних известиях» поняли. Меня напутствовали добрыми словами. Мне Паша Майзлин напророчил быть писателем, ни много ни мало, сказав: «У нас один уже был член Союза писателей, Василий Ардаматский».

Прошло много лет, и вдруг несколько лет назад звонок:

– Люся, это Макс Гинденбург. Как ты?

– Ничего, а ты? – на правах старого товарища отвечала я.

– Понимаешь, я написал тут рассказ...

Шли годы, он писал, я читала. Потом нашлось издательство, которое собралось выпустить целую книгу Максовых рассказов. Мы вступили в переговоры с редактором. Она попросила предисловие. Я его представила. Но издательство лопнуло.

Он писал, очень болел, но перевозмогал себя и работал. По натуре Макс спокойный оптимист. Он был другом разных людей, в том числе главного редактора «Огонька» Анатолия Софронова – всю его жизнь. Софронов, одиозная фигура, этот известнейший антисемит и ретроград, самый большой враг прогресса, оказывается, был добрым и щедрым человеком для своих старых товарищей да и для сотрудников. Я теперь уговариваю Макса написать подробные мемуары.

Тексты Макса самые простые, и все в них правда. Ну не врет человек, не та порода.

И теперь я решила представить на суд публики моего коллегу, Макса Ефремовича Гинденбурга, фронтовика, писателя, журналиста из наших родных «Последних известий» Всесоюзного радио.

Как предполагалось, с предисловием (вы его сейчас прочли, но оно за ненадобностью с годами выросло, так уж я его и печатаю) и – теперь – с самой сутью: с рассказами Максика.

Не судите нас строго: Макс 92 года. Он молодой автор.

Он моя находка.

Макс ГИНДЕНБУРГ

Рассказы

ЭЛЬЗА

Время не затуманило в моей памяти образ этой девушки, с которой довелось встретиться много лет назад, на исходе второй мировой войны. Знакомство наше было недолгим. Не знаю, как впоследствии сложилась ее жизнь. Не знаю, жива ли она сейчас. Если жива, то, конечно, уже старушка. Но так или иначе, убежден, что ей навсегда запомнились те дни в поверженном, опустошенном Кенигсберге.

Ее историю мне не раз случалось рассказывать в кругу фронтовых товарищей, на наших ветеранских встречах. Так было и в последний раз. Сама встреча к этому располагала. Вспомнилось все досконально – и гулкие залпы нашей артиллерии, громившей форты Восточной Пруссии, и первые красные флаги, поднятые над дымящимися руинами Кенигсберга, и сама Эльза, первая немецкая девчонка, близко увиденная во вражьем городе. Но о ней я не стал поначалу говорить, потому что рядом сидел Петр Сергеевич Коротков, наш кадровик и бывший смершевец, и я заведомо знал, что эта история не придется ему по душе.

Петр Сергеевич выделялся среди нас сохранившейся военной выправкой, необъяснимо сочетавшейся с солидным брюшком и старчески опущенными плечами, выделялся начальственной важностью, а больше всего – непререкаемостью суждений. На праздники он приходил, как водится, при всех своих орденах и медалях, завесив ими грудь от подбородка до пояса. Эти регалии, начищенные до самоварного блеска, уже сами по себе придавали его облику какую-то особую значительность, но не такую, что располагает к себе, а скорее, наоборот, настораживает. Больно уж много наград. За что?

По складу ли характера, а вероятнее всего, по служебным своим навыкам Петр Сергеевич был человеком недоверчивым, подозрительным, всегда готовым стать кому-нибудь судьей. Жизненное кредо его, опять-таки усвоенное из служебного опыта, было предельно просто: в каждом человеке непременно есть какая-нибудь червоточинка, следовательно, каждый может по слабости своей стать орудием врага. А посему бдительность – не лозунг, а руководство к действию, чтобы всякого мерзавца за ушко да на солнышко.

– А как распознать, мерзавец ли, по каким приметам? – спросил я однажды у Короткова.

– Это уж дело твоего разума и политического чутья, – ответил он, не задумываясь, и осуждающе посмотрел на меня.

Так уместно ли было на нашем празднике в присутствии этого человека затевать разговор о судьбе Эльзы, девицы немецкого роду-племени, да еще, упаси Бог, выказать к ней сочувствие и понимание? Мы сидели в уютной столовке подмосковного санатория, сдвинув вместе два стола, вспоминали былые времена, кто где воевал, а заодно неторопливо потягивали баварское пиво из красивых жестяных баночек и с удовольствием закусывали вяленой астраханской воблой, на удачу оказавшейся в санаторном буфете.

– А когда-то, – сказал я почти ностальгически, – в Восточной Пруссии мы пили пиво не из таких жестянок. В городе Растенбурге, где, между прочим, в начале войны находилась Ставка Гитлера, уцелел, несмотря на все бомбежки, пивоваренный завод. Так там мы зачерпывали добрый немец-

кий портер котелками или ведрами прямо из чана. И закусывали не воблой, а копченым угрем.

– И заголяли немецких девочек за банку тушенки! – подхватил с недоброй усмешкой Петр Сергеевич. – Ну и продажные твари были эти фройлины!

– Не скажи, – возразил я, – всякие были.

– А много ли ты порядочных видел? – хмыкнул Петр Сергеевич. – Приведи хоть один пример, назови.

– Пожалуйста, Эльза! – выпалил я вдруг с горячностью.

Память мгновенно перенесла меня в то далекое время, в еще не остывший от боев Кенигсберг. И я как бы вновь увидел хрупкую, почти восковую фигурку немецкой девочки-подростка, которая рано утром подошла на своих тоненьких спичечных ножках к солдату-автоматчику возле нашего штаба. Глаза у нее были на пол-лица, широко раскрытые, полные страха. Она подошла к солдату почти вплотную и еле слышно прошептала: «Эссен!» (Есть!)

– Зетцен! – резко скомандовал солдат и показал стволом автомата на еще мокрую от росы скамейку. – Зетцен, вартен! (Сидеть, ждать!)

И девушка послушно побрела к скамье. А солдат, как только сменился, побежал в казарму и вынес оттуда свой тощий сидор.

– Давай, давай, эссай! – сказал солдат, вынув из мешка банку тушенки. – Давай, рубай! – Но, спохватившись, извлек из кармана трофейный складной нож и вскрыл им банку. – Только не ешь сразу много, а то помрешь, – добавил солдат и подкрепил свои слова для понятности замысловатым жестом. Потом опять порывлся в мешке, достал две пачки махорки и тут же засунул их обратно со словами: – Это тебе не надо!.. А вот это подойдет! – обрадовался солдат, когда выскреб из глубин своего сидора горсть грязноватых кубиков сахара и несколько влажных, слипшихся карамелек. – Это сгодится!

Так и стала наша новая знакомая приходиться каждый день к штабу за своим, как шутили солдаты, «допайком». Этот провиант она получала неукоснительно из рук каждого, кто был на дежурстве.

К тому времени мы уже знали, естественно, что зовут эту немецкую девочку Эльза. Знали, что ее мать была в свое время известной венгерской певицей, а отец – не то бургомистром, не то заместителем бургомистра в Кенигсберге.

Штаб нашей дивизии располагался тогда в самом центре города, в одном из чудом уцелевших зданий. Кругом лежали развалины – сплошные груды битого кирпича, оплывшее в пламени пожаров стекло и скрюченные огнем, завитые причудливо в спираль металлические балки. А поодаль, на изрытом пулями и осколками снарядами постаменте, задумчиво возвышался памятник философу-идеалисту Иммануилу Канту.

После взятия нашими войсками Кенигсберга кто-то умудрился высечь на мраморе надпись, обращенную к знаменитому философу: «Теперь ты видишь, что мир материален? Лейтенант Иванов». Фотоснимки этой дерзкой надписи обошли в те дни многие наши газеты и журналы. И еще не раз потом, проходя мимо, мы перечитывали столь неожиданный экспромт и восхищались находчивостью незнакомого лейтенанта.

А вот прикормленная нами Эльза, когда ей перевели надпись на немецкий, сохранила каменное выражение лица, сжала в ниточку бледные губы и ничего не сказала. То ли не поняла, то ли оскорбилась. И тем не менее она сама же принесла вскоре еще одно подтверждение материальности нашего мира. Американская тушенка и русская гречневая каша в концентратах быстро сделали свое дело – возвратили Эльзе силы и здоровье. Она прихорошилась. Ее вылинявшее платянце в горошек, перехваченное в талии тонким ремешком, подчеркивало уже не худобу подростка, а признаки девичьей стати. На шее появилась ниточка янтарных бус –

нехитрое украшение прибалтийских барышень. И не так уж много времени понадобилось Эльзе, чтобы после робкой просьбы «эссен» уже почти требовательно произнести другое немецкое слово: «арбайтен». С ним она обратилась к нашему коменданту. И когда уловила в его глазах сомнение, повторила еще более настойчиво: «Я-я, арбайтен». Она просила дать ей работу. Она не хотела жить на подающих. И ей пошли навстречу – поручили подметать полы, убирать туалеты, мыть оконные стекла.

Тем временем переводчик из седьмого отдела, лейтенант Мигунов, выведал у Эльзы некоторые подробности ее жизни. Он узнал, что во время штурма Кенигсберга Эльза с матерью прятались в подвале, а отец во главе ополчения ушел на боевые позиции. И случилось так, что именно в те дни обе они, мать и дочь, заболели тифом. Ухаживать за ними стала старушка-соседка. Но через несколько дней она сама заболела и умерла первой. Затем, не приходя в сознание, умерла мать. А вот Эльза выжила и продержалась после болезни целый месяц. Она, наверное, так бы и таилась, как мышь в норе, страшась встречи с русскими, но не давал покоя голод. И, осилив страх, она, наконец, поднялась с лохмотьев, заменявших ей постель, и нетвердой походкой, спотыкаясь о камни, выбралась из-под обломков наружу. И чуть не потеряла сознание, когда увидела над разрушенным городом яркое голубое небо и буйное цветение сирени.

В облике этой молчаливой худенькой девушки было что-то настораживающее. Ей удавалось одновременно и располагать к себе людей, и вместе с тем сохранять дистанцию, не подпускать к себе близко. Не припомню случая, чтобы кто-нибудь из нашей братии попытался приволокнуться за ней. Удерживали не столько административные запреты, сколько ее манера держаться – холодок во взгляде, замкнутость. Да и как еще могла вести себя осиротевшая дочь прусского градоначальника, когда жизнь поставила ее перед необходимостью каждый день вооружаться шваброй, бутылью с карболкой и мыть вонючие клозеты у русских. Впрочем, она сторонилась и немногих своих соотечественниц, которые тоже были допущены к хозяйственным работам на территории штаба. А те, в свою очередь, не искали общения с нею – диковатой, неулыбчивой девицей, дочкой бывшего гитлеровского управителя.

Но, как бы то ни было, Эльза все-таки прижилась в нашем штабе. Поначалу, приходя утром в комендатуру, она чинно произносила: «Гутен таг». Потом переняла наше русское, словно бы на ходу брошенное: «Привет!» А иногда с ребячьей отвагой выкрикивала даже целую тираду: «Здраст, товаришь лойтнант». Это в тех случаях, когда хотела кому-то выказать свое особое отношение.

Так и шла сперва ее жизнь – без тревог и потрясений. Настал, однако, день, когда небо над Эльзой снова нахмурилось. Причиной тому стала фрау Ольга, единственная в то время русская офицерская жена, приехавшая из Москвы по особому разрешению. Ее муж, капитан Грузд, был политработником с повадками интенданта. Хитроумная операция по отправке в Москву трех «Студебеккеров» с трофейным добром начальства обеспечила ему немалые привилегии. Одной из них как раз и явился пропуск для Ольги, выданный вне общих правил.

К приходу поезда капитан явился на перрон в сопровождении целой свиты друзей. И каждый держал в руке букет сирени. Это, понятно, растрогало Ольгу. Но она тут же не преминула поддеть мужа шутивным вопросом: «Почему одни мужики? А где твои бабы?» Благо, один из приятелей быстро нашелся: «Зачем же ему другие бабы? Тут, аккурат, два сапога – пара».

Через неделю Ольга была уже знакома с большинством гарнизонных женщин – с полногрудыми штабными адъютантками, близкими к высокому начальству, с телефонистками, радистками, медсестрами и, конечно же, со всеми сержантами и старшинами в юбках, которые имели хоть какое-то отношение к вещевым или продовольственным складам.

Приметила Ольга и Эльзу, немецкую замарашку, которая неведомо где жила и все таскалась со шваброй по штабным помещениям. «Почему бы эту девочку не заполучить себе в прислуги? – подумала она. – У немочки можно будет заодно и языку поучиться, и просветиться насчет местных нравов». А тут еще прошел слух, что Эльза любит музыку, частенько играет на рояле в красном уголке. Ольга и это приняла в расчет. Худо ли, если у нее появится собственный учитель музыки, а может быть, и домашний концертмейстер?

Одним словом, благосклонными улыбками, жестами сочувствия и вкусными пирогами собственной выпечки Ольга сманила к себе Эльзу. И засверкала ее квартира белизной свежeweымытой кухни, блеском отполированных оконных стекол и начищенных дверных ручек. И слышались в доме не только звуки фортепиано, но и пение Эльзы. Она пела негромко, но проникновенно, унаследовав, видимо, артистичность матери.

Я не часто бывал в доме капитана Грузда. Но, когда случалось зайти, слышал игру Эльзы, видел, как легко бегают по клавишам ее быстрые тонкие пальцы. И дивился богатству ее музыкальных познаний. Моцарт, Григ, Чайковский, популярные немецкие песенки и плясовые мелодии с присутствующими им маршевыми ритмами, наконец, наша советская «Катюша» – все было в ее музыкальной памяти. И едва ли не весь этот репертуар, включая еще и вальсы, танго, кадрили, пришлось ей выложить разом в один вечер на шумном пиру, устроенном в честь тридцатилетия Ольги.

Нетрудно представить, сколько дел и хлопот навалилось в тот день на Эльзу. С утра, прихватив с собой сумки, она побежала с запиской капитана на продовольственный склад за ветчиной и копчеными языками. Вернувшись, провела полдня на кухне – чистила картошку и овощи, готовила салаты, месила тесто. Все это, разумеется, под руководством фрау Ольги. Потом они в четыре руки лепили пельмени. И еще до того, как начали собираться гости, успели изысканно сервировать стол, выставив на обозрение хрусталь и фарфор из лучших трофейных коллекций капитана Грузда.

Пир был не очень многолюдным, но шумным. В душе каждого еще жило ощущение только что оконченной войны, поэтому первые тосты были за победу и в память о товарищах, не доживших до нее. А потом, естественно, начали славить виновницу торжества, провозгласили здравицу в честь хозяйки дома и ее супруга, воздали должное кулинарным способностям Ольги, ее обаянию и хорошему, тонкому вкусу. При этих словах Ольга, наряженная в легкое и свободное ярко-голубое платье с пышными кружевами на груди, приосанилась. Ни она сама, ни кто-нибудь другой, кроме Эльзы, еще не знали и не догадывались, что из вороха трофейных дамских одежек, неоднократно примеренных накануне, Ольга выбрала, наконец, не платье, а нарядную свадебную ночную рубашку. Безуспешно пыталась тогда Эльза ее остановить, протестуяще размахивая руками и говоря: «Найн, найн». Ольга либо не поняла, либо не захотела понять.

Но всю эту историю злые языки разнесли позже. А там, на пиру, я только заметил, что Эльза как-то странно поглядывает на свою хозяйку – не то с состраданием, не то с укором и усмешкой. Впрочем, эти нелепые сцены я мог наблюдать лишь считанные минуты. На протяжении всего ужина Эльза только и знала, что подносила гостям вино и водку, добавляла закуски, меняла посуду.

Настал, однако, час, когда гости задвигали стульями и приткнули стол к стене, чтобы высвободить место для танцев. В комнате стало душно. И Ольга знаком руки распорядилась, чтобы Эльза влезла на подоконник и пошире открыла фрамугу. Эльза сделала это легко, даже игриво. Но в какой-то момент луч заходящего солнца просветил ее легкую юбочку и как бы обнажил стройные ноги девушки.

– Вот это кла-асс! – пропел вдруг дурным голосом младший лейтенант Вишняков, слывший в автороте первым сердцеедом.

Вообще-то он был добрым малым и даже деликатным, обходительным с девушками. Но избыток трофейного шнапса явно не пошел ему впрок. Он вытаращил на Эльзу пьяные водянистые глаза и повторил: «Вот это кла-асс! Сейчас мы тебя, фройляйн, того...» – И, схватив девушку за бедра, потащил ее с подоконника на себя. Эльза сделала резкое оборонительное движение. И в тот же миг Вишняков получил оплеуху от Ольги.

– Иди спать, дурак! – скомандовала Ольга. – А ты, – обратилась она к Эльзе уже помягчевшим, сочувственным голосом, – ты давай шпилен, давай мюзик.

Эльзастояла побелевшая, кусала губы и упрямо мотала головой: «Найн, найн, их нихт» (нет, нет, я не могу). Но тут вмешался капитан Грузд. Степенно огладив свою рыжеватую бородку, он на ломаном немецком языке стал объяснять Эльзе, что она находится на службе и должна помнить о своих обязанностях. Все, что она имеет, – кров, постель, еду, одежду, – все это надо отработать. Разве с нею плохо обращаются здесь? Разве ее в чем-то ущемляют?! Неужели у фройляйн неблагодарное сердце? Как могла она забыть, что русские солдаты спасли ей жизнь? Или она не знает, что он, капитан Грузд, принял личное участие в ее судьбе – сначала упросил коменданта дать ей работу, а потом забрал ее в свой дом? Пусть оглянется: посчастливилось ли еще кому-нибудь из ее соотечественниц попасть в такие благоприятные условия?

Эльза слушала молча, опустив голову, не глядя на своего благодетеля. Она так ничего и не сказала в ответ. Только придвинула стульчик с круглым вращающимся сиденьем и открыла крышку фортепиано. И сразу же грянула мазурка. Ольга, обрадовано замахав руками, стала не в лад музыка то ли напевать, то ли декламировать допотопный куплетик: «Кавалеры приглашают дам, шаг вперед, два назад»...

С этой минуты Эльзу уже невозможно было остановить. Она играла непрерывно, исполняя какое-то нескончаемое попурри, музыкальный коктейль, в котором перемешалось великое множество мотивов – и баварские песенки, и тирольские напевы, и страстный венгерский чардаш, и певучие украинские и польские мелодии. Похоже было, что эта немецкая девушка и впрямь решила отработать свой кров и хлеб.

Гости устали, уже почти никто не танцевал. Но музыку продолжали слушать. И тут из соседней комнаты вновь появился младший лейтенант Вишняков. Физиономия у него была заспанная, держался он по-прежнему развязно, дурашливо, как бы желая показать, что в этом доме ему можно все. И действительно, он был постоянно вхож в этот дом. И капитан Грузд ему многое позволял, даже некоторое панибратство. По-видимому, их связывали какие-то общие дела. Однако на сей раз капитан решил проявить строгость и указал Вишнякову на дверь.

Но что может быть отрадней чувства независимости? Парень с пьяным упрямством направился к Эльзе. Он подошел к ней сзади, схватил за плечи, грубо засунул свои ручки к ней под блузку и стал там шарить. Эльза начала вырываться, лицо ее исказила злоба. Все бросились к ней на выручку, но помощь наша не понадобилась – Вишняков сам вдруг отпустил девушку. И, глупо ухмыляясь, объявил: «Никаких титек не наблюдается!» С этими словами он повалился на диван.

А Эльза, тяжело дыша, вернулась к фортепиано. Она обвела всех ненавидящим взглядом и, уже не садясь, а стоя, с силой ударила по клавишам. И с первых же аккордов мы узнали мотив, не раз доносившийся до нас через линию фронта из немецких динамиков. Высоко вскинув голову, с откровенным вызовом, Эльза исполнила гитлеровский марш «Хорст Вессель». Она играла бешено, неистово и доиграла до конца, до последней ноты. Потом опустила крышку и спокойно, при полном нашем молчании, ушла, не затворив за собой дверь. И неслышно растворилась в темноте наступившего вечера...

– Вы ее не пристрелили? – озабоченно спросил Петр Сергеевич, когда я окончил свой рассказ. – Дали этой фашистке уйти?

– Не пристрелили, – ответил я, – никому это и на ум не пришло.

– Понятно, – сказал Петр Сергеевич тоном следователя, которому еще во многом надо разобраться. – Вот из-за таких добрячков и страдает Россия. Чужих фашистов жалеем, а потом кричим про русский фашизм. Где вы его видели?!

ДВОСЯ

Моя дружба с Двосей завязалась, можно сказать, при криминальных обстоятельствах. Было это очень давно, еще в начале 20-х годов прошлого столетия, когда я жил в еврейском местечке Озаричи, в Белоруссии, у своей бабушки, вдовы местечкового раввина. После смерти деда бабушка обзавелась лавчонкой, торговала мелкой домашней утварью. И однажды среди прочих товаров ей доставили из Бобруйска ящик необыкновенных спичек: чиркнешь такую – и она вспыхивает со страшным треском, будто выстрелило ружье. Ну, сами понимаете, как это разбередило мое мальчишеское воображение. Тем более что стрельба сопутствовала мне едва ли не с пеленок. Ведь на моей памяти были уже и первая мировая война, разбросавшая евреев-беженцев по всей России, и гражданская война в донских степях, куда ненароком занесло нашу семью, и, наконец, бандитские стычки в белорусских лесах уже в то время, когда мы с мамой вернулись к бабушке, в Озаричи, спасаясь от голода в России. Короче говоря, воинственный дух еще не выветрился из моей души, желание завладеть «стреляющими» спичками было неодолимо, и я поддался греховному искушению – выкрал из бабушкиного сундука заветный коробок. А как только стал его обладателем, сразу же побежал на улицу и покричал через забор соседской девочке Двосе, чтобы скорее пришла, есть дело.

Не знаю почему, но меня всегда радовали встречи с Двосей – круглолицей улыбчивой девочкой с мелкими веснушками на носу и постоянным выражением любопытства в карих живых глазках. В общем, я покричал через забор, Двося не заставила себя ждать, и мы тотчас же укрылись тайком в кладовке и начали жечь эти чудо-спички одну за другой.

Выстрелы получались громкие, как у охотников в лесу. А нам хотелось еще громче, и мы стали прибавлять, чиркали уже сразу двумя спичками, потом тремя, и кончилось это бедой. От искры на Двосе вдруг загорелся передничек. Она испуганно закричала и, беспомощно размахивая руками, завертелась, будто огненный волчок. Я быстро сорвал с нее пылающую одежду и затоптал пламя. Когда на наши крики прибежали мама и бабушка, в кладовке уже не было огня, стоял только густой синий дым. И обошлось все почти благополучно, если не считать ярко-красного кровавого ожога на Двосином подбородке, ее опаленных бровей и нескольких волдырей на моих пальцах.

– Хорошенькое дело! – сказала бабушка, обмазывая наши ожоги гусиным жиром. – Еще не хватает, чтобы в Озаричах пошли разговоры о пожаре в моем доме.

Не скрою, что при этих словах я посмотрел на бабушку не самым добрым взглядом. Опять эта вечная песня: «Что скажут люди?.. Что могут о нас подумать?..» Но на этот раз бабушкины страхи оказались не напрасными. Едва только отвели Двосю домой, как наша прихожая оказалась полна людей. Почему-то всем сразу и именно в этот час понадобилось что-то купить в бабушкиной лавке. Пришла, конечно, и мадам Фусман, самая толстая и самая словоохотливая женщина во всем местечке, жившая напротив нас через улицу. Еще не отдышавшись, она с порога заговорила резким высоким голосом, чтобы все услышали и поняли причину ее визита:

– Подумать только, ни одной спички в доме не осталось, ну прямо-таки ни одной, совсем ни одной спички! – Последние слова мадам Фусман повторила несколько раз, продолжая при этом всей своей массой и тяжелыми круглыми локтями пробиваться к бабушкиному прилавку.

– Как это, ни одной спички? – встrepенулась бабушка. – Вы же два дня назад взяли целую упаковку, десять коробок!

– Ну и что? – флегматично возразила мадам Фусман. – Если в вашем доме спички хорошо горят, то чем наш дом хуже? У нас, слава Богу, не один ребенок, а четверо.

– Так это же замечательно! – обрадовалась бабушка. – Значит, вы имеете шанс сгореть раньше нас!

Все в прихожей рассмеялись, а мадам Фусман, поджав губы, замолчала. Но ненадолго.

– Бедная Двоя, бедная девочка, – плаксиво запричитала толстуха. – Это же надо – погубить огнем такое красивое личико! Ведь шрамы от ожогов остаются на всю жизнь. А мужчинам нужны только красавицы, не иначе. Кто же на бедняжках женится? – И, помолчав, веско добавила, бросив уничтожающий взгляд в мою сторону: – Если произойдет чудо, и ты вырастешь порядочным человеком, то жениться на Двояе должен только ты, и никто другой.

При этих словах мама крепко схватила меня за рукав и утащила на кухню. А там, ни слова не говоря, влепила такую пощечину, что даже сама испугалась.

– О, Господи! – запричитала она. – Покарай лучше меня, чем этого балбеса, ему все равно ничто не пойдет впрок. Умоляю, Господи, вразуми его, а я испугалась его вину, клянусь!

Что мне оставалось делать в столь драматичных обстоятельствах? Я стоял смиренно, тайком поглаживая пылающую от оплеухи щеку, и с тревогой думал о Двояе: что с ней теперь будет, правда ли, что у нее на всю жизнь останутся следы от ожогов? Мамины заклинания меня ничуть не трогали. Но в какой-то момент, заметив, как она картинно возносит руки к воображаемым небесам, я хихикнул. И в тот же миг получил еще одну затрещину. Тут уж мама дала себе волю, не забыв, правда, при этом поплотнее прикрыть кухонную дверь. Она разразилась таким каскадом ругательств, каких я еще ни разу от нее не слышал.

Вообще-то, надо сказать, неистребимая местечковая манера выражать гнев посредством брани и проклятий не была чужда моей маме. Этим оружием она владела сполна. Но одно дело – проклинать постороннего, а другое – собственного сына. Суеверный страх за любимое чадо (а вдруг случится?) придавал ее ругательствам поразительную изощренность. Даже в минуты самой дикой ярости она не забывала обезвреживать свои проклятья, добавляя к каждому из них элемент отрицания, частицу «не». И получалось очень забавно.

– Чтоб ты НЕ погиб от собственной глупости! – выкрикивала мама в гнев. – Чтоб ты НЕ окошел от болячек!.. Чтоб твоя могила НЕ заросла бурьяном!.. Чтоб ты НЕ мучился в аду!..

Вот таким образом мама утоляла жажду мести, а я оставался цел и невредим. Точно так же произошло и на этот раз.

На следующий день Двояе отвезли на подводе в ближайший город Мозыр. Там она пробыла, наверное, не больше месяца, но мне это время показалось вечностью. А когда она вернулась... Эх, жалко, вы этого не видели! Вдруг в дверях задрезбезджал колокольчик. Бегу, открываю и вижу Двояе. Наступила уже зима, на Двояе была шубка с заячьим воротничком. А из-под него почти до самого подбородка виднелась марлевая повязка. Но личико у моей подружки было чистое, румяное от морозца и очень веселое. Рядом, держа Двояе за руку, стояла ее мама и тоже улыбалась.

– Здравствуй! – сказала она чуть насмешливо. – Мы приехали, принимай свою невесту.

Уже одного этого мне было достаточно, чтобы счастливо обладать. А тут еще Двоя, продолжая радостно улыбаться, вдруг обняла меня и чмокнула в щеку. От этого я совсем потерял дар речи. К счастью, вовремя подошли из кухни мама и бабушка.

– Ой, кого мы видим! – заговорили они наперебой. – Заходите, заходите, что же вы стоите на пороге?!

Гости вошли, и тут же в прихожей я получил второй поцелуй, на этот раз от Двосиной мамы.

Когда заходит речь о сходстве людей в семье, то обычно имеется в виду, какие черты унаследовали дети от родителей. Мне же показалось, наоборот, что тетя Ида очень похожа на Двоя. У нее были такое же приветливое лицо, такая же простодушная доверчивая улыбка и такой же вопрошающий взгляд с искорками любопытства в карих глазах. И, главное, Двосина мама была единственным человеком в местечке, кто после несчастного пожара не сказал мне ни единого бранного слова. Даже в ту страшную минуту, когда она увидела обожженное лицо своей дочки.

Говорят, беда сближает людей. Так получилось и у меня с Двосей. После пожара мы стали просто неразлучны. И в школу начали ходить вместе. А по дороге к нам присоединился мой наипервейший друг Нохим Гольдин.

– Ур-ра! Три мушкетера идут! – театрально воскликнул однажды наш школьный острослов Левка Лурье, заметив нас втроем у крыльца.

– Девочка не может быть мушкетером, – назидательно возразил Нохим. – Начитался книжек, а не впрок.

– Пожалуй, ты прав, – неожиданно легко согласился Левка. – Но раз ты все знаешь, то скажи: могут ли быть у девочки сразу два кавалера?

– Они не кавалеры, а друзья! – отпарировала вместо Нохима Двоя. – И не приставай к нам, я с тобой все равно дружить не стану. Можешь не тарашить на меня свои рыбки глаза!

Никогда еще я не видел Двоя такой рассерженной. При ее словах Левка густо покраснел, и мне даже стало его жалко. А Нохим, тоже заметно смущенный, явно обрадовался, когда кто-то его окликнул. Однако позже, на первой же перемене, он почему-то сам вернулся к этой сцене, но уже с другого конца.

– А как ты думаешь, – спросил он, пытливо заглянув мне в глаза, – что сильнее – любовь к девочке или мужская дружба?

– Наверное, сильнее то, что сильнее, – ответил я дипломатично, еще не понимая, куда он клонит.

– Вот я и спрашиваю: что сильнее? – настаивал Нохим.

– А ты как думаешь?

– Я думаю, что с Двосей должен остаться кто-то один из нас. Не станем же мы ссориться из-за девчонки.

– Ссориться, конечно, не надо, – сказал я раздумчиво, поняв, наконец, что беспокоит Нохима. – Но кто же, по-твоему, должен с нею остаться?

Нохим засопел, набылчился.

– Не оставаться, а уступить, – пояснил он. – Я знаю, ты раньше начал с нею дружить. Но еще неизвестно, кто больше ее любит. И потом, ты же все равно скоро уедешь с мамой обратно в свой Ростов, к отцу и сестрам, говорят, что голод в России уже кончился.

– При чем тут это? – возразил я, озадаченный не столько признанием Нохима, сколько ходом его мыслей. – Если ты тоже любишь Двоя, давай спросим у нее, кого она выберет?

– Только не это, – запротестовал Нохим, – она ничего не должна знать.

После этого разговора Нохим перестал встречать нас по дороге в школу. И, как только Левка заметил меня и Двоя вдвоем, без Нохима, он не преминул съехидничать:

– А где же второй мушкетер? Погиб на дуэли?

Но этот вопрос как бы растаял в воздухе. И Левка не стал к нам больше цепляться.

Сейчас, вспоминая эти давние Левкины выходы, я не могу уверенно сказать, что подогревало его интерес ко мне и Двосе – ревность ли, зависть или просто недоумение, дескать, что это они всегда и всюду ходят вместе? При каждой встрече хватаются за руки, обнимаются и, оглядываясь по сторонам, целуются. И бабушкину кладовку облюбовали для этой цели. Нередко Двося сама меня туда зазывала. И после каждого такого уединения я все отчетливей угадывал, что к моему мальчишескому дружескому чувству примешивается еще какое-то, незнакомое и тревожное. Часто Двося виделась мне во сне. И каждый раз почему-то в голубой блузочке с большим вырезом, за которым угадывалась легкая припухлость зарождающейся груди. И мне очень хотелось прикоснуться к ней, бережно погладить.

Вот так и шли день за днем. Казалось, ничто никогда нас не разлучит. А разлука уже была на пороге. Пророчества Нохима насчет того, что я скоро уеду в «свой Ростов», неожиданно быстро сбылись. Едва начались летние каникулы, как пришло письмо из Ростова. Отец и сестры звали нас домой. Отец при этом живописно обрисовал все виды снеди, появившейся на базарных прилавках, и привел даже цены.

– Пора возвращаться, сыночек, – сказала, наконец, мама, перечитав письмо несколько раз подряд. И почему-то заплакала.

И я тоже разревелся. Но у меня была своя причина – я не хотел расставаться с Двосей.

В день нашего отъезда, когда к бабушкиному дому подкатила телега и мы начали укладывать в нее свои пожитки, проводить нас пришло едва ли не полместечка. Явились и все мальчишки из моего класса. Мы по-мужски коротко обнялись и похлопали друг друга по плечам. А Двосе я чинно протянул руку, стараясь при этом незаметно для других покрепче стиснуть ее пальцы. Но Двося глядела куда-то мимо меня, и, хотя был жаркий летний день, рука у нее оказалась холодной и пальцы дрожали. Когда кучер прикрикнул: «По коням!», я даже обрадовался и поспешил забраться на телегу. Но, как только наша колымага отъехала от бабушкиного дома и повернула на тракт, мне стало невмоготу. Понимая, что так поступать нельзя, я все-таки соскочил с телеги, бросился бегом к Двосе и при всем честном народе крепко поцеловал ее.

– Нет, вы только посмотрите, что делает этот байстрюк! – слышался из толпы визгливый женский голос. – Ну совсем стыд потерял, форменный гой!

Но меня эти слова не тронули. Я уже не принадлежал Озаричам...

Происходило все это, как я уже говорил, в самом начале 20-х годов минувшего столетия, когда только-только отгремела гражданская война. А по прошествии нескольких десятилетий, когда была уже далеко позади и Великая Отечественная война, когда мое поколение не только повзрослело, но и начало стариться, произошла у меня в Москве неожиданная встреча. На Выставке достижений народного хозяйства журналистские интересы свели меня с одним из администраторов павильона Белоруссии. И не только по фамилии Лурье, но и по запомнившейся мне с детства кривой улыбочке и насмешливому прищурю глаз, я сразу угадал в этом человеке нашего школьного остролова Левку. Ну, понятно, мы очень обрадовались, узнав друг друга, и пошли пить пиво.

От Левки я узнал о судьбе Нохима Гольдина. Он был майором танковых войск, погиб при штурме Берлина за два дня до окончания войны. А вот Левка, хотя и в пехоте воевал, оказался удачливее – со своим разведзвондом прошел военными дорогами до самых Карпат и ни разу не был ранен.

Вспомнил Левка и свои предвоенные годы. Был он совхозным агрономом, увлекался селекцией картофеля, но начальство не поддержало.

– Почему-то сорт «Лорх» может существовать, – усмехнулся Левка, – а сорт «Лурье» – ни в коем случае. Так по крайней мере дал понять директор совхоза, сославшись на мнение обкома.

А после войны тот же обком определил демобилизованного офицера Лурье на административную работу в Управление сельского хозяйства.

– Вот этим и занимаюсь, – посетовал Левка, – перекладываю с места на место бумажки на столе и пишу никому не нужные докладные записки. А здесь, на выставке, демонстрирую новые сорта картофеля, только не свои.

– Ну, а в личном плане как? – спросил я.

– И в личном похвастать нечем. Маруся не дождалась меня с войны, нашла себе другого мужа. Но не беда! Ведь я еще не совсем старый. И есть на примете отличная бабенка. Правда, с дочкой, но зато еврейка. Это, пожалуй, надежней.

Левка начал рассказывать, как хороша собой его избранница и какая у нее золотая душа, но вдруг осекся.

– Да ты же ее знаешь! – почти выкрикнул он. – Это же дочка жестящика Двося Симановская, твоя соседка и подружка в Озаричах! Помнишь?

Я кивнул.

– Передать ей от тебя привет?

– Обязательно.

А через год я получил письмо из Минска, написанное почти детскими округлыми буквами. Вернее, даже не письмо, а записку. Вот ее полный текст:

«Ваш адрес я нашла в одной из Левиных записных книжек. Он часто вспоминал вас, не раз собирался написать вам, но не успел, нелепо погиб на своем опытном поле, наступив на старую немецкую мину. Лева рассказывал мне о вашей неожиданной встрече в Москве и очень хотел вам показать свою «плантацию», где он выращивал собственный картофельный гибрид «Белполь» (Белоруссия-Польша). Эта полянка была, пожалуй, единственным местом, где он по-настоящему жил. И там он нашел свою смерть. Будем помнить о нем. Двося Лурье».

УРОКИ ЖИЗНИ

Начну с того, что в не столь еще давние времена старейшиной советских писателей считался поэт и прозаик Александр Давыдович Брянский, он же Саша Красный, по местожительству москвич, по происхождению одессит. Стихи он писал в духе времени, с футуристическим уклоном. И не столько печатал их, сколько оглашал своим зычным голосом то на литературных вечерах в кругу коллег и поклонников, то как чтец-декламатор на летних эстрадах южных курортных городов.

А старейшиной писательского цеха его почитали не по степени таланта, не по весомости литературного вклада, а по возрасту. Ему уже за сто лет перевалило, когда его приняли, наконец, в Союз писателей. Всего же он прожил на белом свете 113 лет. И был достаточно бодр едва ли не до последних дней. Во всяком случае, за год до кончины, когда мы виделись в последний раз в его московской квартире на Малой Бронной (а было это в 1994-м году), он восседал за письменным столом отнюдь не согбенным старцем. И первым делом прихвастнул, что еще не пользуется лифтом и на свой шестой этаж поднимается после дневных прогулок только собственными ногами. Конечно, не спеша, не торопясь, но и без привалов, без остановок на отдых.

– Так что, молодой человек, – резюмировал Александр Давыдович, – хотите жить, не бойтесь ходить! Почаще вспоминайте слова Платона: «В движении – жизнь».

– Зачем же Платона? – возразил я с доброжелательной улыбкой. – У меня были и другие учителя.

– Опять за рыбу грош! – сокрушенно воскликнул Саша Красный. – Неужели вы такой злопамятный?

– Нет, нет, не злопамятный, – успокоил я его. – Да и было ведь это в незапамятные времена.

– Разве? – с напускным удивлением откликнулся Александр Давыдович. – А порой кажется, что вчера.

– Да нет, не вчера, – уточнил я, – лет шестьдесят назад, не меньше. Мне тогда и тридцати не было, а вам вдвое больше.

– Кто бы подумал! – наигранно вздохнул старик. – А вы помните гостиницу «Красную»?

– Как же! Была и гостиница «Красная», и улица вашего имени.

– Нет, наоборот, это я взял себе их имя. Как псевдоним. Вы же, наверное, помните, в те времена все красное было в моде: «Красный кустарь», «Красная прачка», «Красная синька»...

– И познакомились мы на Красной, – подхватил я, вдохновившись этим забавным перечнем.

В общем, слово за слово, и ожили в нашей памяти события того далекого, можно сказать, потустороннего времени, когда судьба свела нас в Одессе впервые. Первым шагом на этом пути послужила телеграмма моей юной жены, проводившей свой первый отпуск в Ялте: «Буду завтра утром теплоходом Украина встречай». Но наступившее утро обмануло мои надежды. Из-за шторма «Украина» причалила к одесскому пирсу лишь через сутки. И только тогда я убедился, что счастье, наконец-то, не обошло меня стороной. Жена прямо с трапа свалилась в мои объятия. Глаза ее весело щурились, загорелый носик мило шелушился, а сказанная шепотом фраза: «Как я по тебе соскучилась, Сашенька!» вообще лишила меня рассудка. Но тут же я сообразил, что имя названо не мое.

– Кого ты, собственно, имеешь в виду? – полюбопытствовал я.

Жена посмотрела на меня долгим затуманившимся взглядом и вдруг расхохоталась.

– Господи! Какую чепуху я несу! Ты понимаешь, на теплоходе из всех динамиков непрестанно брэнчала эта дурацкая песенка «Саша». И теперь для меня все на свете Сашеньки. Но ты, – добавила она, влюбленно заглянув мне в глаза, – ты самый главный и единственный, как бы тебя ни звали. Я безумно по тебе соскучилась.

По дороге из порта я еще не вполне сознавал меру своего нетерпения, но, как только переступил порог дома, понял окончательно, что месячная разлука – предел возможного. Жена понимающе улыбнулась и со словами: «Уф, как жарко», стала расстегивать блузку. И в этот самый миг в дверях раздался звонок. Я чертыхнулся, но отворил. Стремительно вошел, вернее, даже ворвался шикарный рыжий дядя с громадным, на полкомнаты, букетом цветов. Рыжим он был весь, даже сорочка с каким-то самоварным отливом. И цветы в его руках горели, как костер.

– Боже, Саша, зачем такие траты? – запротестовала жена, благодарно принимая цветы. – А вообще очень мило и даже удачно, я ведь только сегодня, буквально только что приехала.

Пришелец держался независимо. Меня он как будто и не заметил. А жену мою одарил не только цветами, но еще и великолепной перламутровой улыбкой, напоминавшей рекламу зубной пасты.

– Знакомьтесь, мой муж! – поспешила сказать жена.

Похоже было, что новоявленный поклонник не ожидал встречи со мной. Но он сохранил невозмутимость и с царственным великодушием протянул мне руку.

– Что ж, очень приятно, о-очень!

Столь же царственно наш гость отказался от предложенных ему крымских фруктов.

– Нет, нет, спасибо! Я утолил жажду сердца, и это главное. На сегодня достаточно.

Когда гость ушел, жена объяснила, что это был Саша Красный, известный в Одессе поэт.

– Впервые слышу о такой знаменитости, – сказал я как можно спокойней.

– Ну вот, нам еще не хватает ссоры, – обиделась жена. – Я ведь еще в порту говорила тебе о нем. Ты, наверное, невнимательно слушал. В Ялте его имя печатают на афишах аршинными буквами. Он жил в нашем санатории и каждый день осаждал меня на пляже своими стишками и комплиментами. И вообще ужасно приставучий тип. Я ему даже свой адрес дала, лишь бы отвязаться. Кстати, ты заметил, какие у него отвратительные лошадиные зубы? Надеюсь, он больше не придет...

– Да-а-а, – виновато протянул Саша Красный, когда я шаг за шагом восстановил картину тех далеких дней. – Что верно, то верно, на моем веку было немало красивых женщин, я вам об этом как-то говорил. Но вот вашу жену, убейте, не помню. Она была блондинка или брюнетка? – И, не дожидаясь ответа, Александр Давыдович показал рукой на грудку бумаг, лежавших на письменном столе. – Вот пишу мемуары, но этого эпизода там нет. Обязательно включу его с ваших слов.

– Ну, нет уж! – запротестовал я. – Для вас это эпизод, а для меня, можно сказать, школа жизни. Когда-нибудь я сам напишу об этом...

И вот написал. Могу с чистым сердцем сказать, что о Саше Красном я всегда вспоминаю с благодарностью. Что ни говорите, а своим давним визитом в Одессе он открыл мне глаза на женщин. С той памятной встречи я был женат не единожды. И со всеми женами был счастлив, потому что ни от одной из них не ожидал счастья.



Борис ХАЗАНОВ

Литературный музей

· ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ

«**Б**уря, пронизывающая мысль Хайдеггера, подобно тому ветру, который тысячелетия спустя веет на нас со страниц Платона, – эта буря родилась не в нынешнем веке. Она пришла из незапамятного прошлого, и то, что она оставила, есть нечто совершившееся и совершенное – то, что возвращается, как все совершенное, к глубинам прошлого» (*Ханна Арентс*).

Существование не может быть объяснено только необходимостью. В нем есть некий вызов.

Истинная философия есть не что иное, как беседа с самим собой. Лежа в шатре посреди своего лагеря, где-то в варварской стране за Дунаем, император уговаривал свой дух обрести спокойствие. Отшвырни книги, хватит мучать себя, пишет он. Вообрази, что ты на одре смерти, и презри плоть, ведь в конце концов это только кости, жилы, кровь и что там еще.

Лежа на соломенном тюфяке в каморке у себя наверху, как Марк Аврелий в солдатской палатке, он – то есть я – предавался философическим мечтаньям и чувствовал себя чрезвычайно уютно. Он мог оценить преимущества своего положения: никто ни о чем не расспрашивал, никто не покушался на его одиночество, никто не спрашивал документов, и никто не гнал на работу. Тишина и удобная поза настроили на возвышенный лад; мысли текли, как спокойный ландшафт перед глазами путешественника, он даже задремал на короткое время, не переставая, однако, размышлять; и если не решался, в силу известного суеверия, назвать себя счастливым, то по крайней мере понимал, в чем состоит счастье, одинаковое для улитки и человека. В том, чтобы обрести убежище в самом себе.

Алкоголизм как философия жизни. Пьянство нуждается в обосновании, в почве, от которой, как сын Посейдона Антей, набираются сил, по которой ползут. Пьющий нуждается в обуви не только для ног, но и для рук. Что за нравы, е... мать! Выхожу из пивной – наступили на руку.

Энциклопедия Женского Тела. Астрология Женского Тела (раздел). Типология, феноменология, семиотика. Коллектив, работающий над Энциклопедией, редакция, кабинеты, отделы, многоэтажное здание. Готовится к печати очередной том XXV: «По – Пу»: Подключичная ямка – Пупок. «Грудь» (отдельный том).

В дневнике А.Ф. Лосева-гимназиста есть длинное рассуждение о груди великой княжны Марии Николаевны.

У каждого из нас два родителя, два деда и две бабушки; восемь прадедушек и прабабушек и так далее; пятьдесят лет тому назад у нас было полтораста предков, а тысячу лет назад трудилось, чтобы нам появиться на свет, целое человечество. (Кажется, мысль Маргерит Юрсенар.)

Не биография, а предки – наш якорь. Мы – ходячий каталог предков. Жесты, мельчайшие подробности внешности, какая-нибудь манера выпячи-

О к о н ч а н и е. Начало см. «Октябрь», №10 с.г.

вать губу, причуды, вкусы, стиль мысли, строй чувств – все это уже было. Сколько их, вложивших по кирпичику, по песчинке в то, что я считаю моей уникальной личностью.

Канализационный аспект истории: будущее в виде огромной воронки, фаянсовой чаши. Бурлит вода, из стульчака доносится шум спускаемых масс. Sic transit...

Старый еврей садится на скамейку, там сидит другой, незнакомый. Молчат. Старик вздыхает: о-хо-хо! Тот поворачивается к нему: «И вы мне будете еще рассказывать!..»

Два друга, живой и мертвый, встретились на дороге, что ведет к погосту. «Прощай!» – сказал живой. «До скорого», – ответил мертвый. (Испанский фольклор.)

Tu esam, ego eris (латинская эпитафия). Учащиеся ломают голову, как это перевести. *Я был тобою, ты будешь мною.*

Поезд идет с возрастающей скоростью, машинист вперяется глазами впадинами черепа в рельсовый путь. Впереди туннель, грохочут колеса, рушатся вагоны, летят обломки, уже ничего не осталось, но поезд идет вперед, сияют прожектора, и по-прежнему смотрят вдаль пустые глазницы машиниста.

Суть литературной философии Борхеса состоит в том, что умозрительные системы, философские тезисы и догмы вероучения могут стать предметом художественной литературы не менее привлекательным, чем «жизнь», но с условием, что они остаются для писателя лишь материалом. Красота и фантастика абстрактных построений – вот что привлекает художника, а отнюдь не вопрос, насколько они истинны или ложны. *Уважение эстетической ценности религиозных или философских идей... того неповторимого и чудесного, что таится в них*, – фраза Борхеса, которую цитировал Антонио Каррисио. Эстетической ценности, а не какой-либо иной.

Тайная полиция. Весной 1941 года Управление НКГБ по Хабаровскому краю сфабриковало, по указанию свыше, «мельницу», организатором и шефом был начальник 2-го УНКГБ СССР генерал-лейтенант П. Федоров.

В пятидесяти километрах от Хабаровска, близ маньчжурской границы, была сооружена фальшивая пограничная застава. За ней находился мнимый маньчжурский полицейский пост, дальше – «уездная японская военная миссия». Цель – проверка советских граждан. Человеку предлагали выполнить ответственное закордонное задание и забрасывали его якобы на территорию врага. Там его задерживали мнимые пограничники. В «военной миссии» его допрашивали выдававшие себя за офицеров японской разведки и русских белогвардейцев работники НКВД; начальника миссии изображал некий Томига, бывший лазутчик императорской Квантунской армии. Угрозами и шантажом от задержанного добивались признания, что он подослан Советами. После чего перевербовывали в японского шпиона и забрасывали обратно. Операцию завершал арест, следовало обвинение в измене родине; расстрел или лагерный срок. Мельница функционировала до 1949 года и перемолола 148 человек. («Гулаг: его строители, обитатели и герои». Франкфурт-на-Майне – Москва, 1999.)

Ее деятельность принято называть противозаконной. Спрашивается, что такое закон. Как большой океанский корабль оснащен собственной электростанцией, так органы располагали собственной юриспруденцией. Они следовали инструкциям и законам, которые сами же изобретали. В этом специфическом значении закон есть не что иное, как *совокупность правил, по которым надлежит творить беззаконие*. Тайная полиция переросла сама себя. Это была поистине универсальная организация, выполнявшая и сыскные, и следственные, и псевдосудебные, и карательные функции, служившая одновременно инструментом тотального контроля и устрашения и рычагом экономики. Уже в тридцатых годах сообразили, что создание новых отраслей промышленнос-

ти, добыча полезных ископаемых, освоение новых регионов, грандиозные стройки, милитаризация, короче, все то, что подразумевалось под строительством коммунизма, без системы принудительного труда невозможно. В конечном счете вся государственная машина в большей или меньшей степени оказывалась в ведении тайной полиции. Такова была логика породившего ее строя.

Но та же логика учреждения, которое стало выше себя самого, приводила периодически к самопоеданию. Это были бульдоги из Страны Дураков, о которых говорится, что они никогда не спали и даже самих себя подозревали в самых страшных преступлениях. Вдобавок организация нуждалась в обновлении. Время от времени она отгрызала у себя хвост, конечности и даже голову. Это было необходимо для регенерации.

Кто бы мог подумать, что мы переступим порог 2000-летия, кто вообще думал пятьдесят лет назад об этих двух тысячах! В лучшем случае они казались чем-то астрономическим. Пятьдесят лет назад я сидел в спецкорпусе Бутырской тюрьмы, в узкой, шесть шагов в длину, полтора шага между койками, камере, которая проектировалась как одиночная, но теперь, из-за крайнего переполнения посадочных мест, вмещала четыре человека, иногда пять. Напротив, почти касаясь меня коленями, сидел на своей койке кинорежиссер Иван Александрович Бондин, автор фильма «Она сражалась за родину» (или что-то такое), человек, которого арест и следствие совершенно раздавили. Перед этим он находился в тюремном психиатрическом институте имени Сербского. Его сменил студент географического факультета по имени Саша, немного старше меня, накануне ареста женившийся.

Кроме того, в камере сидели два заслуженных большевика, оба вступили в партию в 18-м году, оба были арестованы в 37-м, но остались в живых, были выпущены. Для меня это были люди другого века или с другой планеты. Каждый был по крайней мере втрое старше меня. Оба были евреи. Один, доктор Мазо Александр Захарович, был главным врачом ведомственной поликлиники. Он сочинял стихи о своей дочке, но чаще вспоминал девушку, с которой был связан в далекой юности. Однажды заметил, что она побрита. Оказалось, что она сделала тайком от него аборт. Другой сиделец был директором завода, звали его Александр Борисович Туманов, фамилия, которую он придумал себе во время революции. Несчастье было в том, что, прежде чем вступить в ленинскую (оба, Мазо и Туманов, называли ее «наша партия»), он был членом еврейской пролетарской партии Поалей-Цион, то есть «Рабочие Сиона». «Но мы блокировались с большевиками!» Александр Борисович был человек маленького роста, очень важный, вечно пикировался с доктором и говорил о себе: «Я не рядовой работник. Я крупный политический деятель!» Когда он усаживался поглубже на койке, ноги не доходили до пола. Подкрепившись чем Бог послал, потирал ладошки и декламировал тюремные стихи: «Я сижу и горько плакаю. Мало ем и много какаю».

Это была страна, где все решало количество; количественная страна. Очень много земли, очень много народу. Страна, где, вопреки Гегелю, количество как-то неохотно переходило в качество. Качество не росло, оно всегда было низким: плохие дороги, плохие законы.

Некоторые считали этот режим насильственным внешним (чужеродным) порождением. На самом деле это был народный режим. Режим, где весь народ вовлечен в практику насилия. Начальство угнетает подчиненных, подчиненные друг друга. Верхний слой насилует нижележащий и вообще всех; нижележащий – следующую социальную ступень и дальше вниз; низшие – еще более низших.

Удивительна душа вещей, терпение, с которым они дожидаются вас там, где вы их оставили лежать. Но иногда терпение иссякает, вещи падают, ломаются, разрушаются или просто деваются куда-то.

Не следует путать цель со смыслом. Можно упорно преследовать некую цель – и трудиться бессмысленно, жить бессмысленно и умереть бессмысленно.

История России в XX веке – пример удручающей бесполезности жертв и усилий. Что осталось? То, что противостояло истории, сопротивлялось ей: дух, искусство, литература. Осталась сама страна – тоже немало.

Христианство погибает вместе с евреями, которых оно ненавидит.

Христианство без этой ненависти, без антииудаизма – то же, что фаршированная рыба не из рыбы.

Легенда, известная во множестве вариантов, с отчетливым юдофобским привкусом. Некий жестокосердный иудей осужден вечно бродить среди чужих народов, и поделом ему: он отвернулся от Иисуса Христа на Его крестном пути. Вечный Жид, олицетворение еврейского народа, осужден самим Христом. Заметьте, однако: Вечный Жид – единственный из живущих на Земле, кто своими глазами видел Христа, единственный, кто может свидетельствовать о нем. Агасфер гоним и презираем, но он – доказательство, что Христос в самом деле существовал.

Рассказ о Картафиле, другое имя которого – Агасфер. В Швейцарии, глубокой осенью, в Silvaplana, где мы поселились в полупустом отеле, когда я никак не мог отделаться от кашля, когда мы гуляли вокруг озера, я рассказывал Лоре эту историю. О том, как Вечный Жид, устав от скитаний, явился к Агриппе Неттесгеймскому, как тот показал ему будущее. Картафил оказался в очереди перед газовой камерой, вместе с другими в очереди стоял Иисус. Странник вернулся в XVI век, эксперимент был повторен, но больше Агасфер уже не возвращался. Я придумал эту историю и рассказывал себе, Лоре и Уве Графенгорсту.

Рассказ был впервые опубликован в «Литературной газете», на него никто не обратил внимания, единственный, кто откликнулся, был покойный С.И. Липкин – стихотворением, посвященным автору.

Вероятно, он понял, в чем дело.

Мы все – вольноотпущенники Освенцима. Мы ускользнули – вот и все. Но дым печей преследует нас. Мы астматики Освенцима.

При исследовании останков последнего русского императора и его семьи церковью был «поставлен вопрос», не имело ли место ритуальное убийство. Тем, кто дал ответ на этот вопрос (слава Богу, отрицательный), как и тем, кто его задал, не пришло в голову, что сам вопрос постыден.

Если *такое* христианство забыло о том, что произошло на глазах у ныне живущего поколения, если это христианство не хочет ничего знать о печах Освенцима, если оно думает, что может остаться прежним христианством, как будто в мире ничего не случилось, – значит, оно в самом деле мертво. Значит, оно убито вместе с жертвами в тех же самых печах.

Вновь я посетил... Опять Hôtel des Arts на узкой и крутой улочке Tholozé на Монмартре, вышел из гостиницы и засмеялся от счастья, от знакомого запаха из полуподвальных окон какой-то кухни.

Когда бредешь от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, кондитерских, кафе, китайских ресторанчиков, мимо выставки сыров, мимо киоска с газетами всего мира, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где сидят на корточках дети, где какая-нибудь девушка тебе улыбнется, не думая о тебе, где звучит стремительная речь, где журчит смех, – и дальше по улице дез-Аббесс, мимо книжного магазинчика, где ты лавируешь между стопками книг на полу, – зачем-то понадобился «Le Disciple» забытого Поля Бурже, книга юности, а хозяин магазина о ней даже не слышал, – мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, и вниз, и снова вверх, поворачиваешь к Трем братьям, попадаешь на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актеров, со смешным названием Bateau-Lavoir, то есть Корабль-умывальник, Корабль-мостки для познания белья, – Хоссподи, кто тут только не побывал, Пикассо написал тут «Авиньонских барышень», здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен, – когда снова каким-

то образом оказываешься на улице Лепик, которая кружила следом за тобой, то кажется, что ты, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберешься до Холма, хоть и видишь его то там, то здесь, за деревьями, над домами, в перспективе тесной улочки, и вот, наконец, крутая, с многими маршами лестница. Набирайся терпения. Становись в очередь перед фуникулером. Теперь Sacré-Coeur перед тобой, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом взирают на весь Париж.

О Париже сказано все, как о любви, и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. В других городах ощущаешь себя пришельцем; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя гостем; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды и тусклые отблески дальних огней, громаду Святой Марии Спасения, почти неразличимую на другой стороне Большого канала, проплыть по ночным каналам в черной лакированной гондоле, вспомнить все, что было читано, слышано, увидено на экране, – погостить и уехать. В Чикаго с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение, остаешься чужестранцем, хоть ты там и бывал теперь чаще, чем в Москве. Уехав из Парижа, начинаешь скучать – и все по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, по маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где ты прожил однажды шесть счастливых дней, по набережным Левого берега, по лоткам букинистов, по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему вот-вот исполнится четыреста лет. В Париже мы все жили еще прежде, чем там оказались.

Лютетция, кораблик, который «качается на волнах и не тонет» (*fluctuat nec mergitur*). Беньямин называет Париж столицей девятнадцатого века, и не зря. Это, может быть, самый живой город в Европе, а между тем все в нем существует, как встарь, по сей день: крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решетками. Дешевое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках. Город давно смирился со своей ролью быть огромным сборником цитат, и все так же течет Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что он все еще жив. И высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца.

Э-хе-хе, поздно я проторил сюда дорожку. В Париже нужно было жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью более или менее усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли перед глазами эти улицы и ансамбли, эти мосты над рекой в солнечном тумане.

В стихотворении Арагона «*Je vous salue, ma France...*» говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, садятся, как на протянутую ладонь, на территорию Франции. Пятиугольник со сглаженными углами, ладонь – очертания страны. Франция открыта двум морям. Андре Зигфрид писал о двух этнических фондах – кельтском и романском. Сравни физиономию нормандца Флобера – короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла – с портретом узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака: два французских типа. Но сегодня, глядя на толпы в парижском метро, где каждый четвертый – выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель человечества, для которого не существовало Греции, Рима, Высокого Средневековья, Ренессанса, Семнадцатого века, Просвещения, Революции, – сегодня думаешь о том, что к двум фондам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.

Если верно, что история есть не столько совершившееся на самом деле, сколько написанное – на восковых табличках, на папирусе, на бумаге, в мони-

торе, – то не менее верно и то, что история человеческой жизни начинается с момента, когда некто вознамерился о ней рассказать. Среди многочисленных функций романа мы должны выделить главную: роман реабилитирует человека. В этот век неслыханного умаления человеческого достоинства роман убеждает, что нет ничего более ценного, чем личность, и нет ничего более интересного. *Не начать ли нам, братие, трудных повестей...* То, чему не научила гуманистическая философия, чего не сумела внушить религия, выполняет роман, последнее прибежище человечности. Однако и наша повесть – «о полку Игореве». Вспомним, что в самом прекрасном из произведений древнерусской словесности говорится не о победах – о поражении.

Я отвожу взгляд от молочного экрана, от моей жалкой прозы к окошку: узкий, глубокий колодец двора. Нет больше Парижа, не слышно ни звука. Два чувства: первое – привычное ощущение тупика; как будто собрался, поплевав на ладони, долбить ломом каменную скалу. Второе – это Россия, которая настаивает, как наваждение.

То и дело думаю о прошлом, – это несчастье и привилегия старости. Но так как я занимаюсь писательством или по крайней мере внушаю себе, что я писатель, то воспоминания, весьма живые и подробные, превращаются в материал для литературы. Отсюда следует, что если я, например, обращаюсь к послевоенным временам, к юности в Московском университете и т.д., то получается нечто такое, что может вызвать протест у живого свидетеля и участника той жизни. Он скажет: все было совсем не так! Химический процесс, пышно именуемый творчеством, денатурировал действительность.

«Мотив» любви в репрессивном обществе, куда, как в ворота концлагеря, вступили эти юнцы. Есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе, подобно тому как подозрительно любое проявление независимости; при этом «низ» репрессирован с особой жестокостью. Нравственность носит полицейские черты, ханжество свирепеет; секс в этом обществе есть вторая крамола. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым дышат, входит в плоть и кровь, так воспитываются и становятся непреодолимыми стыд и скованность, пуританские нравы, какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговоренностей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, неназываемых предметов. Все это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода.

В идеальном согласии с древней мифологией «верха» и «низа» (верхняя половина тела – местопребывание возвышенных начал, «низ» низменен) персонажи советской литературы могли влюбляться или возбуждать ответное чувство, но спать в одной постели – упаси Бог. Существуют работы о самодетельной графике на стенах общественных зданий (graffiti), но, кажется, никому не приходило в голову исследовать похабные надписи и рисунки в отхожих местах. Никто не догадался собирать эти памятники традиционного народного творчества, а между тем заборная письменность с ее жанрами представляла собой необходимое дополнение к высоконравственной официальной литературе и графике. Это было ее бессознательное. Эстетика социалистического реализма не сводима к идеологии; ее тайная психологическая подоплека – порнографическое воображение.

Я пытался передать то особое чувство молодости, почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует – как не существует тайной полиции, доноительства, страха и нищеты.

Если бы объясвился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физический), он нашел бы, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но единства не было. Поле Вождя исключало присутствие каких-либо иных конкурирующих воздействий, истерическое

поклонение Вождю-Вседержителю, повсеместное присутствие Вождя не были просто метафорами. Вот вам одна из причин, почему эротика оказалась под подозрением.

Император Александр I, в темноте объезжающий посты, спрашивает: «Les hussards de Pavlograd?» И все русские военачальники, воюющие с французами, у Толстого говорят друг с другом по-французски. Мы воевали против немцев и постоянно пользовались немецкими военными терминами, офицеры носили прусские военные звания, полководцы пользовались достижениями прусской военной науки.

Распахиваются скрипучие врата. Органная музыка: боги играют на огромных гармониях.

Знаменитый *morceau de madeleine*, кусочек размокшего в чаю печенья. Непроизвольная память Пруста. Для меня такую роль играют мелодии. Стоит только вспомнить какую-нибудь. Стоит простенькому мотиву всплыть в сознании, – а я отлично могу слышать музыку мысленно, в мозгу поющий голос, инструмент или оркестр, – как встает целая картина, сцена прошлого. Лица, обстановка, время. И странное чувство одновременного присутствия другой памяти, внешней по отношению к воспоминанию: памяти о том, что было *потом*, знание будущего, которое теперь уже – прошлое. Этот процесс повторяется то и дело, этот механизм работает, пожалуй, тем безотказнее, чем глубже я вживаюсь в старость.

Найти в прошлом то, что привело к настоящему; найти причины настоящего – но не его оправдание.

Я получаю по электронной почте письма по-латыни от Н.К. (вместе учились в университете), не без кокетства отвечаю на том же языке и делаю ошибку: английское компьютерное attachment надо переводить *appendix*, а не *adnexio*.

Вдвоем в машине, он за рулем, рядом сноха; едут на торжественную церемонию в Лунд. Профессор Исак Борг в «Земляничной поляне» Бергмана («*Wilde Erdbeeren*») живет в прошлом, а настоящее время для него – как дорога, за которой он следит; но при этом он думает совсем не о том, что несется ему навстречу. В моем романе «Нагльфар...» была старуха, которую считали сумасшедшей, отчасти так оно и было, но она обладала способностью жить в разных временах. Там говорится, что это особый дар старости.

Чтобы социализовать умственно неполноценных людей, устраиваются лечебные мастерские: слабоумные клеют картонные коробки и т.п., обнаруживая при этом исключительную старательность.

Чтобы дать работу садистам, создана тайная полиция – следственные управления, тюрьмы, подвалы и пр., изобретается героическая мифология бдительности, «государственная безопасность», борьба с фантомными врагами и так далее. И все с такой же старательностью.

Это поколение может на свой лад гордиться тем, что жило при тиране, единственном, кто в XX веке напоминал древних восточных владык. Об умственных способностях Навуходоносора судить трудно. Интеллектуальное убожество Сталина нам известно.

Но, как и прежде, существует обаяние власти. Власть бросает особый ответ на все, что творит властитель. В устах деспота банальности начинают казаться прозрениями, пошлость – глубиной мысли, площадной юмор – тонким остроумием. Жестокость, подлость, аморализм воспринимаются как веления высшей необходимости. Аура всевластия заставляет поклоняться божественным сапогам. Жажда видеть в диктаторе великого человека, вопреки всему, что буквально лезет в глаза.

Социальный аспект советской литературы. Организованная литература превращает писателей в особое сословие. Они не только изображали (тогдаш-

ний термин: «отображали») выдуманную жизнь, они сами отгородились от реальной жизни. Поэма Твардовского «За далью даль», демонстрирующая удивительное незнание реальной жизни страны.

Как мы пишем. Сперва романист диктует стенографистке все, что пришло в голову: общий замысел, силуэты действующих лиц, сюжетные линии, соображения о стиле. Далее диктовка черновых глав, правка; каждая очередная редакция перепечатывается на бумаге другого цвета. И, наконец, мы беремся за перо. В просторном кабинете на вилле в Pacific Palisades близ Лос-Анджелеса стоит несколько столов, за одним можно писать стоя, за другим сидя, третий приспособлен к писанию лежа. Все оборудование литературной мастерской, пишущие машинки, карандаши, бумага, картон – отменного качества. Домашняя библиотека: 25 тысяч томов. Так работал Фейхтвангер, один из самых читаемых писателей своего времени.

Ганс Фаллада, оставшийся в Германии, не знал никакой технологии, писал, когда придется и чем придется. Заточенный в исправительное учреждение для наркоманов и алкоголиков, он написал свой роман «Der Trinker» («Пьяница») на добытых где-то клочках; когда бумага кончилась, он стал писать между строчками, потом еще раз между строчками.

Гораций (в «Сатирах») советует начинающему поэту почаще переворачивать стиль: римляне писали острой костяной палочкой на дощечках, покрытых воском, другой конец стиля был плоским для уничтожения записи. Смысл фразы: зачеркивай написанное, работай над текстом. Рукописи Пушкина показывают, что это значит: они сплошь исчерканы.

Карамзина спрашивали, откуда у него такой прекрасный слог. «Из камина, батюшка. Напишу и в камин, напишу – и снова в камин». В одном письме Флопера говорится, что он просидел за столом двенадцать часов и сделал две фразы.

Гнилые яблоки Шиллера. Крепчайший, по особому рецепту приготовленный кофе Бальзака. Гашиш Бодлера: повидло с гашишем. Некоторые романисты, прежде чем начать книгу, составляли подробные биографии героев, рисовали генеалогические деревья, чертили и географические карты. Карта Йокнапатофы. Жорж Сименон запирался в кабинете и за неделю, работая чуть ли не круглые сутки, создавал очередной роман (по русским меркам – повесть). Маркиз де Сад сидел в Бастилии, знойным летом, «голый, как червь», мочился в длинную трубу. «Сто двадцать дней Содома» были написаны довольно мелким почерком на рулоне бумаги длиной в двенадцать метров. Пруст создал грандиозный многотомный роман большей частью по ночам, лежа в постели; комната с наглухо зашторенными окнами, а потом и обшитая пластинами пробкового дерева. Хемингуэй мог писать только стоя – на пишущей машинке, перед высоким бюро. Томас Манн провел по крайней мере полжизни в домашнем кабинете, а его сын Клаус Манн писал в номерах гостиниц и пансионов, собственного жилья не было (как и у Набокова). Жан Жене, превратившись из бродяги и уголовника в знаменитого писателя, обитал только в гостиницах.

Сборник «Как мы пишем» (Ленинград, 1930): восемнадцать мастеров современной литературы отвечают на вопросы анкеты. Любопытно, что осталось от мастеров.

Некоторых – Тихонова, Слонимского, Ник. Никитина, Чапыгина, Лавринева – поглотило забвение. Другие – Ольга Форш, Вячеслав Шишков – стали малочитаемыми авторами. Почти то же можно сказать о Вениамине Каверине, который пережил почти всех своих современников и друзей, сумел сохранить лицо, но остался автором одного произведения – «Двух капитанов». Юрия Либединского никто ни за какие деньги не станет читать. Константин Федин безнадежно испортил свою репутацию, но и без того ясно, что оценка была непомерно завышена. Евгений Замятин и Борис Пильняк, вычеркнутые из святцев, вернулись, но былой популярности уже не приобрели. К Алексею Толстому, отнюдь не забытому, ставшему малым классиком, установилось настороженное отношение. Устояли Шкловский и Тынянов. Звезда Зощенко не только не потускнела, но разгорелась еще ярче. Белый – классик русской литературы. Горький остался тем, чем был.

Странная компания, чем-то напоминающая коммуналку тридцатых годов, где на кухне стояли рядом бывшая титулованная дворянка и перебравшаяся в город дочь пастуха. Пролетарский писатель Юрий Либединский, для которого культура началась позавчера, и рафинированный интеллигент, символист, московский мистик и антропософ Андрей Белый. Поразительно, какой резкий отблеск бросает на всех время, казавшееся прологом вечности, на самом деле до смешного недолговечное. Белый, которому остается жить четыре года, заключает рассказ о своих трудах и терзаниях надеждой, что «в 2000-м году, в будущем социалистическом государстве», он будет признан «потомками тех, кто его осмеивает как глупо и пусто верещащий телеграфный столб».

Время поработает пишущего. Даже серьезные писатели, дети старой культуры, культивируют простоту, понимаемую как упрощение. Драматург Борис Лавренев мог бы сказать о себе, как Филипп Филиппович Преображенский: я московский студент (окончил до революции юридический факультет); в 1930 году он формулирует свое новое кредо: «Когда мы пишем для театра и для читателя, мы имеем дело с рядовой массой, состоящей из сотен тысяч людей, из которых девяносто процентов никогда не соприкасались с законом конструирования литературного слова... Я считаю, что язык пьесы должен быть не выше среднего языка. Он должен быть языком простым и не выходящим за пределы понимания рядового слушателя». Зощенко: «Писателю наших дней необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее количество людей понимало его произведения... Для этого нужно писать ясно и со всевозможной простотой».

О, не смейтесь над Либединским и прочими. Эти нищие духом – кто они такие? И кто вы? Их потомки. Советская литература – наследник русской классической литературы.

Каждое утро я проезжал мимо большого здания у начала Ленинского проспекта и читал лозунг: «Выше знамя социалистического соревнования за дальнейшее повышение качества».

Я старался понять, что это означает.

Некто держит знамя – полотнище на длинной палке. Это полотнище надо поднять еще выше. На самом деле, однако, речь не об этом; никакого знамени не существует. Речь идет о социалистическом соревновании. Но в действительности никакого соревнования нет, просто кто-то где-то работает. Хотя качество этой работы высокое, его надо сделать еще выше. Но добиться этого тем способом, который рекомендован, то есть поднимая знамя соревнования, невозможно, так как не существует ни знамени, ни соревнования.

Фраза, составленная грамматически правильно, напоминает сложный арифметический пример с дробями и многочленами. Ученик долго решает его – в итоге получается ноль.

Решающим шагом в расшифровке экзотических письменностей была догадка, что мы имеем дело не с орнаментом, а с письмом. Разгадка изречения о знамени: это не письмо, это орнамент.

Рядом висел другой лозунг, фраза еще загадочней: «Отличному качеству – рабочую гарантию». Попробуйте объяснить ее ребенку или перевести на иностранный язык. Ни одно из четырех слов не имеет сколько-нибудь конкретного смысла.

Впрочем, осторожней. Некогда знаменитое высказывание Сталина: «Мир будет сохранен и упрочен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки и доведут его до конца» – пример словесной конструкции, полностью лишенной содержания. Казалось бы, лишенной; ан нет. Ибо на самом деле перед вами тайнопись, язык-шифр, вроде жаргона воров; к нему нужен ключ, каждое слово требует перевода. Кроме того, есть пустые знаки-слова, назначение которых – сбить с толку дешифровщика. Смысл, однако, был прост: «Надо вооружаться».

В журнале «Мурзилка» существовала Умная Маша. Мама читала вслух книжку, а Умная Маша рисовала картинки. Мама читала: «Солнце село». Умная Маша рисовала кресло и Солнце – круглоголового дедушку в кресле. Но солнце – понятие такое же конкретное, как и кресло. Солнце существует на самом деле.

Задача политического языка – вытеснить действительность и образовавшуюся пустоту задрапировать словами, лишенными смысла. Из слов можно соорудить систему, говорит Мефистофель.

Бессодержательную речь
 Всегда легко в слова облечь.
 Из голых слов, ярьась и споря,
 Возводят здания теорий.
 Словами вера лишь жива...

(пер. Б. Пастернака)

В слова можно верить. Можно с успехом заштопать словами прохудившуюся веру.

Кризис эротики.

Мы пожимаем плечами, читая о скандале вокруг романа Фридриха Шлегеля «Люцинда». Процесс над Флобером, над Бодлером, над автором «Любовника леди Чаттерли» выглядит недоразумением. С Джойса сняты наручники. Выпущен на свободу через 185 лет после смерти в психиатрическом заточении «Божественный маркиз». Книги Жоржа Батая признаны доброкачественной литературой, о них написаны солидные труды. Лишился пикантности апостол секса Генри Миллер, увяла Анаис Нин, о подражателях нечего и говорить.

Выяснилось, что сочинять порнографическую литературу, вообще говоря, нетрудно. Сколько шума еще совсем недавно наделал в русской эмиграции жалкий «Эдичка»! Такие романы можно печь, как оладьи.

Никакая прежняя эпоха не могла похвастать такой армией похабнейших писателей, лишив их одновременно ореола недозволенности; никакая эпоха не располагала такими возможностями тиражирования клубнички, никакое общество не могло помыслить о таких масштабах коммерциализации секса. То, что еще недавно могло казаться реакцией на ханжество предшествующей эпохи, восстанием против буржуазного или коммунистического лицемерия, стало рутиной массовой потребительской культуры. Приходится признать, что колоссальные усилия, потраченные в свое время на то, чтобы разрушить заборы, которые воздвигло ханжество, пропали даром. Оставшись без всего, растабурированная, раздетая догола эротика сбежала.

Женщина: открытость/закрытость. В своем платье женщина как бы без платья. Платье облачает, чтобы разоблачить; разоблачает, чтобы скрыть.

Лакан: «Раздеть женщину невозможно».

С художественной истиной дело обстоит совершенно так же – довольно тривиальное уподобление. Природа истины такова, что ей подобает игра с покрывалом. Истина может поразить, лишь явившись полуодетой. Больше того, лишь до тех пор она и остается истиной. Подобно тому как эротично не голое тело, а способы его сокрытия, прямая речь бьет мимо цели. Это и есть та самая «неправда правды», о которой говорит ставший модным в России Жак Деррида (в трактате «Шпоры»). Чтобы восстановить таинственное очарование наготы, ничего другого не остается, как захлопнуть книжку.

Сенсация, потрясая европейское общество три четверти века тому назад, когда было объявлено, что чуть ли не все движения человеческой души могут быть редуцированы к полу, заряжены полем, – не то чтобы опровергнута, но отцвела; обе стороны уравнения можно переставить местами. Сексуальность сама выступает в качестве универсального знака, и язык подхватывает эту двусмысленность, язык осциллирует. И это то, что я ценю в литературе. Может быть, истинное отличие порнографической словесности от непорнографической состоит в том, что порнография есть вырождение языка в код. Порнограмма может быть прочитана лишь одним единственным способом. В порнографическом романе, как и в порнографическом кинофильме, – и как у Витгенштейна, – все есть как есть и все происходит, как оно происходит. Единственная художественная вольность, отступление от «действительности» – фантастическая неумолимость партнеров.

Порнография девственно наивна. Порнография однозначна – вот ее критерий; вот то, что противоречит природе романа, который не знает, чего хочет, допускает бесчисленное множество интерпретаций и в конечном счете уходит, ускользает от всякого категорически-однозначного истолкования. В этом состоит источник бесконечных недоразумений между романистом и его критиками и читателями, всегда склонными вкладывать в книгу один-единственный и притом неожиданный для его создателя смысл. Автор порнографических произведений не имеет оснований жаловаться на непонимание: у него никогда не бывает недоразумений с читателем.

О вертикальном измерении литературы.

Когда-то я сочинил повесть о короле вымышленного микроскопического государства, страна оккупирована вермахтом, издаются грозные указы, небольшое еврейское население королевства подлежит изоляции. Престарелый монарх выходит на улицу, украсив себя звездой Давида, и по его примеру все жители столицы надевают желтые звезды. И вот теперь вы спрашиваете меня, куда все это делось. Персонажи прежних сочинений, король и другие, совершали поступки в духе некоторого высокого идеала. Этот идеал соединял противостояние злу, гуманизм и религиозность, хотя бы и не прокламируемую. Почему они исчезли с моих страниц? Вместо этого я позволил себе опубликовать роман, который начинается с поистине отталкивающей сцены: столица великой страны загажена ядовитым пометом неизвестно откуда налетевших зловещих птиц. Птичий кал шлепается с крыш, висит на зданиях и памятниках, течет по улицам, отравляет воду и психику людей. Что означает эта пародия на гибель Содома? Издевку? Над кем?

На вопрос, куда подевалась «ценностей незыблемая скала», я бы ответил так: идеалы растворились в литературе. Клавдий в последней сцене «Гамлета» поднимает кубок, растворив в нем жемчужину из короны датских королей. Вот так же растворились героини-идеалисты в современной литературе. Напрасно было бы их искать: их функции взяла на себя сама словесность. Видите ли, и смысл нашей работы (если она вообще имеет какой-то смысл), и ответственность писателя (если это слово еще что-то значит) – все эти вещи приходится постоянно обдумывать заново.

Такая литература может казаться равнодушной к добру и злу, но это не значит, что ей на все наплевать. Я полагаю, что большая литература и в нашем веке не вовсе иссякла – и не лишилась сознания того, что она излучает некую весть, благую и мужественную. Может быть, эту весть не так легко расслышать, это великое Подразумеваемое не так просто угадать. Ибо оно не артикулируется так, что его можно было бы без труда вычленивать и распознать, не подставляет себя с охотой религиозным интерпретациям – оно, как уже сказано, химически растворено в прозе. Чего, однако, современная литература на самом деле лишилась, так это веры в абсолютную ценность бытия.

Вы говорите об отказе от «вертикального измерения», о том, что искусство отвернулось от христианства (или христианство от него). Я отвечаю, что искусство – это болезненный нерв эпохи, утратившей доверие к бытию. Вот то, что невозможно отрицать, и никакие увещания не помогут. Утрачено фундаментальное доверие к бытию, нет больше этой почти инстинктивной уверенности в том, что миром правит некое благое начало. Невозможно и взывать к этому началу. Художник это знает – что он может противопоставить? Литературу, которая реабилитирует достоинство человека, только и всего, и она это делает – собственными средствами, создавая свой мир, не прибегая к проповеди, не пытаясь конструировать образцы поведения, чураясь какой бы то было идеологии – и не повторяя предшественников.

Похоже, найти свое оправдание литература может только в самой себе.



Михаил ЛЕВИТИН

Чудо любит пятки греть

К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ВВЕДЕНСКОГО

Когда я делал зарядку, лежа на полу, и моя годовалая дочь легла рядом и попыталась повторить движения, так что телу моему и сердцу стало тепло, я понял смысл этих слов Александра Введенского.

Чудо любит пятки греть

И маленький мальчик Петя Перов не случаен, он не придуман автором, а подслушан.

А подслушать, о чем думает годовалый ребенок, может не каждый. «Я умею говорить мыслями. Я умею плакать. Я умею смеяться. Что ты хочешь?»

Когда я ставил «Елку у Ивановых», то посадил маленького мальчика в таз на авансцену и выхватил лучом из темноты зала.

Он спрашивал у зрителей: «Будет елка? Будет. А вдруг не будет? Вдруг я умру?»

Это спрашивал Введенский.

Он всю жизнь спрашивал у Бога одно и то же, без всяких угроз и претензий, только спрашивал, он вел себя, как любознательный ребенок, желающий сам докопаться до истины.

Он был печален, он был весел. Взглянув на него, вы никогда бы не подумали, что он способен задавать себе главные вопросы, – так, гуляка, игрок, бабник.

Ему повезло казаться легкомысленным. Он был недоступен для непосвященных, он летел только к своим, свои у него, к счастью, были.

С ними он мог не притворяться, быть собой, они прощали ему все, зная, что на самом деле он совсем не взрослый, а маленький ребенок, беседующий с невидимым Богом.

Введенского надо воспринимать буквально. То, что преломляется в сознании и становится неким условным понятием, для него конкретный предмет, или слово, или ощущение.

Он идет сквозь множество реальных вещей, реальных предметов к самой реальной – Смерти. И потому все сущее теряет смысл.

Горит бессмыслицы звезда,
она одна без дна

Воображение его, расталкивая все на своем пути, пробивается к невозможному, не желая смириться с тем, что хоть одна вещь, сделанная или произнесенная, помешает ему сделать это.

Он бежит, падает, встает, взлетает, он разглядывает мир, лежа на голой панцирной сетке своей кровати.

Он способен, как расшалившийся мальчик, увидеть мир сверху, снизу, сбоку. Он только не может увидеть его изнутри, и эта печальная невозможность возвращает его к мысли о смерти.

Какая может быть другая тема
чем смерти вечная система

Ему нравится мир, он бы играл в нем и играл, но мысль, что его в любой момент могут остановить, не дает ему покоя.

Когда он гуляка, картежник, бабник – ему удается ее забыть, он вообще любит угар жизни, богемную форму существования.

Но вот все кончается, он открывает глаза, и оказывается, что на улице уже темно или слишком светло, а он так ничего и не выяснил.

Человек, физически, сам с собой пытающийся понять основы бытия, – вот что такое Александр Введенский.

Его поведение можно воспроизвести, каждый поворот головы – фраза, каждый взгляд – фраза, его намерения одни и те же.

За каждым порывом всегда стелется шлейф легкомыслия, но это – чтобы не потерять связи с жизнью и не произвести слишком серьезное впечатление.

Ты что же это, дьявол,
живешь, как готтентот,
ужель не знаешь правил,
как жить наоборот?

(Николай Заболоцкий.
«Раздражение против В.»)

чтобы было все понятно
надо жить начать обратно
(Александр Введенский)

Больше всего он боится, что его примут за философа или откажут в артистизме. А ему нравится стоять на одной ноге в центре мира и расспрашивать Бога, расспрашивать.

В конце концов он даже не претендует на ответ. Ему достаточно, что его слушает пространство. Он – болтун, но какой прекрасный болтун, он – эгоист, но какой внимательный к людям эгоист, он – ребенок, но какой необременительный для взрослых ребенок. Ему прощалось все. Он гениален изначально, к нему нельзя относиться серьезно. Нельзя мешать разговаривать с Богом, нельзя запретить жизнь.

И даже те, кто запретил, не знают, что помогли ему сделать последний шаг, на который он по легкомыслию своему и любви к жизни никогда не смог бы решиться.

Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
певец и всадник бедный.

Он оброс разгадывателями и толкователями, в то время как он сам разгадыватель и толкователь.

Его внутренняя действительность воспроизведена с четкостью реальной действительности Даниила Хармса.

Только Хармс освобождает мир от своего присутствия, пытаясь застать чудо врасплох, Введенский же заполняет мир, спугивая чудо.

Он это делает не нарочно, он просто подозревает, что чудо не есть что-то независимое от него, оно внутри, возможно, он сам чудо.

Он выговаривается, выговаривается в стихах неудержимо. Боясь остановиться, приближаясь, как ему кажется, к истине и ни на йоту не приблизившись.

Он неотрывно вглядывается в себя. Он выбрасывает из себя предметы, представления, слова, будто освобождает комнату человек, готовясь уступить ее другому.

Ему это не удается. Достаточно одной мысли, одного движения души, чтобы наполниться приметами жизни снова.

Освобождение Введенского мнимо, он всегда полон собой. Его желание ни к чему не приводит, оно – бессмысленно.

и в нашем посмертном вращении
спасенье одно – в превращении

Как непостижим человек, страдает ли он? Нет, он надеется, что случайно заденет сущностное, увидит Бога и уцелеет, как Бог.

И даже Христос убеждает его не как сын Божий, а как спасенный Богом человек. Его убеждает воскресший человек.

Его убеждает Воскресение.

Он отчаянно хватается за эту возможность.

Последняя надежда – Христос воскрес.
Христос воскрес – последняя надежда.

Он придает существованию слишком большое значение, мир кажется ему таким не случайно созданным, но мир капризничает, не открывается, и тогда Введенский отбрасывает мир.

Все становится неинтересно и возвращается к той точке, когда интерес только-только возникал.

Введенский вертится по замкнутому кругу, как по Вселенной. Он все оживит своим присутствием, но ничего не разомкнет. Его существование весело и бесплодно, он совершает одни и те же попытки – понять, увидеть, захватить, но безуспешно.

И тогда он – в который раз! – ставит точку и на время успокаивается. Он пригрелся и уходить из мира не хочет.

Он просто не понимает, что будет делать Там – без друзей, карт, без всей этой суеты.

Его мог увести отсюда и успокоить только один бесстрашный человек, отказавшийся от бессмертия, – Пушкин. Умер, ушел, предлагая ему последовать за собой.

Пушкину он отказать не может. Он даже укоряет Пушкина за это приглашение, но идет безропотно. С Пушкиным он не одинок.

Ах, Пушкин, Пушкин.

(Александр Введенский)



Морок и явь

О ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА КАНТОРА

Когда читаешь сочинения Владимира Кантора, прежде всего останавливает внимание способ художественного видения мира. Сам автор назвал композицию романа «Крепость» до его сокращения «барочной». Стилю барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к совмещению реальности и иллюзии... Может, так и о любом современном произведении можно сказать – чем постмодернизм не барокко? Но здесь совсем иное. Вся творческая жизнь писателя – попытка выбраться из барочного лабиринта, обрести некую «идею», которая станет опорой, «травой-белуосом» и выведет из коварной трясины сомнений и неуверенности не только в себе, но во всем, что вокруг.

Думаю, он эту идею нашел. Идею Чистоты.

У Кантора тема чистоты/грязи разрастается в настоящий лейтмотив. Вплоть до рассказа «Ногти»¹, герой которого превращает чистоту в фанатичный культ. Грязные ногти становятся для него знаком дичания человека. И он доводит идею борьбы с рудиментами дикости до логичного финала, о котором печально рассказывает его жена: «Я к нему побежала и обо что-то запнулась. – Она ... стала вытирать глаза рукой, но не заплакала. – А под ногой кончик его большого пальца с правой руки. Он сам себе все кончики пальцев обрубил, чтоб с ногтями покончить».

Внешняя неопрятность, по Кантору, – знак замутнения духовных основ. Сказка «Чур»² написана об этом. Почему тараканы могут захватить и поработить человечество? Потому что переполнена помойка, потому что люди швыряют из окон всякую дрянь, которая плотным слоем устилает двор. Пока таково отношение к Дому, угроза утраты человеческого Лица вполне реальна.

Если же герой нравственно опускается, то прежде всего он перестает заботиться о своем внешнем виде. Так грязь наполняет жизнь Левы Помадова в «Крокодиле»³. И уже трудно понять, грязна душа его или тело, – так все это тесно связано.

Другая идея – европейство. Это и есть настоящая чистота.

Везде – в русской культуре и истории, в повседневности, в сюжетах-сказках – Кантор отыскивает корни русского европейства. Для него этот поиск равнозначен борьбе с разгильдяйством. В XIX веке он выбирает своих героев – русских дворян с европейским мышлением. Западничество Кантора порой даже какое-то слишком старинное, но это кажущееся впечатление. Кантору важно показать, что речь идет отнюдь не о слепом подражании европейским образцам. Европейство для него – это особый концепт, согласно которому и самой Европе до европейства еще далеко. Это некая квинтэссенция культуры – в лучшем и высшем понимании этого слова. И не только русский европеец стоит у начала длительной эволюции, но и немецкий, французский, испанский...

¹ «Октябрь», 2002, № 2.

² Чур: Роман-сказка. М., «Московский Философский Фонд», 1998.

³ Крокодил. Роман // «Нева», 1990, № 4.

Третье – философствование – отзвук вольтерианской традиции. Повесть или рассказ превращаются в развернутое доказательство философской идеи, а обыденный сюжет поднимается до высокой аллегории в духе средневековых мистерий. Чаще всего философская идея «спрятана» в явной или реминисцентной культурной отсылке. Лорелея, Данте, Борис и Глеб, Лермонтов, Бальзак, Горе-Злочастье и т. д. Иногда даже кажется, что прием этот слишком настойчиво переходит из одного текста в другой, что его искусственность чересчур заметна.

За суммой идей и приемов сквозит главное.

Герои спорят, говорят, пытаются уйти от быта к бытию. Автор честен – им это не удается, и вот они движутся от бытия к быту.

Мир одних и тех же лиц, одних и тех же героев, с неизменными именами и фамилиями; они старые знакомцы, но судьбы их гнутся, оказываются текучими, неуловимыми, условность вторгается в жизнеописание и заслоняет их. Отчего же умер Лева Помадов? Герои «Крепости» пьют за «покойного Левку Помадова» и рассказывают о нем анекдоты. Съел ли его крокодил (так завершается роман «Крокодил»)? Был ли он зарезан хирургами во время диагностической операции (как мы узнаем в «Записках из полумертвого дома»)? Это не так важно.

У человека два дома. Значит ли это, что он счастливее тех, у кого дом один? Нет, он глубоко несчастен – у него нет ни одного из этих домов. У бабушки Насти уютно, тепло, сытно, просто – но скучно. У бабушки Лиды духовно, напряженно, «идейно» – но холодно и слишком нервно. Раздваивается ойкумена – раздваивается и душа.

Стать писателем легче, чем оказаться в числе *издаваемых* авторов. Критика видела в Кантоне «симптоматичного» писателя. Его хвалили за стиль и «плотное» повествование. Говорили, что он мастер «неангажированной» прозы. На самом деле любое творение ангажировано. Другое дело – кем, как и зачем. И что вообще называть «ангажементом». По-моему, речь идет о «заказе» – он может быть имманентным.

В «Святочном рассказе» (сборник «Историческая справка») есть такие слова отца героя, Бори: «Я думаю, Боря сам до конца не понимает, что у него написано». Вот так и Кантор. Когда читаешь интервью с ним, нельзя не почувствовать разочарования, как и от кратких авторезюме к его книгам. Он говорит о «Крокодиле»: «В 1986-м я написал роман «Крокодил», как просыпается вдруг в обычной жизни доисторическое чудовище, способное пожрать людей, а люди, даже беседуя с ним, не видят его откровенной сути. Противостоять этому постоянно присутствующему в любой современной жизни допотопному людодеру – и есть задача любой самосознающей личности, которая всегда должна помнить, что надежды на успех мало, но это не должно мешать жить нормальной и достойной жизнью»⁴.

Однако пропалось в его романе совсем другое. Крокодил – никак не «автономное зло», он часть и порождение самого героя, его мистер Хайд, иной лик черта из кошмара Ивана Федоровича, хотя М. Ремизова и отказывает Крокодилу в глубине и «тонкости» мышления: «...карамазовские бездны вызывают к жизни иронического философа-парадоксалиста, помадовские ямки – довольно ограниченного Крокодила»⁵. Дело не в том, что черт Ивана далек от характеристики «философ-парадоксалист», а Крокодил совсем не производит впечатления «ограниченного» существа. Дело в том, что «сказалось» у Кантора образом Крокодила больше, чем он сам, судя по его оценке, предполагал сказать. Еще позже, в повести «Поезд Кельн – Москва», автор заметит: «...писательство – это болезнь, причем такая, излечиться от которой больной не в состоянии да и не хочет, и единственная радость – это выплескивать свои беды и неприятности на бумагу, тем самым находя хоть какое-то

⁴ ЛГ. 1999, № 44, 3–7 ноября. С. 8.

⁵ Ремизова М. Астенический синдром: Образ интеллигента в современной прозе // «Октябрь», 2003, № 3. С. 174.

облегчение, патологическое удовольствие и психическую разрядку»⁶. Итак, писать о своем.

Чем больше погружаешься в мир произведений Кантора, тем отчетливее осознаешь *универсальность* этого мира. Не типичность, нет (как спорили о типичности Достоевский с Гончаровым). Именно универсальность, матричность.

Действительно, читателю повести «Два дома», например, точно известно, что «второму я» автора, Борису Кузьмину, десять лет исполнилось в 1955-м, он «ровесник Победы», что действие в это время и разворачивается. Но у меня не осталось ощущения сопричастности той – советской – жизни именно 1955 года. Мои десять лет были двадцать лет спустя, когда оттепелью и не пахло, но все в моем детстве было так же – крашенные половицы в доме бабушки, голые полы и стены, «обшитые» книжными полками, которые и были единственной «значительной» мебелью, в родительском доме... Так же садились у бабушки за стол и ели селедку, макая хлеб в подсолнечное масло, разве только в разговорах звучали другие имена и другие названия...

Скажу сразу: я с некоторым подозрением отношусь к шестидесятиникам. Может быть, именно потому, что они слишком громко кричали во время перестройки о своем профетизме, – мы предчувствовали, мы призывали, мы боролись и страдали тогда, когда нельзя было поднять головы, мы сопротивлялись... Что ж так кричать-то теперь? Вот все, к чему вы призывали, на что надеялись, и произошло. Так это и есть тот демократический рай, которого вы чаяли? Или свою заслугу вы видите в том, что вели «подрывную работу»? Ради чего? Опять, что ли, «наше дело разрушить, а строить другие будут»? Наверное, шестидесятник шестидесятнику рознь. Шестидесятые годы в книгах Кантора открылись мне с совершенно иной стороны. Я увидела наконец шестидесятника, который не стремился влезть в шестидесятническое домино и яacobинский колпак. То есть мне стало понятно, что такое неангажированность в чистом виде. Сам писатель сказал об этом так: «Уже позднее, в 1992 году, в Германии, Лев Зиновьевич Копелев, прочитавший оба моих сборника – «Два дома» и «Историческая справка», – сказал мне: «Мне понравилось. Но для меня странно одно. Вы пишете так, как будто советской власти не существует. Мы видели смысл нашего писания в борьбе. А вы?.. Вы словно вне политики». Но я и в самом деле жил вне политики. Советская власть была данность, но не была она уже проблемой нашей внутренней жизни. Да если вдуматься: мне было абсолютно плевать, что Бальзак был легитимистом, а Стендаль поклонником Наполеона. Были тексты о жизни, понимание человека и превратностей его судьбы. Что же вечно? Человек и его душа. Ориентация не на сегодняшнее, а на классику, на вечное. А материал? Материал, разумеется, сегодняшний»⁷. Борис Кузьмин жил не проблемой политического строя, а проблемой надполитического духовного созидания.

«Книжный» мальчик Боря читает «взрослые», серьезные книжки, потому что отец любит читать, а так хочется на него походить. Человек входит в жизнь – не просто быть сыном известного ученого, внуком знаменитого партработника. На Борисе изначально лежит тяжким бременем ответственность. Он несвободен. Он должен всем доказывать, что он «достойный сын». И рождается протест. Хочется уйти от книжного мира в мир настоящий, мир парней, которые не читают книг, но ведут себя, как заправские «романные бандиты», лихо сплевывают сквозь зубы, называют девчонок «чувами» и пускаются в отчаянные драки.

Мир Бориса многократно отражается в творчестве Кантора. Например, герой «Крепости» Петя Востриков, которого мы знаем как ровесника Бориса, по рефлексии, «книжности», вполне соотносим с героем-протагонистом. А мир взрослого Бориса, окруженного такими людьми, как Илья Тимашев,

⁶ Поезд Кельн – Москва // Русский европеец как явление культуры: Философско-исторический анализ. М., «РОССПЭН», 2001. С. 650.

⁷ Фрагмент неопубликованного послесловия к переизданию повести «Два дома».

Саша Паладин, соотносится с миром его отца – Григория Михайловича Кузьмина. Возраст «компании» предательски неустойчив: вот они – друзья отца, и, значит, это пятидесятые, а вот они – друзья Бориса, и мы в начале 80-х. Такая «преемственность», расплывчатость хронолога художественного мира несет особую нагрузку: мир «книжных» людей, интеллигентов, вневременный, вернее, для него несущественна категория политического времени. Именно поэтому эхом звучат в повестях и романах истории самого старшего поколения – не только бабушки Лиды или ее двойника – Розы Моисеевны, но и их родителей. И там кипели человеческие страсти, поиск счастья, попытки самоутверждения, а главное – вечные искания той окончательной Идеи, которая оправдывает жизнь и осветит ее Высшим Смыслом.

Можно понять, почему известный педагог С. Соловейчик высоко оценил книгу «Два дома». Проза Кантора педагогична в лучшем смысле этого слова. На мой взгляд, «юноше, обдумывающему житье», мучающемуся собственной взрослостью и инфантильностью одновременно и не знающему, как себя реализовать, стоит прочитать «Победителя крыс»⁸ Кантора.

Это книга инициации, и дотошный сторонник мифоритуального подхода легко выявил бы в «Победителе крыс» классическую схему «вхождения» во взрослую жизнь. Видимо, книжка с оглядкой на эту древнюю схему и создавалась – прямо по инструкциям «Морфологии волшебной сказки» В. Я. Проппа. Но не это важно. Сквозь прозрачность вымышленной экстремальной истории просвечивает все тот же мир детства Бориса. Нет, не потому, что больной мальчик то просыпается на сундуке в комнате бабушки Насти, то снова проваливается в свой бредовый кошмар, в страну крыс. А потому, что он в этом бреде переживает свое детство со стороны – и с некоторой высоты. Необходимая площадка для выхода *за*, то есть для трансцендентности.

И вся эта сказка – никакая не сказка, а документ начала 80-х. Неслучайно потом в романе «Крепость» ряд эпизодов будет происходить в Деревяшке – небольшом кафе-забегаловке. Конечно, той самой, где собирались Настоящие Коты в «Победителе крыс». Борис должен победить самого себя – обрести высшую цель. Понять, что крысы – это не насилие извне, а собственная трусость и грязь души. Поэтому все продвижение по странной стране-городу в этой книге – не что иное, как метафора интроспекции. Кантор всегда помнит фразу Достоевского: «В поэзии нужна страсть, *ваша идея* и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное – ничего и не значит»⁹ (курсив Достоевского. – М. З.).

«Победитель крыс» – история перехода от детства к юности. Эта та же история, что и в повести «Я другой», только переведенная на язык условности.

И мы движемся дальше и дальше – то ли по творчеству, то ли по жизни, то ли по судьбе, ставшей Книгой. Кажется, что это у самого писателя, а не его героя, не складывались отношения с сыном, который хамил, тратил жизнь попусту и в упор не видел в отце никакого авторитета или примера для подражания, – обидно и горько это сознавать тому, кто сам относился к своему отцу с трепетом и пиететом. Можно представить себе и маленькую дочку Машу, которая для героя «Поезда Кельн – Москва» становится выразительным ответом на вопрос: зачем жить в России? – и для которой написан «Чур». И редакция центрального философского журнала в «Крокодиле» и других текстах (как замечает М. Ремизова, «сильно смахивающего на «Вопросы философии»¹⁰), где и в самом деле работает Владимир Кантор. И вся жизнь – в книгах. Но это только самая внешняя линия. У любого читателя «Записок из полумертвого дома» не возникнет сомнений, что эту повесть писал человек, попавший «по скорой» в обычную палату обычной больницы. Однако и эта повесть, как и

⁸ Победитель крыс: Литературная сказка. М., «Издательство имени Сабашниковых», 1991.

⁹ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1981. Т. 24. С. 308.

¹⁰ Ремизова М. Астенический синдром... С. 173.

предшествующий ей автобиографический «Поезд Кельн – Москва», не имеет отношения к какой бы то ни было разновидности мемуаров.

Ближайшим к «Крокодилу» можно считать сборник новелл «Мутное время»¹¹. Это сны, записанные в разное время. Мистический компонент «Крокодила» становится ясным – люди видят в снах модели идей: в поезд герой вошел в своем времени, а выпрыгнул на ходу и попал в прошлый век. Сам он себя, правда, «вполне крепким мужичком» называет, но встреча с «настоящими мужиками» заканчивается плачевно: «Вилами его коли! Ви-илами!» Тема мужика Марeya из знаменитого рассказа Достоевского выворачивается наизнанку: «Вот тебе и мужик Марей... Вот тебе и народ-богоносец! Бежать надо, бежать, а то догонят!»¹².

Интеллигенция и народ – для Кантора вопрос не просто важный, он кровный, родовой. «Два дома» – это повесть о том, как пытается человек совместить и примирить в себе оба эти начала – простонародное, «хлебное», и культурное, «нехлебное». Сколько раз герои Кантора сталкиваются с «народом» – людьми, не мучающимися «мирами и идеями». Столкновения эти в текстах Кантора всегда почти печальны и конфликтны. Ни одна Матрена солженицынская не мелькает на его страницах (если не считать родной бабушки Бориса – Насти, и то вряд ли можно говорить об идеализации или возвышении этого образа) – все больше страшные, уродливые в своей тупости люди. Такова жуткая семипудовая баба в «Мутном времени» – ужасный символ «почвы»: «Рот похабный, сальный, вечно жует что-то, глазки узкие, заплывшие, и воющая, как протухшее мясо»¹³.

...Когда две эпохи скрестились во времени и пространстве, когда было подписано соглашение в Беловежской пушке, когда вошли в оборот странные обозначения дней недели с эпитетом «черный», Владимир Кантор написал повесть «Поезд Кельн – Москва».

Это переходный текст. Дорожная повесть, свои «Москва – Петушки», свой «Тарангас», а может, свое «Сентиментальное путешествие». Здесь не так важен архетип, как сам статус текста – переходность.

Герой движется с запада на восток (общее в «дорожном» русском тексте). От «столицы» (цивилизации) к «провинции» (захолустью). От Европы к Азии. Из Германии в Россию. С этого света на тот (не случайный, когда проводники требуют денег за провоз багажа, герой размышляет: «Чтобы переплыть Стикс, ты должен уплатить Харону, только тогда попадешь в Аид»). И вот герой во власти мелких бесов. Все действие происходит в замкнутом пространстве купе и вагона. Круг лиц ограничен – просто попутчики. Сюжет исчерпывается одной интригой – сосед героя боится, что у него отнимут деньги, заработанные чтением лекций в Германии. Но главное в любом дорожном тексте не сюжет и внешние приключения, а разговоры. И эти разговоры, разумеется, о пути России. Собеседника Иннокентия зовут Тарас Башмачкин: «...глухая тоска, самовлюбленность и мировая скорбь по-прежнему мерцали в его глазах – прямо как вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. И в каждой фразе его виделась мне смесь воспетого нашими патриотами героического Тараса и уязвленного, униженного и слабого Башмачкина»¹⁴. Легендарная шинель преобразуется в трусы, в шве которых защиты дензнаки – старые десятирублевки с профилем Ленина. И вся гоголевская боль за «брата» улетучивается. Не зря Иннокентий называет попутчика «бабским мужиком».

Тарас много говорит о беспределе, ставшем нормой жизни в России. Иннокентий тоже вступает в разговор. Может быть, вся повесть – повод произнести то заветное, до чего сам додумался и что так тебе дорого. Таким «стерж-

¹¹ Мутное время, или Предчувствия (Из цикла «Сны») // Русский европеец... С. 496–525.

¹² Мутное время... С. 524.

¹³ Там же. С. 498.

¹⁴ Поезд Кельн – Москва... С. 646.

нем» становится «пушкинская речь» Иннокентия в «тургеневском» споре с Тарасом. Собственно, тургеневского здесь немного – разве что сама идея включения в общий сюжет развернутого разговора на остросовременные темы. «Пушкинская речь» – это тщательно аргументированное утверждение об ущербе русского мужского начала и «идеальной реальности» женского. В общем-то, это краткий пересказ одной из позиций знаменитой речи о Пушкине Достоевского. Но характерно размышление героя перед тем, как он заговорил: «Пока я молчал, думая, что ему ответить, я вспомнил, как сам и первая моя жена бредили пушкинским временем все семидесятые годы, да и вначале восьмидесятых, до самой «перестройки». Бывало, за бутылкой водки на чьей-нибудь кухне все воображали, что не просто пьянтуем, а как лихие гусары под песни Окуджавы приобщаемся к свободе»¹⁵. Это тоже переход через границу – теперь временную. И тут-то и становится ясно, что никакого особого перерождения не происходит. Что русская жизнь была всегда примерно одинакова. И что если когда-то на кухнях воображали себя гусарами пушкинских времен, то не иначе как сквозь призму песен Окуджавы, то есть пушкинская эпоха представляла собой некий сколок себя самой, опосредованный «образ», идеализированный «золотой век» благородства и не-жестокости. Где же он, третий путь этой страны? Автор полагает, что навсегда затерялся этот путь среди нецивилизованного пространства убогих домиков и отрезанных от всего мира мужиков и баб.

Понятие «крепость» в одноименном романе¹⁶ многозначно. Собственно, об этом и написано эссе центрального героя – Ильи Тимашева. Ему странно, что слово «крепость» означает прежде всего не защиту, а несвободу. Это роман о том, как человек пытается создать свой дом, сохранить его, приспособиться к нему, уйти из дома, обрести новый дом.

«Крепость» – это роман об утрате крепости. Но и об обретении тоже. «Бедный ты мой, бедный! Я тебя никому не дам в обиду! Я буду твоей крепостью, твоим бастионом», – шепчет шестнадцатилетняя Лиза своему избраннику Пете. И ничего удивительного, что она отдает ему свое (карамзинское) определение «бедный», как и неудивительно, что она жаждет его ласк и любви больше, чем он – ее. Все изменилось в точном соответствии с идеей об «идеальной реальности»: лишь женщина может любить страстно и самоотверженно, мужчина должен быть скрыт за нею, как за каменной стеной, или, лучше сказать, спрятать за ней свои неуверенность и малодушие.

«Записки из полумертвого дома» продолжают ту же тему. Только Дом спасает в бедах и болезнях. Как когда-то в «Победителе крыс» Борис должен был выздороветь сам во время тяжелого бреда, так и много лет спустя он должен сам одолеть свою болезнь. В странном, вывороченном наизнанку мире больницы (кому ж из нас, оказавшемуся в стенах госпитальной палаты, не казалось, что все происходящее – страшный сон?) Борис Кузьмин пытается найти опору, зацепиться за жизнь. Судьба явно в нерешительности: а жить ли этому человеку? Больница – вовсе не место спасения, наоборот, надо спастись от больницы. Странная отсылка к «делу врачей», врачей-вредителей, прямо говорящих пациентам о полной власти над их телами и, следовательно, жизнью. И врач – «палатный», страшная больничная сказка о его оборотничестве и превращении в трехглавого дракона, который в «обычной» жизни предстает в виде трех разных человек, никогда не появляющихся в одной точке пространства вместе.

Больница рождественских дней и ночей начала двадцать первого века вдруг напоминает эпоху столетней давности, которую Кантор вслед за Федором Степуном определил как «артистическую». Жизнь перестала быть собственно жизнью, а стала Драмой, которую можно смотреть со стороны. Вплоть до того, что и на смерть можно взирать весьма хладнокровно – в духе уайльдовского эстетизма. Это просто более-менее эффектный эпизод Действия.

¹⁵ Поезд Кельн – Москва... С. 660.

¹⁶ Крепость // «Октябрь», 1996, № 6–7.

Актерство как тип сознания – это естественная реакция на пошатнувшиеся основы жизни, вариант адаптации. Степун говорит о многодушии артистизма – это сравнимо с «жизнями» в компьютерной игре. «Жизней» много, и если тебя «убили», ты можешь взять еще одну «жизнь» и продолжить борьбу. Так и артистизм. Степун выдвигает идею сублимации как самосохранения – почти по Фрейдю – и переводит эту идею на язык рецептов для «не-творческих» личностей. Артистизм превращается в спасение для любого человека, даже весьма далекого от какого бы то ни было творческого действия. В. Кантор показывает, к чему вело артистичное мировоззрение в историческом масштабе. Эпоха репрессий воспринималась как гигантская мистерия, где жертва до самого последнего мгновения ощущала себя лишь исполняющей роль в спектакле.

В «Записках из полумертвого дома» театрализованная современная эпоха оказывается очевидной. Больничная палата напоминает сценическую площадку, где все – актеры и зрители, причем эти статусы никак не разведены. Степун говорил о революции как «демонической игре». И вот еле живой герой с трудом выбирается ночью из палаты в длинный коридор, чтобы добраться до туалета, и становится свидетелем настоящего театрального действия – прямо в духе античной трагедии. Три медсестры – Парки (Гарпии?) – ведут разговор, как будто плетут нить: «Тогда судьбу нам спросить самое время! – Она затянулась и выпустила клуб дыма. Облик ее вдруг изменился, волосы пришли в беспорядок, щеки то бледнели, то краснели, грудь стала вздыматься под халатом... – Про остальных не скажу, не чувствую, кто из них. Но смерть будет там. Уж раз Толька Тать решил жертву принести, то не без того... так Богу болезни угодно, чтоб на каждую палату одна жертва была. Тогда остальным Христос поможет... Тот, кто себя до болезни довел, не несчастный, а грешник. Как преступник. А за грехи надо платить... грешники попадают туда, – заговорила вдруг гексаметром Сибилла, – где бледные обитают Болезни, печальная Старость, Страх, и советник дурного всего – Голод, и насильственная Смерть, и Страданье, единокровный со Смертью тягостный Сон»¹⁷. И явится герою Ванька Флинт с перерезанным горлом, и узнает бедный писатель-философ, что он не в больнице, а в людоедской пещере. Все похоже на дурной сон – на хороший спектакль? По сюжету повести герой оказался спасен Любовью, Женщиной-Воительницей. Дом-крепость уберегает его от пространства Смерти («сама жизнь есть *Todeskeim*, то есть источник смерти. *Ich bin des Todes, du bist des Todes*, и мы все вместе обречены смерти»¹⁸). Но ощущение фарса, мистерии передано так точно, что финал кажется условно-случайным. Судьба Глеба, который две недели назад поступил в палату с легким недомоганием, а вывезен был оттуда на Тот (Tod) Свет, провоцирует и судьбу его условного брата – Бориса, который тоже должен стать добровольной жертвой. Это не произошло – пока. Но колесо Рока уже начало свое неостановимое вращение.

Для прозы Кантора характерны поспешные, скомканные финалы, ему важно мгновенно все развязать. Иногда кажется, что развязки его повестей и новелл – уступка жанру. Каждый текст должен чем-нибудь завершиться, и автор быстро это завершение сочиняет. Когда-то Пушкин жаловался, что не может совладать с жанром романа. Его незавершенная проза – это самые начала текстов, где едва просматривается завязка. Может быть, он бросал свою прозу незавершенной, поскольку ему самому все уже было ясно. У Кантора механизм спешного финала больше похож на нежелание автора вообще что-либо исчерпывать. Сюжет оказывается открытым, провоцирующим. Особенно очевидно это в «Русском европейце».

Владимир Кантор так объясняет композицию книги «Русский европеец как явление культуры»: «...хотелось что-то вроде «Арабесок» Гоголя создать, чтобы было понятно, что я пишу об одном». Это «одно» – «культурная составляющая» человека, истории, страны, нации, вообще человечества. Писатель

¹⁷ Рождественская история, или Записки из полумертвого дома // «Октябрь», 2002, № 9. С. 21–22.

¹⁸ Там же. С. 4.

видит образец такой составляющей в неуничтожимой европейской доминанте – цивилизованности. В книге собраны идеи людей, не согласившихся со шпенглеровской моделью «заката Европы», отстаивавших «базовые ценности европейско-христианских принципов жизни». Автор пишет развернутое заключение о дальнейшей «европеизации Европы», об обоюдной важности включения России в европейское сообщество. Залогом возможности развития личностной культуры он видит русскую поэзию, которая стала «второй церковью, по сути, заменив сервильное, государственное православие с его казенной верой».

Но финал «Русского европейца» удивительным образом ставит все новые проблемы, в книге не решенные. Почему не был услышан «трезвый голос русских европейцев»? Можно ли всех эмигрантов эпохи революции считать «русскими европейцами» – исходя из сложного идеологического наполнения этого понятия? Если пережитая эпоха тоталитаризма – повод с гордостью утверждать, «что ни один народ Европы не вылезал из такой черной дыры, как Россия», то какого цвета дыра, в которой Россия находится сейчас? Кантор говорит об антихристианских тенденциях и в России, и в Европе как о поводе задуматься об общем пути к исправлению ошибок. Но как же разрешить старый и глубокий мировоззренческий конфликт между индивидуалистическим католичеством и соборным православием? Вопросы можно задавать и дальше, я не нахожу на них ответов. Я вижу лишь, что автору чрезвычайно важно показать модель очищения русской жизни от метафизической грязи. Модель эта представляет собой идею личностного прозрения. Об этом его художественная проза, об этом и его философские книги. Такое тесное переплетение художественных и публицистических идей неслучайно. Владимир Кантор ищет разные способы выразить то, что кажется ему крайне важным. Неангажированность прозы оборачивается мощным внутренним императивом. Кантор рассуждает, что писательство – это болезнь: и рад бы не писать, да не получается. Но на самом деле эволюция его творчества показывает, что он чувствует ответственность – донести то, что ему одному открыто. Назвать это пустой претензией нельзя – откройте книги писателя, и вы ощутите, как захватывает вас это барочное сплетение «высокодуховной беседы» и самой что ни на есть «сермяжной правды» жизни, как необыкновенно отражаются друг в друге непримиримые сферы... Флобер говорил, что любая тема может стать предметом искусства – и ладан, и моча. В творчестве Кантора происходит ассимиляция грубого и жестокого мира Высшей Идеей. Автор иногда предупреждает, предракает, даже пугает. Но чувствуется, что сам писатель совершенно не ощущает конечности жизни, возможности какого-то вселенского коллапса. Его герои едут в переполненных троллейбусах, напиваются до бесчувствия, совершают подлости, предают близких людей – но это все и есть Жизнь. Герои Кантора подвержены рефлексии – высшему и мучительному дару, делающему человека человеком. Они мучаются Смыслом Жизни. Как в дантовых терцинах. Как в пушкинских бессонницах. Как в журнале Печорина. В общем, как всегда. И эта мучительная работа духа оказывается выше Отпущенных Сроков. Это светлое начало – даже самых трагических произведений – наверное, идеологически разрушает барочность, меняет тональность. Граница между мороком и явью стерта, но морок дан человеку для того, чтобы найти ключи и обрести свою крепость въяве.



Александр МЕЛИХОВ

Стрижка овец

Признаюсь сразу: в литературе я консерватор. То есть предпочитаю проверенную продукцию, а открытие новых имен стараюсь перекладывать на других. Не на кого попало, разумеется, а только на знатоков. Иначе говоря, на тех читателей, чей вкус воспитан и испытан на классических образцах. Зато если уж кто-то из знатоков мне что-то порекомендует, я всегда иду навстречу новому «любить готовый, с душой открытой для добра», с готовностью, если что не понравится, списать на собственную тупость. Хотя и эта готовность все-таки тоже имеет свои пределы.

О Мураками мне рассказали, что его читает молодежь. И не какая-нибудь, а продвинутая. Продвинутая настолько, что, кроме Мураками, вообще ничего не читает.

Писатели, которых читают те, кто вообще-то книг не читает, всегда вызывают сомнение: неужто уж они откопали что-то такое, чего не сумели коснуться ни Толстой, ни Достоевский, ни Кафка, ни Фолкнер – и прочая, и прочая, и прочая? Я не надеюсь услышать что-нибудь существенное из уст эстетических младенцев.

И вместе с тем без каких-то существенных причин, которые всегда стоят того, чтобы в них взглянуться со всей серьезностью, писатель не может сделаться громким культурным явлением.

И вот я с предвкушением прочитываю на обложке синенького томика: Харуки Мураками, «Охота на овец», перевод Дмитрия Коваленина. С обложки без всякого выражения смотрит овца с пятиконечной звездой промеж глаз. Уже интересно.

«О ее смерти сообщил мне по телефону старый приятель», – еще интереснее. Речь идет о Девчонке, Которая Спала С Кем Ни Попадя, – возникает картинка некоего «потерянного поколения», которое дни напролет просиживает в рок-кафе, «поглощая кофе чашку за чашкой, выкуривая одну сигарету за другой и перелистывая страницу за страницей очередной книги в ожидании момента, когда, наконец, появится какой-нибудь собеседник, который заплатит за все эти кофе и сигареты (не ахти какие суммы для нас даже в те дни) и с которым она, скорее всего, и уляжется ночью в постель».

Главный герой – «я» – тоже живет кое-как: где-то без особого усердия работает, на ком-то женится, без внятных причин разводится (а какие могут быть внятные причины – жизнь слишком сложна, чтобы о ней можно было сказать что-то определенное!), регулярно поддает, с кем-то спит без внятных мотивов (а какие могут быть мотивы – жизнь сложна и, судя по всему, даже бессмысленна).

Что ж, дело хорошее, каждое поколение имеет полное право считать себя потерянным и безо всяких там войн и катаклизмов: и мы не хуже прочих, и мы разочарованны, и мы покинуты на произвол Абсурда и Тошноты. На новенького, не заглядывавшего в Ремарка, Хемингуэя, Камю, Сартра и прочая, и прочая, и прочая, посмотрится совсем даже неплохо, страниц тридцать вполне можно прочесть. А тут как раз является и что-то современное, «магическое» – девушка с невероятной выразительности ушами:

«Чуть не сама судьба со всеми ее завихрениями и водоворотами бурлила перед моими глазами».

Это уже действительно что-то новенькое: у прежних потерянных поколений напыщенность считалась до крайности дурным тоном, а у Мураками она пирует совершенно свободно, не чураясь даже слов, написанных с Большой Буквы.

И только начинаешь ждать, в какую метафору развернется эта магическая ушная раковина, как автор о ней напрочь забывает в новом сюжетном повороте: таинственными политическими силами герою приказано разыскать некую inferнальную Овцу, которая умеет завладевать душами людей и делать их орудием своих inferнальных замыслов. Впрочем, герои романа достаточно продвинуты, чтобы понимать относительность всех человеческих оценок: цель Овцы, возможно, и гуманна с точки зрения Овцы.

И вот сквозь классические разговоры ни о чем с трагическим подтекстом начинает разворачиваться как бы приключенческий сюжет – только для приключенческого ужасно замедленный и философичный, а для философичного ужасно пустой и мнимо многозначительный. Лично я во всяком случае не сделался ни на йоту богаче ни знаниями, ни пониманиями, ни чувствами, ни ощущениями. Или пустота сегодня и есть новая форма общественной значимости, без которой, как говорилось на Франкфуртской книжной ярмарке, не бывает бестселлеров?

Признаться, я, уже и берясь за Мураками, подозревал, что это какой-то пузырь, но по крайней мере пузырь восхитительный, переливающийся всеми цветами стиля, эрудиции и фантазии, как у Зюскинда или Павича. А тут еле прощупывается пульс... Ну ничего. Для литобъединения даже хорошо – давай, парень, старайся.

Похоже, «Охота на овец» – это просто охота на нас, лохов-читателей, готовых выложить за пустоту свои кровные. И лично я своей шерсти клочок таки пожертвовал.

Однако переводчик и автор послесловия Д. Коваленин заранее парирует уже не первый, причем, удар: «Зачем это? Куда он клонит? Это же ни к чему не ведет!» – довольно часто приходится слышать возмущенные голоса читающей публики. Но в этом же – один из секретов его растущей популярности».

Видимо, действительно так. Один знаменитый художник-абстракционист, Ив Клейн, даже прямо продавал пустоту и выдавал расписку: деньги получены за столько-то квадратных метров пустоты, но пустоты не какой-нибудь, а принадлежащей кисти И. Клейна. В сегодняшнем искусстве произведение и вообще вытесняется комментарием, а пустота обладает тем несомненным достоинством, что уж и вовсе никак не скрывает творческое воображение комментатора. Хоть того же Д. Коваленина: «При чтении его прозы возникает чувство, будто разглядываешь мастерски выполненный фотоколлаж из фрагментов реальности вперемежку со сновидениями, а в ушах постоянно звучат, переплетаясь друг с другом, фразы музыкальных произведений. Образы и метафоры в тексте по-дзэнски точны, языковой поток пульсирует смысловыми синкопами, оглавления напоминают обложки джазовых пластинок, а сюжет будто расщепляется на несколько партий для разных инструментов...» – уф, не могу больше, учитесь, жалкие рекламщики, певцы пива и прокладок!

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Увы, главной опасностью для тонкой, умной прозы является проза не откровенно грубая и глупая, а поддельная, имитирующая тонкость и философичность. Подлинность легче всего уничтожить, утопив ее в океане подделок; все живое можно извести, подсунув самкам стерильных самцов, внушивши, что они-то и есть настоящие. «Ни к чему не ведет» – это еще пол или даже четверть беды, это не восхищает – вот что плохо. Но нам предлагают восхищаться тем, что всего лишь недурно, это уж чересчур.

Так что же, «Амфоре» не следовало издавать писателя, чьи романы и рассказы «вот уже более двадцати лет покоряют сердца и воображение читателей в Америке, Канаде, Корее и Западной Европе»? Напротив, слухи о недоступном нам гении способны только еще сильнее разжечь аппетит. Очень хорошо, что это издано, что мы это прочли и теперь имеем возможность оценить по достоинству. По собственному достоинству, натренированному на классических образцах.

«Они не признают дутых авторитетов», – пишет Д. Коваленин о «про-тагонистах» Мураками. И нам следует брать с них пример, с этих «героев своего времени», так полюбившихся тридцатилетним японским яппи, для которых «вернуть его имя в беседе за стойкой бара («Как думаешь, дадут ему когда-нибудь Нобелевку?») – хороший стиль, некий ритуал приобщения к последним веяниям «альтернативной культуры». Быть начитанным в принципе или просто разбираться в книгах других модных авторов при этом как бы не обязательно».

Хотя отличать дутые авторитеты от недутых, не будучи начитанным «в принципе», – дело заведомо обреченное.



Григорий ЗАСЛАВСКИЙ

Говорить о театре в литературном журнале естественно, если это – журнал «Октябрь». «Октябрь» часто пишет о театре. Нет важности в том, что тот или другой спектакль имеет в основе ту или иную литературную работу, переделанный роман или повесть, инсценированную умелым постановщиком. В начале XX века и даже в его середине, впрочем, любому спектаклю предшествовала большая литературная работа, в которой участвовали и сотрудники литературной части театра, и сам режиссер, и его, часто многочисленные, ассистенты. Эта эпоха ушла в прошлое, как уходят в историю один за другим легендарные завлиты: давно – сотрудник Станиславского Павел Марков, недавно – Дина Шварц, курсировавшая меж двумя столицами, обеспечивая новыми пьесами Мастера, Георгия Товстоногова. Уходят в прошлое и сами литературные части, место которых в театрах заменяют отделы по связям с общественностью и пресс-службы. Но это не отменяет театр.

Минувшая осень для одних прошла в томительном и пугливом ожидании объявления театральной реформы, которая, по определению, могла бы повлечь за собой страшные и даже смертельные, несовместимые с жизнью последствия для русского репертурного театра. Другие – сохраняли спокойствие, памятуя о том, что театр переживал разные времена. Переживал. И, соответственно, жил дальше.

Обо всем об этом следует говорить. Запечатлевая перемены. Внешние перемены и – внутренние, которые касаются меняющихся представлений о том же Чехове, отмеченном в разнобильный год (в 2004-м отмечали одновременно 100-летие со времени написания «Вишневого сада» и 100-летие памяти Чехова), о границах режиссерского вмешательства в текст и вообще о будущем режиссуры, царствовавшей безраздельно на театральной сцене весь прошлый век. Мало кто сегодня возьмется настаивать на каком-либо влиянии или участии изобразительного искусства в жизни общества. Художники живут сами по себе, своим миром. С тревогой мы наблюдаем такое же замыкание в себе и уход в себя современной российской словесности. По поводу театра сохраняются еще кое-какие иллюзии – в смысле его участия в жизни общества и его более или менее прямой, а не опосредованной связи с судьбами – как это ни громко сказано – России.

Что и кто обновляет театр? Кто и что это делает сильнее? Режиссеры-новаторы? Кого называть таковыми, выбирая меж обаятельными и решительными, чрезвычайно продуктивными Кириллом Серебренниковым, Ниной Чусовой, Ольгой Субботиной, Еленой Небезжиной, Владимиром Агеевым, Николаем Роциным, Дмитрием Черняковым, прославившимися за два-три последних сезона? Новые драматурги? Или – публика, которая имеет возможность голосовать за то, что ей нравится, рублем и ногами?

Как пишут в официальных трудовых договорах, журнал «Октябрь» предлагает, а театральный критик Григорий Заславский принимает на себя обязательства вести на его печатной площадке разговор о театре. Думать о театре и делиться своими мыслями даже тогда, когда эти мысли будут сомнительными для него самого. Театр сегодня, впрочем, как и во все времена, не обещает (слава Богу!) и тем более не гарантирует одно только развлекательное «чтиво». Поводом к очередному монологу в этой рубрике может стать один-единственный спектакль, из которого или на фоне которого будет разворачиваться некоторая театральная или даже более или менее социальная «картина мира».

На поминках вишневого сада

О НОВОМ СПЕКТАКЛЕ АДОЛЬФА ШАПИРО

Для Адольфа Шапира нынешний «Вишневый сад» – третий или даже четвертый. До того он ставил, например, ту же чеховскую пьесу в БДТ. Кочергин построил огромный ангар, куда, кажется, смог бы въехать и настоящий самолет, задняя его стена поднималась и открывала дорогу в безбрежный космос. А сад, вишневый сад, чахлыми кустиками прорастал в дом, поселился в нем. Фотографии, следы прежнего семейного уюта и прежнего быта чем-то вроде плесени теснились вокруг дверных проемов.

Басилашвили играл Гаева, Светлана Крючкова – Раневскую, а Фирса – Евгений Лебедев. Он уже и сам, кажется, плохо передвигался – не как Фирс, а как актер Евгений Лебедев, но в тот момент, когда на сцену выходил наглец Прохажий, вдруг какая-то прежняя сила просыпалась в нем и он с палкой бросался на него, защищая от грядущего и уже пришедшего Хама своего леденцелюбивого мальчишка, который то не те брюки напялит, то забудет захватить плащ или пальто. Гаев-Басилашвили так и запомнился – с коробочкой монпансье в руке, успевающий между слов закинуть в рот очередной леденец.

И это был спектакль, в котором многое, кажется, осталось недо воплощенным, но главное поняли все: «вишневым садом» был сам Большой драматический театр и этим спектаклем он прощался со своим великим прошлым. Отсюда – размах, масштаб. Ясно было, что ничего страшнее у этого театра и этих актеров уже не случится, а прекрасное – было воистину таковым, и оно – было, потому что был секрет и эти актеры его знали. А теперь секрета нет, но они еще могут поделиться более или менее свежими впечатлениями.

Это была трагедия, которую – поверх всех нескладностей – нельзя было смотреть без слез.

«Вишневый сад» во МХАТе имени Чехова, может быть, и против воли самого постановщика, против первоначального замысла его, стал спектаклем-прощанием с Художественным театром, с самой идеей этого великого когда-то театра (может быть, этим и объясняются уже разошедшиеся, как круги по воде, слухи о том, будто бы спектакль не вызвал энтузиазма в нынешнем руководстве театра?). Художник спектакля Давид Боровский оставил сцену пустой, опустошенной: занавес – почти единственное украшение сцены. Мхатовский занавес, который в этот раз не расходится в разные стороны, но распаивается внутрь сцены, отворяется внутрь, впуская нас в «сад».

Для такого прощания приглашение актрисы на роль Раневской из «смежной профессии» (Рената Литвинова), а Гаева (Сергей Дрейден) – из ленинградско-петербургского далека, то есть тоже со стороны, – пришлось как нельзя кстати. Своей «посторонностью» они как будто подчеркивают здешние «разброд и шатания». Она – своей стильной и неотчетливой болтовней, он – детско-идиотическим кружением на велосипеде и бегом вприпрыжку – с его давней уже сединой и внешностью синагогального певчего (оба – не от мира сего; и ведь впрямь – не от сего). Что им обоим – срубят этот сад или не срубят? Это – не их сад.

И все остальное – одно к одному: едва ли не единственный представитель старого Художественного театра, Владимир Кашпур (Фирс), первые слова – про то, что хозяев дождался и можно теперь умирать, – произносит перед еще не распахнутым занавесом, останавливается перед той самой чайкой и молча склоняется перед ней, как бы прощаясь.

Открываясь (и открывая пустую – пустынную – сцену), занавес вдруг начинает «дробиться» на отдельные полоски-ленты, так что между оливковыми – привычными – полосами появляются белые, полупрозрачные ленты – от

сцены до самых колосников, – то ли окна в сад, то ли сам сад, то ли – сон о саде, воспоминание и мечтание о нем.

Время от времени подвижный сценический круг выносит – выбрасывает – на сцену, как на берег, стул, или два, или даже «целый» многоуважаемый шкаф, но весь этот быт кажется случайным и призрачным: был или не был, через минуту уже и не вспомнить.

Раневская в исполнении Ренаты Литвиновой – странное и пугающее открытие Шапиро. Увидев актрису (одновременно – сценаристку, телеведущую, просто светскую диву) по телевизору, по собственному его рассказу, он «узнал» в ней нужные ему интонацию и облик, нашел и получил согласие. Использовал ее целиком – такой, какая есть, он перенес ее в свой спектакль, пересадил это экзотическое телекиногеничное «растение» на драматическую почву, которая не стала сопротивляться чуждым влияниям (поскольку давно уже не понять, что чужое здесь, что – свое). Она говорит – как говорит, двигается – как привыкла это делать, каждое слово «подтверждая» взмахом-мановением руки, не выпуская изо рта сигареты в длинном мундштуке, естественном для описываемых Чеховым времен начала прошлого века. Многое оказывается кстати, так сказать, впору: ее манера говорить, с паузами, с удивлением то ли звуком, то ли слогом и словами, кажется естественной для женщины, успевшей несколько подзабыть родной язык (и отсюда – ее экзальтация в словах о родине, которую любит нежно, – с чего бы ей так уж ее любить?!). И – проба слова на вкус и отказ от слова лишь оттого, что не нравится само его звучание: «Дача... дачники», – ну, конечно же, пошло, не о чем и говорить. И – стиль, который является частью и необходимой составляющей порочной натуры.

Одно только вызывает то ли беспокойство, то ли сомнение: Адольф Шапиро берет в свой спектакль Литвинову «как она есть», *reg se* – в чистом виде, как говорят фармацевты.

Ее появление губительно для всех остальных именно потому, что она ничего не играет (а может, и не может играть, способная лишь к такому, для себя самой естественному, существованию). Как кошка или как ребенок, рядом с которыми любая игра невозможна из-за очевидной фальши. Шапиро увидел ее и понял, что ему нужна как раз такая, как она. Такая игра, но, наверное, не она сама, поскольку в данном случае выходит, что режиссер использует то, что, если можно так сказать, своего участия до конца не в силах осознать.

Тут вспомнился другой, быть может, еще более откровенный и прямолинейный театральный ход известного театрального экспериментатора Бориса Юхананова, который однажды занял в своем «многодневном» «Вишневом саде» группу даунов, не осознававших, вероятно, того, что сцена чем-то отличается от любой другой, обычной жизни.

Вот в чем вопрос: не покидает ощущение, что Литвинова бессознательно попадает в нужный постановщику тон.

Рядом с Литвиновой, кажется, никогда не учившейся актерскому мастерству, такой манерной, такой «противоестественной», все остальные тем не менее не кажутся ни ярче, ни естественней – напротив, тускнеют. Чеховские слова про великанов – как нарочно (конечно, нарочно) заставляют обратить внимание на малых сих, становящихся еще малозаметнее, еще меньше на фоне огромных двух занавесов и черной мглы за (или – перед) ними.

Спектакль Адольфа Шапиро – из тех, которые «закрывают тему». Не в ироническом смысле, а в самом прямом: подводя итог, они оставляют пространство для размышлений, для которого другие версии той же пьесы уже не нужны. Пусть на время.



Павел БАСИНСКИЙ

КИРОВ

Елена НАУМОВА. СКВОЗЬ ЛИСТВУ. Стихи. Киров: Областная типография, 2004. Тир. 2000 экз.

О Елене Наумовой я уже писал. Она безнадежный поэт. Безнадежный в том смысле, что будет писать стихи всегда, что бы с ней ни случилось.

И вновь – прощай.
Опять меня до срока
Луна зовет сквозь тонкое стекло

Туда
Где безнадежно одиноко
И где неповторимо и светло.

Туда
Где лопухи растут с крапивой,
Где легкий огонь и пляшет, и горит,
И где звезда с звездой говорит.

У Елены Наумовой есть главное, что может быть у поэта – поэтическая точность.

Был солнечным день и невиданным сад,
Где рядом и птица и зверь...
Ступая по мягкой траве наугад,
Толкнув приоткрытую дверь,
Вошла я в избушку,
Где стол и скамья.
Окно,

За окном – облака.
А вот на скамье – незабудок семья,
И теплый стакан молока.
С порывами ветра
Сквозь скрип половиц
Сюда залетали, как сны,
То шелест стрекозки,
То пение птиц,
То радостный трепет весны...
А солнечный день

Между тем – был таков.
Не верилось, что на века
И сказочный сад,
И букетик цветов,
И теплый стакан молока.

ТУЛА

Александр КАРТАШОВ. СТИХИ. ПОЭМА. Тула: Приокское книжное издательство, 1990. Тир. 10000 экз.

Страшно сказать: эта книга стихов стоила 2 рубля, а тираж ее был 10000 (десять тысяч!) экземпляров. Это к вопросу о том, как советская власть плохо относилась к поэтам.

Об Александре Карташове, как и о Наумовой, надо бы говорить подробнее, серьезнее, чем это позволяет рубрика «Русское поле», где поневоле «гало-

ном по Европам». Может, еще и скажу. А пока процитирую стихотворение Саши 1988 года о своем брате-близнеце:

Нас двое под куполом неба святого,
В единой купели крестили нас светом святым.
Мы строили замок, мы знали заветное слово,
В слепые гирлянды вплетая живые цветы.

Мы жили в том замке, не замкнуты в лунную завязь,
Мы были наивны, пуская прохожих под кров.
Порезав ладонь о зеркально прозревшую зависть,
Мы все удивлялись, увидев знакомую кровь.

Мы плоть во плоти от стрелы отделившейся тени,
Мы скорбь и печаль в скорлупе расколовшихся плеч;
Мы спим среди звезд, зацветающих прямо из терний,
И истина мира лежит между нами, как меч.

Я был для тебя, даже если мне скажут что не был,
Ты был для меня – наше время обратной длиной;
Нас двое под небом, высоким и синим, как небо,
Нас двое навеки, и третьего нам не дано.

Брат Саши, художник режиссера Сергея Бодрова, погиб вместе со всей съемочной группой во время схода лавины на Кавказе, но гораздо, гораздо позже написания этого стихотворения. Саша, насколько мог, участвовал в раскопках. Никого не нашли.

ЯМАЛ

Юрий БЛИНОВ. ДОРОГИ ЧУБАРОВА. Роман в двух книгах. М.: Издательство журнала «Юность», 2003. Тир. 5000 экз.

Книга издана в Москве, но для этого автора мы сделаем исключение. Дело в том, что живет Юрий Михайлович Блинов, немолодой уже и крепко поживший человек на Ямале, в городе Губкинский. Сразу за городом (скорее поселком городского типа) начинается край вечной мерзлоты, да и сам город стоит на мерзлоте. Тем не менее Юрий Михайлович как-то ухитряется еще выращивать в ней картошку. Когда мы собирались с ним, Игорем Михайловым («Литературная учеба») и Алексеем Дударевым («Юность») на охоту и рыбалку километров за двести по бездорожью, Юрий Михайлович сказал мне: «Иди, возьми лопату и накопай червячков, где картошку убрали». Ну я и пошел. Копаться в вечной мерзлоте в поисках червяков – занятие, доложу вам, презабавное. Ни одного червяка я там, разумеется, не нашел, а главное – так и не понял: пошутил Блинов или нет?

У северян вообще трудно понять, когда они шутят, а когда говорят серьезно. Вообще-то это очень серьезные люди, потому что жить на вечной мерзлоте человеку противопоказано.

Но живут люди, и нефть добывают, благодаря которой наша страна еще существует, и книги пишут.

Проза Блинова – как сам Ямал. Она бесконечна и чем-то завораживает, вопреки неброскости своей. Так засыпаешь в вездеходе на ровной дороге, но вдруг тряхнет, очнешься и снова вливаешься глазами в простые и мудрые строки. О Севере, о людях, о кочках, о глухарях, о нефти, о жизни, смерти и любви...

Предисловие к книге Блинова написал Лев Аннинский: «Если бы текст отражал простую цепочку событий, из него вряд ли можно было бы вывести в данной ситуации что-то большее, нежели традиционное пейзажное припадание к малой родине, приправленное новейшей экологией, но Юрий Блинов нащупывает драму более глубокую и сложную. И текст его время от времени бликует чисто поэтическими оборотами, которые, если трястись по «Дорогам Чубарова», не вылезая из кабины, могут показаться «буграми», которые нарыла и напоролла разгильдяйская, плюющая на человека Система, – но если

знаешь душу этой дороги, то понимаешь, что эти «бугры» – естественное дыхание вечной мерзлоты, с которой «ничего не надо делать», а просто понимать эту ауру, дымком курящуюся над эпизодами «Дороги»...»

Аннинский прав: читая Блинова, не просто видишь, а дышишь Севером. Кстати, дышать там тяжело. Но все равно манит.

ЕКАТЕРИНБУРГ

А. ДРОБОТ. КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ. Сборник рассказов. Екатеринбург: издательство «Баско», 2003. Тир. 1000 экз.

Проза Дробота одновременно серьезна и иронична. Как ни странно звучит, сказать мне о ней почти нечего, но это вовсе не есть признак плохой прозы. Мне, например, почти совсем нечего сказать о «Капитанской дочке» (не в сравнение Дроботу будь сказано). Рассказы Дробота – это живая, наполненная юмором и диалогом проза о жизни. Я советую ее почитать.

ХАБАРОВСК

Екатерина РУДНИК. НА ПЛАХЕ ГАЗЕТНЫХ ПОЛОС. ИСПОВЕДЬ ЛИТРАБА. Хабаровск. – Без указания издательства. (Издание осуществлено при финансовой поддержке Правительства Хабаровского края и Приамурского географического общества), 2003. Тир. 500 экз.

В книге Рудник меня смущает только название – очень уж оно страшное! Сам проработал в газете почти двадцать лет, но никогда не ощущал себя на плахе. Быть журналистом – это ж счастье! А так книга в целом интересная, но интересная больше коллегам по профессии. Есть восхитительные истории, в моей жизни были такие, поэтому я особенно трепетал. Екатерина Рудник работала в «Тихоокеанской звезде», я знаю, что хлеб провинциального газетчика особенно горек. Но и сладок тоже. Удачи Вам, Екатерина Рудник!



Уважаемые читатели!

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

ОКтябрь

можно оформить в любом почтовом отделении России
по Объединенному каталогу «Пресса России» зеленого цвета.

Индекс для Российской Федерации –
73293

для подписчиков Москвы – стр.282
для остальных регионов – стр.242.

В странах СНГ подписка оформляется
по местным подписным каталогам.

Подписной индекс –
79209.

По льготной цене в редакции
(ул.Правды, 11/13)

можно:

- подписаться на журнал с очередного номера,
- купить отдельные номера текущего года,
- подобрать заинтересовавшие вас номера
прошлых лет.

Справки по тел. (095) 214 31 23

В розницу наш журнал продается:
в сети книжных магазинов «Букбери»,
в магазине «Проект О.Г.И.» – Потаповский пер., 8/12, стр.2.

За рубежом журнал «Октябрь» распространяет
американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенс» (East View Publications,
Inc.3020 Harbor Lane, North Minneapolis, MN 55447 USA.

Tel. (612) 550 09 61, fax (612) 559 29 31.

В Москве тел. (095) 777 65 58, факс (095) 318 08 81).

Казимир Малевич. Супрематизм



КЛАССИКОВ

просят не беспокоиться:
по давней традиции
№ 12 нашего журнала
отдается

МОЛОДЫМ

(за одним исключением)



Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 2004. № 11. 1-192.
Отпечатано в ОАО "Типография "Новости"